

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ • ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ — АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1988

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

БОГОЛЮБОВ М. Н.
БУДАГОВ Р. А.
ДЕСНИЦКАЯ А. В.
ДЖАУКЯН Г. Б.
ДОМАШНЕВ А. И.
ЗВЕГИНЦЕВ В. А.
МАЖЮЛИС В. П.
МЕЛЬНИЧУК А. С.

РАСТОРГУЕВА В. С.
СЕРЕБРЕННИКОВ Б. А.
СЛЮСАРЕВА Н. А.
ТЕНИШЕВ Э. Р.
ТРУБАЧЕВ О. Н.
ШВЕДОВА Н. Ю.
ШМЕЛЕВ Д. Н.
ЯРЦЕВА В. Н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

БАСКАКОВ А. Н.
БОНДАРКО А. В.
ВАРБОТ Ж. Ж.
ВИНОГРАДОВ В. А.
ГАДЖИЕВА Н. З.
ГАК В. Г.
ДЫБО В. А.
ЗАЛИЗНЯК А. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.
КАРАУЛОВ Ю. Н.
КИБРИК А. Е.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)

ЛЕОНТЬЕВ А. А.
МАКОВСКИЙ М. М.
НИКОЛАЕВА Т. М.
ОТКУПЩИКОВ Ю. В.
СОБОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)
СОЛНЦЕВ В. М.
СТАРОСТИН С. А.
ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ХРАКОВСКИЙ В. С.
ШАРБАТОВ Г. Ш.
ШВЕЙЦЕР А. Д.
ЩЕРБАК А. И.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Бомхард А. Р. (Бостон). Современные направления реконструкции праиндоевропейского консонантизма	5
Иванов Вяч. Вс. (Москва). Об исследовании структуры лингвистики и ее языка	23
Петров В. В. (Москва). Язык и логическая теория: в поисках новой парадигмы	39
Прицак О. И. (Кембридж, Массачусетс). Тюрко-славянское двуязычное граффити XI столетия из собора св. Софии в Киеве	49
Дашкевич Я. Р. (Львов). Codex Sumanicus — действительно ли Sumanicus?	62
Юрченко А. И. (Москва). Изборник 1073 года: интерпретация основных древнерусских философских терминов	75
Верещагин Е. М. (Москва). Терминотворчество Кирилла и Мефодия	91
Коссек Н. В. (Москва). К вопросу о текстологии кирилло-мефодиевских переводов	101
Гринбаум Н. С. (Ленинград). Язык древнегреческой хоровой лирики (К итогам исследований)	109

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

XI Международный конгресс фонетических наук	116
XIV Международный конгресс лингвистов	129

Рецензии

Постовалова В. И., Шрейдер Ю. А. (Москва). <i>Степанов Ю. С.</i> В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства	139
Мокиенко В. М. (Ленинград). Историческая типология славянских языков	143
Улуханов И. С. (Москва). Теория грамматического значения и аспектологические исследования	146
Орел В. Э. (Москва). <i>Hadrovics L.</i> Ungarische Elemente im Serbokroatischen	150
Семенов Н. Н. (Москва). <i>Миронов С. А.</i> История нидерландского литературного языка (IX—XVI вв.).	152
Ермакова О. П. (Калуга). <i>Тихонов А. Н.</i> Словообразовательный словарь русского языка	155

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	158
--------------------------------	-----

C O N T E N T S

B o m h a r d A. R. (Boston). Recent trends in the reconstruction of the Proto-Indo-European consonant system; I v a n o v V. V. (Moscow). The structure of linguistics and the study of its language; P e t r o v V. V. (Moscow). Language and logical theory: search for a new paradigm; P r i t s a k O. I. (Cambridge, Mass.). An eleventh-century Turkic bilingual (Turco-Slavic) graffito from the St. Sophia Cathedral in Kiev; D a š k e v i č Y a. R. (Lvov). Codex Cumanicua — is it really Cumanicus?; Y u r ě n k o A. I. (Moscow). The interpretation of the principle Old Russian philosophical terms in the Izbornik of 1073; V e r e š ě a g i n E. M. (Moscow). Creation of new words by Cyrillus and Methodius; K o s s e k N. V. (Moscow). On the textology of translations made by Cyrillus and Methodius; G r i n b a u m N. S. (Leningrad). The language of Greek choral lyrics (results of the investigation); **Surveys:** The XI International congress of phonetic sciences; The XIV International congress of linguists; **Reviews:** P o s t o v a l o v a V. I., S r e i d e r Y u. A. (Moscow). *Stepanov Yu. S.* In the three-dimensional space of language. Semiotic problems of linguistics, philosophy, art; M o k i e n k o V. M. (Leningrad). Historical typology of the Slavic languages; U l u x a n o v I. S. (Moscow). Theory of grammatical meaning and aspectological studies; O r e l V. E. (Moscow). *Hadrovics L.* Ungarische Elemente im Serbokroatischen; S e m e n j u k N. N. (Moscow). *Mironov S. A.* History of the Dutch literary language (IX — XVI centuries); E r m a k o v a O. P. (Kaluga). *Tixonov A. N.* Derivational dictionary of the Russian language; **Scientific life.**

БОМХАРД А. Р.

**СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРАИНДООЕВРОПЕЙСКОГО КОНСОНАНТИЗМА**

1. Исторический фон

К началу нашего века сложились два основных подхода к реконструкции праиндоевропейской фонологической системы, представленные, с одной стороны, немецкой, с другой — французской школой. Подход немецкой школы можно назвать в основе своей фонетическим, французской же — фонологическим. Наследие немецкой школы подытоживает работа Бругмана [1], французской — работа Мейе [2]. Реконструкция Бругмана выглядит следующим образом [1, с. 52]:

Монофтонги:	a	e	o	i	u	ə				
	ā	ē	ō	ī	ū					
Дифтонги:	ai	ei	oi	əi			au	eu	ou	əu
	āi	ēi	ōi				āu	ēu	ōu	
Слоговые плавные и носовые:				r	l		m	n	ŋ	ɲ
				ṛ	ḷ		m̄	n̄	ŋ̄	ɲ̄
Смычные:	p	ph	b	bh						
	t	th	d	dh						(лабиальные)
	ḱ	ḱh	ǵ	ǵh						(дентальные)
	q	qh	g	gh						(палатальные)
	q ^h	q ^h h	g ^h	g ^h h						(велярные)
	s	sh	z	zh	p					(лабиовелярные)
Носовые:	m	n	ñ	ɲ			ɸh	ð	ðh	
Плавные:	r	l								
Полугласные:	ɨ	ɥ								

Система Мейе в ряде важных моментов отличается от бругмановской. Во-первых, Мейе [2, с. 117—120] признает только два ряда гуттуральных: «... в каждом из индоевропейских языков, кроме „тохарского“ (где они совпали), имеется два ряда фонем, восходящих к гуттуральным...

Первый ряд соответствий определяет фонемы *k₁, *g₁, *g₁h, которые представлены „гуттуральными“ в хеттском, „тохарском“, греческом, итальянском, кельтском и германском, т. е. (если не считать хеттского и „тохарского“) в западной группе диалектов (таковы греч. κ, γ, χ, лат. c, g, h и т. д.), и полусмычными, свистящими или шипящими в индо-иранском, славянском, балтийском, армянском и албанском, т. е. в восточной группе (таковы арм. s, c, j)...

Второй ряд соответствий определяет заднебные, сопровождаемые лабио-велярной артикуляцией, которая составляла их неперменную составную часть, именно и.-е. *k^w, *g^w, *g^wh. В хеттском языке и в языках западной группы, как в латинском и германском, эти согласные сохраняют свой древний вид. ...В восточной группе мы встречаем простые гутту-

ральные, перешедшие в полусмычные перед и.-е. * \ddot{e} и * i (гласным или согласным)...

Здесь индоевропейские языки противопоставляются между собою не по одному, а целыми группами...

Говоры типа лат. *quis* и *centum* представляют древнейшее состояние, ибо, с одной стороны, нет вероятия, чтобы * k^w восходило к k , а с другой стороны, если обычен переход k в \ddot{e} , или e , или \ddot{s} , или s , то обратное неверно...

Кроме двух рядов соответствий, определяющих, с одной стороны, переднебные, с другой — заднебные лабио-велярные, есть еще один ряд [в котором, например, скр. k (c) соответствует лат. c . — *Б. А.*]... Из этого нередко делали вывод, что в индоевропейском был ряд среднебных звуков, занимавший промежуточное положение между установленными выше двумя рядами. Но ни в одном из индоевропейских языков не существует одновременно этих трех рядов... [Здесь имеет место лишь тот факт, что — *Б. А.*] первоначальное индоевропейское * k сохранилось в одних положениях и палатализовалось в других. Этим объясняются те колебания между * k и * k' которые наблюдаются в группе так называемых *satem*-диалектов».

Мейе также указывает на большую редкость * b [2, с. 115] и глухих придыхательных [2, с. 116], отмечая, в частности [2, с. 117], что дентальный глухой придыхательный * th часто возникает в результате аспирации простого глухого дентального под воздействием следующего * a : * t + * a → * th , по крайней мере, в санскрите. Особенно важна у Мейе трактовка сонантов [2, с. 129—149]. Он считает * i и * u слоговыми аллофонами * y и * w соответственно, причисляет их к сонантам * r/r , * l/l , * m/m , * n/n и, таким, образом, не рассматривает * i и * u как отдельные фонемы. Дифтонги описываются у Мейе либо как (А) сочетания «гласный + неслоговой сонант», либо как (В) «неслоговой сонант + гласный».

Еще в 1891 г. в докладе, прочитанном в Парижском лингвистическом обществе, швейцарский ученый Ф. де Соссюр предположил, что глухие придыхательные праиндоевропейского могли иметь вторичное происхождение, восходя к сочетаниям простого глухого смычного с последующим «сонантическим коэффициентом». В наше время подавляющее большинство исследователей полагает, что глухие придыхательные не следует реконструировать для индоевропейского праязыка, т. к. они развились лишь впоследствии в языках-потомках [3; 4; 5, с. 18—20; 6—12]. Главным оппонентом этой точки зрения является О. Семереньи, который предложил восстановить в системе глухие придыхательные и тем самым вернуться к младограмматической четырехчленной системе смычных (простые глухие ~ глухие придыхательные ~ простые звонкие ~ звонкие придыхательные). Однако тот факт, что глухие придыхательные не образуют в праиндоевропейском различительных контрастов, а также то, что рефлексy глухих придыхательных в языках-потомках в значительной степени удовлетворительно выводятся из первоначальных сочетаний простого глухого смычного с последующим ларингалом, говорит не в пользу позиции Семереньи. Наконец, представляется весьма вероятным, что глухие придыхательные не были частью праиндоевропейской фонологической системы, хотя фонетически они могли существовать как нефонематические варианты простых глухих смычных, см. [5, с. 19—20].

При сведении гуттуральных в два ряда, трактовке дифтонгов как сочетаний гласного с неслоговым сонантом и неслогового сонанта с гласным, а также при исключении глухих придыхательных и добавлении ларинга-

1. Шумные:	p	t		k		k ^w
	b	d		g		g ^w
	b ^h	dh		g ^h		g ^{wh}
		s				
2. Сонорные:	m	n				
	w	r	l		y	
3. Гласные:		e	a		o	ə
	i	e'	a'		o'	u'
4. Ларингалы:			x		γ	h
						ʔ

Отказ от глухих придыхательных создает проблему с точки зрения типологии. Данные, полученные при изучении большого числа языков мира, не обнаруживают таких случаев, чтобы звонкие придыхательные существовали с парой «простые глухие» ~ «простые звонкие» при отсутствии в системе соответствующих глухих придыхательных. Это важный момент, затрагивающий всю структуру традиционной реконструкции. Проблему кратко сформулировал Мартине [13, с. 115]: «Серия типа *b^h*, *d^h*, *g^h*, по-видимому, засвидетельствована лишь в тех языках, где существует также серия глухих придыхательных *p^h*, *t^h*, *k^h*». То же самое решительно высказал Якобсон [14]: «Насколько мне известно, ни в одном языке к паре /t/ — [d/ не присоединяется звонкая придыхательная /d^h/, если отсутствует ее глухой коррелят /t^h/; в то же время /t/, /d/ и /t^h/ часто встречаются при отсутствии сравнительно редкого /d^h/ ... Таким образом, в теориях, оперирующих тремя фонемами /t/ — /d/ — /d^h/, для праиндоевропейского должен быть пересмотрен вопрос об их фонологическом содержании». Иногда исследователи пытались найти типологическую параллель в системах, представленных, например, в яванском языке. В редких системах подобного рода имеется тернарная оппозиция, иногда описываемая как (1) глухой непридыхательный (2), звонкий и (3) «звонкий придыхательный»: /T/ ~ /D/ ~ /D^h/ . Однако подобная интерпретация основана на недостаточном понимании фонетической природы этой оппозиции. Серия (3) в таких системах в действительности г л у х а я с придыхательным отступом — чем-то вроде /tʰ/ , — но не «звонкая придыхательная».

Кроме того, некоторые консервативно настроенные лингвисты подвергли сомнению правомерность использования типологических данных в сравнительно-историческом языкознании. Их главный довод приблизительно таков: «поскольку мы не можем знать все языки, существующие ныне или когда-либо существовавшие, нельзя и утверждать, что такой-то тип невозможен, неестествен или никогда не существовал» — иными словами, наша «база данных» о языковых системах всегда будет неполной. Конечно, на такое утверждение возразить нечего. Тем не менее эти лингвисты упускают из виду важное обстоятельство: во всем множестве данных, собранных к настоящему времени, — а это весьма объемная выборка языков мира — обнаруживаются последовательные, регулярные модели, которые многократно повторяются по языкам (примеры см. [15—18], анализ в [19]). Существуют, конечно, редкие типы, так сказать, типологически изолированные, но они статистически мало значимы. Для сравнительно-исторического языкознания наиболее важны те регулярные модели, которые выделяются при анализе данных большого числа языков. Эти данные важны в двух отношениях: (1) они обеспечивают контроль реконструкций и (2), если реконструирована часть системы, они могут дать

ключ к выяснению того, какой могла быть остальная часть систем, т. е. входят в исследовательскую процедуру, основанную на применении «импликационных универсалий». По поводу последовательных, регулярных моделей можно отметить, что в основе некоторых из них лежит человеческая физиология, и именно в таких случаях речь может идти о подлинных универсалиях. Если в нашем распоряжении имеется подобная регулярная модель, то нежелательно, чтобы реконструкции ей противоречили. Утверждать просто, что «индоевропейский представлял уникальный тип» или что-либо еще в этом роде — самый легкий выход из положения. Он означает только, что исследователь просто отказывается иметь дело с возникающими здесь проблемами. Должен быть обязательно задан вопрос «почему?». По этому поводу стоит процитировать К. Прибрама (цит. по [20]): «Прибрам вспоминает замечание одного из пионеров исследования памяти, Э. Херинга, что в какой-то момент своей жизни каждый ученый должен принять решение. „Он начинает ощущать интерес к своей работе и к тому, что означают его открытия“, — говорит Прибрам. — „Тут-то он встает перед выбором. Если он начнет задавать вопросы и пытаться найти на них ответы, понять, что все это значит, он будет выглядеть глупо в глазах своих коллег. С другой стороны, он может отказаться от попыток понять, что же все это значит; глупо он тогда выглядеть не будет, но зато будет узнавать все больше и больше о все меньшем и меньшем“.

„Надо иметь смелость выглядеть глупо“.

Необходимо, не колеблясь, использовать любое средство, имеющееся в нашем распоряжении, которое может нам помочь прийти к реалистической реконструкции индоевропейского праязыка. Конечно, мы должны быть в полной мере осведомлены о работах наших предшественников и твердо придерживаться проверенных временем методов внешнего сравнения и внутренней реконструкции, которые служат компаративистике со времен Боппа, Раска и Гримма. Однако нельзя на этом останавливаться — надо также полностью использовать последние достижения фонологической теории, расширившие наше понимание звукового изменения, и новые открытия в типологии. Наши гипотезы должны согласовываться с фактическими данными. Наконец, нам нелишне проявить известное смирение, сознавая, что всякая теория имеет свои преимущества и недостатки: у одних теорий одно преимущество, у других — другое, некоторые из них вообще не имеют под собой никакой почвы и т. п.

Как мы видели выше, реконструкция Лемана проблематична с типологической точки зрения. Однако со структурной точки зрения она является результатом тщательного анализа индоевропейской фонологической модели. Еще в 1974 г. такая система постулировалась покойным У. Каугиллом в его статье, посвященной индоевропейскому, в 15-м издании «Британской энциклопедии».

2. Предлагаемые решения

Взяв за основу систему из трех рядов смычных (глухие непридыхательные ~ звонкие непридыхательные ~ звонкие придыхательные: **t*, **d*, **dh*), Е. Курилович [21] попытался показать, что звонкие придыхательные фонологически не были звонкими. Однако такая интерпретация выглядит неправдоподобной в связи с тем фактом, что языки-потомки почти всегда указывают на какой-то тип звонкости в этой серии индоевропейского праязыка (соответствия и примеры см. в [2, с. 113—114]). Главные исключения здесь — тохарский и, возможно, хетский, но и в том, и в другом случае известно, что оппозиция по звонкости исчезла и что рефлексy в этих языках-потомках не отражают первоначального состояния. Грече-

ское и италийское развитие несколько более сложно: в этих языках традиционные звонкие придыхательные оглушились, став, таким образом, глухими придыхательными. Затем в италийском эти глухие придыхательные перешли в глухие фрикативы:

b^h d^h g^h g^{wh} — p^h t^h k^h k^{wh} → f θ χ χ^w

По мнению Э. Прокоша [22], традиционные звонкие придыхательные были в действительности глухими фрикативами *φ, *θ, *χ, *χ^w. Эта интерпретация кажется неприемлемой по двум причинам: как отмечалось выше, материал языков-потомков указывает на 1) звонкость этой серии в праиндоевропейской и 2) на то, что первоначально в них появились смычные, а не фрикативные. То же возражение можно адресовать и теории, которую отстаивали А. Вальде [23] и И. Кноблех [24]. Согласно последней, звонкие придыхательные могли ранее быть звонкими фрикативами *β, *ð, *γ, *γ^w.

Далее, имеется теория, выдвинутая Л. Хаммерихом [25], который предполагает, что звонкие придыхательные могли быть эмфатическими. Хаммерих не уточняет, что он имеет в виду под термином «эмфатический», но предполагает, что рассматриваемые звуки можно приравнять к «эмфатическим» согласным семитских языков. В арабском, например, эмфатические описывались то как увуляризованные [26], то как фарингализованные [26—28]. Такие звуки всегда сопровождаются более задней артикуляцией соседних гласных (см. [29, с. 1—13; 30; 31]). В праиндоевропейском все гласные обнаруживаются в контакте со звонкими придыхательными, и нет никаких указаний на то, что какие-то из этих звуков здесь имели аллофоны, отличные от тех, в которых они выступали в контакте с другими звуками. Если бы звонкие придыхательные были эмфатическими, подобно арабским согласным, то они бы вызвали более заднюю артикуляцию соседних гласных, а это бы так или иначе отразилось в языках-потомках. Однако ничего подобного не имеет места. С другой стороны, если бы эмфатические согласные были эйективными, подобно тем, которые обнаруживаются в современных южноаравийских и эфиосемитских языках, а также в нескольких восточных новоарамейских диалектах (таких, как урмийский несторианский новоарамейский и курдистанский еврейский новоарамейский), то возникает вопрос, как эти звуки могли перейти в звонкие придыхательные, допустить которые необходимо для объяснения развития в индоиранском, иреческом, италийском и армянском.

О. Семеренья [32, с. 65—99] был одним из первых, кто стал привлекать типологические данные для решения проблемы реконструкции праиндоевропейской фонологической системы. Приняв к сведению замечание Якобсона [14] о том, что «... ни в одном языке к паре /t/ — /d/ не присоединяется звонкая придыхательная /d^h/, если отсутствует ее глухой коррелят /t^h/...», Семеренья заключил, что, поскольку в праиндоевропейском были звонкие придыхательные, то должны были быть и глухие. Хотя с первого взгляда эта идея выглядит приемлемой, она придает слишком много значения данным типологии и слишком мало — данным индоевропейских языков-потомков. Как отмечалось выше, есть очень убедительные основания для исключения глухих придыхательных из праиндоевропейского, и эти основания не так просто отклонить. Семеренья также попытался показать, что в праиндоевропейском был только один ларингал, а именно глухой глоттальный фрикатив /h/. Реконструкция Семеренья

[32, с. 96—97] выглядит следующим образом:

p	t		k'	k	k ^w
b	d		g'	g	g ^w
b ^h	d ^h		g' ^h	g ^h	g ^{wh}
p ^h	t ^h		k' ^h	k ^h	k ^{wh}
ɣ	w	l	r	m	n
		s	h		

Такая реконструкция и в самом деле фонологически естественна, и Семереньи энергично защищает ее до самого последнего времени [33]. Его система — впрочем, как и система младограмматиков — всего лишь проекция на более раннюю эпоху древнеиндийской фонологической системы. В некоторых диалектах индоевропейского «эпохи распада» такая система, бесспорно, фактически существовала.

Далее, имеются гипотезы, выдвинутые Дж. Эмондсом [34]. По Эмондсу, традиционные простые звонкие смычные в праиндоевропейском должны быть реинтерпретированы как простые слабые глухие смычные, а традиционные простые глухие смычные — как напряженные и придыхательные:

Леан				Эмонде		
b	d	g	g ^w = p	t	k	k ^w
p	t	k	k ^w = p ^h	t ^h	k ^h	k ^{wh}

Эмондс рассматривает озвончение слабых смычных как присущее Центральному району инноваций, а возникновение глухих смычных в германском, армянском и хетском как архаизм.

Существуют и другие проблемы, связанные с традиционной реконструкцией, помимо типологических трудностей, возникших после исключения глухих придыхательных. Еще одна проблема, отмеченная в большинстве стандартных руководств (см., например [35; 6, с. 73; 36; 9, с. 109; 2, с. 115]), — низкая частота появления и, возможно, даже полное отсутствие звонкого губного смычного *b. Мы приведем разъяснение Мейе [2, с. 115] по этому вопросу: «Фонема b сравнительно редка; она не встречается ни в одном важном суффиксе и ни в одном окончании; она вторичного происхождения в части тех слов, где встречается; так, скр.: *ribāmi* „пью“, др.-ирл. *ibim*, лат. *bibō* (с начальным b под влиянием ассимиляции) есть древняя форма с удвоением, при скр. *rāhi* „пей“, греч. *πιβει*, др.-слав. *пити*, лат. *rosulum* „чаша“... Другие слова — звукоподражательные, как греч. *βαβυρος* „иноземец“, лат. *balbus* „заика“ и т. д. Иные слова ограничены немногими языками и имеют вид поздних заимствований».

Маргинальный статус *b непонятен с типологической точки зрения и совершенно необъясним в рамках традиционной системы. Эту проблему исследовал в 1951 г. датский ученый Х. Педерсен [37]. Педерсен отметил, что если в естественных языках имеется оппозиция смычных по звонкости и есть отсутствующий член в лабиальном ряду, то отсутствует именно /p/, а не /b/. Это наблюдение дало Педерсену повод предположить, что традиционные простые звонкие смычные, возможно, были простыми глухими, а традиционные простые глухие смычные могли быть простыми звонкими:

Бругман.					Педерсен			
p	t	ḱ	q	q ^h = b	d	ḡ	g	g ^h
b	d	ḡ	g	g ^h = θ	t	ḱ	q	q ^h

Последующие сдвиги могли превратить первоначальные простые звонкие смычные в традиционные простые глухие, а первоначальные простые глухие смычные в традиционные простые звонкие. В подстрочном примечании к своей статье 1953 г. А. Мартине [38] возразил на эту «перестановку стульев» следующим образом: «Поскольку имеется крайне мало достоверных примеров на общиндоевропейскую фонему, реконструируемую „по аналогии“ как *b, соблазнительно постулировать в этом месте „пустую клетку“, как это и сделал покойный Х. Педерсен в «Die gemeinindoeuropäischen und die vorindoeuropäischen Verschlusslaute», с. 10—16. Но вместо того, чтобы предпологать, как это сделал Педерсен, утрату праиндоевропейского, *p, а затем „перестановку стульев“ mediae и tenues, следовало бы увидеть в серии *d, *g, *g^w результат эволюции ранней серии глоттализированных, лишенной лабиального члена».

Насколько мне известно, это первый случай, когда кто-либо предложил реинтерпретировать простые звонкие смычные традиционной грамматики как глоттализированные. Однако замечание Мартине, по-видимому, не оказало влияния ни на Гамкрелидзе и Иванова, ни на Хоппера, которые пришли к тому же выводу независимо от Мартине и друг от друга.

Здесь были упомянуты лишь наиболее известные контрпредложения и даны самые краткие разъяснения и замечания, которые нетрудно было бы изложить более детально. Например, результаты типологических исследований могут быть использованы для подкрепления следующих положений: не существует изолированных фонем, но каждая фонема представляет собой неотъемлемую часть всей системы; каждая фонема связана с другими фонемами в системе посредством дискретных взаимозависимостей — затронуть одну фонему значит затронуть (по крайней мере, потенциально) систему в целом. Это, в сущности, есть то новое, что старались внести в научное мышление Мартине и Якобсон. И все же очень часто эти положения не получают отклика. Взаимозависимости, кроме того, не ограничены синхронией: они в равной степени принадлежат и диахронии.

3. Глоттальная теория

Открытие — быть может, лучше сказать, «открытие заново», поскольку глубокое замечание Мартине впервые появилось в 1953 г. — того, что стали называть «глоттальной теорией», восходит к двум источникам, причем в каждом из них оно было сделано независимо. С одной стороны, американский германист британского происхождения П. Дж. Хоппер, когда он был студентом Техасского университета и слушал курс кабардинского языка у Э. Койперса, впервые пришел к мысли о том, что праиндоевропейский мог иметь ряд глоттализированных смычных. После окончания университета Хоппер занимался другими вопросами и изложил свои идеи письменно только через пять лет. С другой стороны, советский индоевропеист Т. Гамкрелидзе, носитель грузинского языка (в этом языке имеются глоттализированные), занимаясь изучением типологических сходств между пракартвельским и праиндоевропейским (см. [39, 40]), довольно скоро пришел к выводу, что в праиндоевропейском могли быть глоттализированные смычные. Он первым опубликовал это в статье, написанной в соавторстве с русским индоевропеистом Вяч. Ивановым [41]. Затем в 1973 г. Гамкрелидзе и Иванов опубликовали немецкий перевод своей статьи 1972 г. Новая теория индоевропейского консонантизма, предложенная Гамкрелидзе, Ивановым и Хоппером, быстро приобрела большое число сторонников (см., например [4, 5, 42—63]). Создатели теории также не сидели сложа руки и опубликовали много работ, развивающих эту тему, см. [64—71, 41, 72] и особенно [73].

В своей первой статье Хоппер [64] предложил реинтерпретировать простые звонкие смычные традиционного праиндоевропейского — *b, *d, *g, *g^w у Лемана — как глоттализированные смычные (эйективные), т. е. (*p'), *t', *k', *k'^w. Аргумент, приводимый Хоппером в пользу этой интерпретации, состоит в том, что традиционные простые звонкие «обнаруживают много типологических характеристик глоттализированных смычных (эйективов), например, они отсутствуют в словоизмерительных аффиксах, не могут сочетаться друг с другом в составе одного и того же корня и т. д.». Хоппер реинтерпретирует также традиционные звонкие придыхательные как смычные вибрирующей фонации (murmured stops). Гамкрелидзе и Иванов [41, с. 15—18, 72, с. 150—156] также реинтерпретируют традиционные простые звонкие смычные как эйективные, но, в отличие от Хоппера, они реинтерпретируют традиционные простые глухие смычные как глухие придыхательные и не затрагивают традиционные звонкие придыхательные. Они указывают, однако, что признак придыхательности в системах подобного типа является фонологически иррелевантным. Реконструкция Гамкрелидзе [69, с. 403] имеет следующий вид:

I	II	III
(p')	bh/b	ph/p
t'	dh/d	th/t
k'	gh/g	kh/k
k' ^u	g ^u h'g ^u	k ^u h k ^u

По Гамкрелидзе [71, с. 607], такая система существует в нескольких восточных диалектах современного армянского языка. Гамкрелидзе следующим образом излагает свою точку зрения: «Признак придыхательности в системе подобного типа является в действительности фонологически нерелевантным, т. к. серии II и III противопоставлены не по придыхательности, но по признаку звонкости. Признак придыхательности в этих сериях возникает как сопутствующий фонетический признак входящих в них фонем, характеризующий конкретные комбинаторные реализации их аллофонов.

Со строго фонологической точки зрения эти три серии могут быть определены как глоттализованная ~ звонкая ~ глухая. Тем не менее фонетический признак придыхательности является существенным признаком фонем данных серий, объясняющим их диахронические трансформации и последующие рефлексы в исторически засвидетельствованных языках. Фонетические признаки фонем играют особую роль в диахронических фонологических преобразованиях, и учет и описание этих признаков — наряду с фонологически различительными признаками — должен стать одним из основополагающих принципов диахронической фонологии.

В данном случае представляется возможным определить дистрибутивные модели аллофонического варьирования фонем серий II и III.

В частности, если две фонемы серии II встречаются в корне, то одна из них реализуется как придыхательная, а вторая — как непридыхательная. Так, например, корневая морфема /b^heyd^h-/ должна быть реализована в виде [*^heyd^h-] или [*^heyd-] в соответствии с парадигматическими чередованиями в морфеме. Вследствие этого закон Грассмана должен быть интерпретирован не как правило дезаспирации, независимо действовавшее в индоиранском и греческом, но как правило аллофонического варьирования фонем серии II еще на праиндоевропейском уровне.

То же предположение может просто и естественно объяснить явления, описываемые законом Бартолома. Последовательность морфем /*b^hud^h-/ и /*-t^ho-/ может быть реализована как [*bud^h-] + [*-t^ho-] → [*bud^ho-]

(в соответствии с правилом, запрещающим совместную встречаемость, как контактную, так и дистантную, двух придыхательных аллофонов), что и дает древнеиндийское *buddha* в результате прогрессивной ассимиляции по признаку звонкости.

Такая система общеиндоевропейских смычных, реконструированная на основе сравнения фонологических систем исторически засвидетельствованных индоевропейских языков с учетом частотных характеристик универсально значимых отношений маркированности в фонологической системе оказывается — в отличие от традиционно реконструируемой системы — полностью согласующейся с данными как синхронной, так и диахронической типологии. Предлагаемая система представляется, таким образом, более вероятной, чем традиционно реконструируемая система индоевропейских смычных.

Подобная интерпретация трех серий общеиндоевропейских смычных предоставляет нам естественное фонологическое объяснение функциональной слабости лабиальной фонемы /p'/ из глоттализованной серии I в индоевропейском, которая в традиционной теории, предполагающей звонкость I серии индоевропейских смычных, оставалась необъяснимой.

При такой интерпретации ряд ограничений, накладываемых на структуру индоевропейского корня, получает естественное объяснение с точки зрения фонетической типологии. Отсутствие корней со звонкими смычными типа **deg-*, **ged-* — факт, хорошо известный классической компаративистике, но типологически необъяснимый — получает естественное фонетическое объяснение в предлагаемой системе праиндоевропейских смычных с признаком глоттализации в серии I. Вследствие своих артикуляторно-акустических особенностей глоттализованные смычные имеют тенденцию не сочетаться друг с другом в пределах одного корня — явление, которое может быть типологически проиллюстрировано обширным языковым материалом (см. свидетельства америндейских, африканских и кавказских языков с глоттализованными согласными) [69, с. 403—404].

Многие явления, рассмотренные Гамкрелидзе, были также отмечены Хоппером, в частности, ограничения на структуру корня [64, с. 158—161]. Хоппер также рассматривает возможные пути преобразования новой системы в различных индоевропейских языках-потомках. Система Гамкрелидзе, Хоппера и Иванова обладает рядом явных преимуществ над традиционной реконструкцией индоевропейских смычных. (1) Их интерпретация традиционных простых звонких смычных как глоттализованных (эйективных) облегчает объяснение того факта, что фонема, традиционно реконструируемая как **b*, была в системе наиболее маркирована, характеризуюсь исключительно низкой частотой встречаемости (если она вообще существовала). Такая низкая частота крайне нехарактерна для поведения звонкой губной смычной /b/ в естественных языках, располагающих оппозицией по звонкости у смычных, но очень характерна для губного эйективного /p'/ [71, с. 605—606; 74]. (2) Впервые могут получить правдоподобное объяснение ограничения на структуру корня. Эти ограничения оказываются простой ассимиляцией по звонкости (*voicing agreement rule*) с тем дополнением, что в корне не могут встретиться два глоттализованных. Хоппер [64, с. 160] упоминает языки хауса, юкатекский майя и кечуа как примеры естественных языков, обнаруживающих сходное ограничение на сочетаемость двух глоттализованных. К этому перечню можно добавить и аккадский, если мы сочтем закон Гирса проявлением такого ограничения [5, с. 135]. (3) Так называемые «передвижения согласных» («*Lautverschiebungen*») в германском и армянском, ко-

торые плохо объяснимы в рамках традиционной системы [34, с. 108—122], оказываются миражами. С точки зрения пересмотренной реконструкции, эти ветви языков (вместе с плохо засвидетельствованными фракийским и фригийским) относятся к наиболее архаичным ареалам.

В 1984 г. была опубликована долгожданная совместная монография Гамкрелидзе и Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы: реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры» [73]. Как и следовало ожидать, этот объемистый труд (2 тома, 1328 страниц) содержит самое детальное на сегодняшний день изложение Глоттальной теории. В книге также описаны пути развития пересмотренной фонологической системы праиндоевропейского в языках-потомках, содержится оригинальная морфологическая модель индоевропейского праязыка, исчерпывающее описание праиндоевропейского словаря и новая гипотеза по поводу индоевропейской прародины. Сейчас подготавливается английский перевод этого труда. Одна из самых интригующих гипотез, выдвинутых в книге, состоит в том, что в праиндоевропейском могли быть лабиализованные дентальные и лабиализованный сибилант. Кроме того, Гамкрелидзе и Иванов предполагают в праиндоевропейском наличие поствелярных. Их реконструкция выглядит следующим образом (173, с. 134):

	I	II	III									
1.	(p')	b ^[h]	p ^[h]									
2.	t'	d ^[h]	t ^[h]									
3.	k'	g ^[h]	k ^[h]	ĥ'	ġ ^[h]	ĥ ^[h]	k [°]	g ^{[h]°}	k ^{[h]°}	s	š	ś°
4.	q'	—	q ^[h]									

Неудивительно, что новый облик индоевропейского консонантизма, предложенный Гамкрелидзе и Ивановым, приобрел осязаемые кавказские черты.

Новую теорию праиндоевропейского консонантизма уже использовали для объяснения развития в армянском [154] и [57]), германском [62; 63] и балто-славянском [56], а также для подтверждения гипотезы отдаленного родства с афразийскими языками [46, 48, 50] и в особенности [5]).

Глоттальная теория несколько раз подвергалась критике, а именно О. Семереньи [33], бывшим учеником Семереньи М. Бакком [75], советским семитологом И. Дьяконовым [76, 77], а также Х. Хайдером [78]. Семереньи сделал по поводу Глоттальной теории несколько критических замечаний:

«1. Обычно в качестве основного мотива для допущения глоттализированных звуков выступает критическое положение *M b*. [Однако, хотя.— *B. A.*] в начальной позиции *b* редок и, возможно, вообще не представлен..., внутри слова он представлен надежно. Это значит, что самое основание глоттальной теории становится более чем шатким. Если даже *b* и отсутствует в анлауте — явление, причина которого еще должна быть установлена, — его наличие в инлауте достаточно, чтобы обеспечить ему место в системе смычных; этим обнаруживается полная несостоятельность типологического довода.

2. ...следует также отметить, что географическое распространение глоттализированных смычных ни в коей мере не подкрепляет предположения о наличии подобных звуков в праиндоевропейском. Они встречаются на Кавказе, в Африке и в Америке, т. е. только в тех ареалах, где индоевропейцев в древности, без сомнения, не было...

3. Эйективы по своей природе — глухие звуки, глухие в довольно сильной степени... И если Хоппер [64, с. 160] утверждает, что глоттали-

зованные смычные, произносимые только с помощью надгортанного потока воздуха, находятся по существу вне оппозиции глухих и звонких и, следовательно, нейтральны по отношению к звонкости, то хотелось бы знать, как эти звуки могли подвергнуться тем многочисленным переходам, которые им приписывают.

4. Хваленое преимущество новой теории, а именно то, что она может объяснить, почему запрещены корневые структуры типа Т — МА и МА — Т, является таким преимуществом, без которого легко можно обойтись. Давно признано, что простейшее объяснение этого ограничения — артикуляторная ассимиляция. Иначе говоря, последовательность Т — МА ассимилировалась в МА — МА, и МА — Т также превратилось в МА — МА...

Это старое объяснение поддерживается еще двумя наблюдениями. Во-первых, корни структуры МА — МА широко представлены, что указывает на то, что в этой структуре объединились корни разных типов. Во-вторых, это ограничение не действует после начального *s*-, что обнаруживается, например, в высокочастотном типе *sT* — МА, ср. **steigh* „подниматься“. Очевидное объяснение состоит в том, что тип Т — МА, который первоначально также существовал, но вследствие ассимиляции в МА — МА исчез из системы, не подвергся ассимиляции после префиксального *s*- (т. наз. *s-mobile*), поскольку спирант *s* помешал развитию второго спиранта (с *h*)...».

При ближайшем рассмотрении эти критические замечания сами оказываются уязвимыми для критики.

1. Прежде всего, наличие одного, двух или даже нескольких примеров срединного **b* не столь важно с типологической точки зрения. Дело в том, что если и допустить наличие нескольких примеров (хотя и не все согласятся с тем материалом, который приводит Семереньи), этот звук будет по-прежнему характеризоваться крайне низкой частотой встречаемости. Чтобы признать традиционное **b* более чем маргинальным звуком, следовало бы значительно увеличить количество приводимых примеров. Далее, Хошпером [64, с. 141] сделано важное наблюдение: традиционные простые звонкие «отсутствуют в словоизменительных аффиксах». Это не характерно для тех простых звонких смычных, которые представлены в естественных языках. Однако именно таким образом ведут себя глоттализированные.

2. Второе замечание Семереньи, касающееся географического распространения глоттализированных, в действительности оказывается в пользу Глоттальной теории. Если, например, вслед за Гимбутас [79—83], идентифицировать индоевропейцев с Курганной культурой, первоначальная (или самая ранняя из тех, которые можно установить) прародина индоевропейцев должна была находиться к северу от Черного и Каспийского морей или между ними. Первый же взгляд на карту показывает, что этот ареал непосредственно контактирует с кавказскими языками¹. Если же принять, что индоевропейцы происходят из Анатолии (как утверждают Гамкрелидзе и Ивапов [73, т. II, с. с. 895—957]), то и там они находились в контакте с кавказскими языками (а также и с семитскими, где глоттализированные тоже встречаются [5, с. 134—138; 29, с. 1—13] как на прасемитском уровне, так и в некоторых

¹ Здесь особенно заслуживают упоминания поразительные параллели в аблаутных моделях и структуре корня между праиндоевропейским и пракартвельским [39, 40]. Эти параллели, по меньшей мере, указывают на длительный период тесных контактов между двумя праязыками.

языках-потомках, включая южноаравийские и эфиосемитские языки и, весьма возможно, также аккадский, эблаитский, угаритский, древнееврейский, арамейский и финикийский). Более того, Семереньи имеет в виду с о в р е м е н н о е географическое распространение языков, а не то, которое могло иметь место, скажем, 5 000 лет до н. э., когда существовал праиндоевропейский язык. Это критическое замечание также может быть обращено против традиционной реконструкции в том, что касается звонких придыхательных, которые действительно имеют крайне ограниченное географическое распространение, обнаруживаясь почти исключительно на Индийском субконтиненте (хотя звонкие придыхательные реконструируют и в протокитайском). Насколько мне известно, ни один лингвист не придерживается той точки зрения, что индоевропейцы происходят из Индии или из какого-то района вблизи Индии.

3. Вопрос о развитии глоттализированных был рассмотрен автором этих строк [5, с. 29]: «Развитие эйективных не было единообразным. Германское, тохарское и азиатское развитие было простым (деглоттализация).

Для пребалтийского, преславянского, прекельтского и преалбанского можно предположить, что эйективные прошли следующие изменения: глоттализированные → скрипучая фонеция → полная фонеция:

$$p' t' k' \longrightarrow b d g \longrightarrow b d g$$

Эти звуки слились с простыми звонкими смычными (традиционными звонкими придыхательными). Приведенное здесь для этих ветвей развитие совершенно естественно, и параллели к нему можно найти в нескольких кавказских языках (см. [52, с. 82—83; 84; 72, с. 154]). Так же и в современных южноаравийских языках „постглоттализированные (эйективные) согласные имеют частично озвонченные и реже — полностью звонкие варианты“ [85].

В прегреческом, преиталийском, преиндоиранском и преармянском развитие было более сложным. Во-первых, следует предположить, что глухие придыхательные в этих ветвях языков стали отдельными фонемами. Далее, простые звонкие смычные стали звонкими придыхательными. Наконец, в прегреческом, преиталийском и преиндоиранском — но не в преармянском — эйективные вначале перешли в импловивные, а затем импловивные претерпели деглоттализацию, в результате чего возникли простые звонкие смычные:

$$p' t' k' \longrightarrow b d g \longrightarrow b d g$$

Эйективные сохранились в армянском».

Следует отметить, что, в отличие как от Гамкрелидзе и Иванова, так и от Хошпера, автор этих строк не относит звонкие придыхательные к ранним ступеням праиндоевропейского, но, скорее, рассматривает их как позднейшее развитие в преиндоиранском, прегреческом, преиталийском и преармянском, т. е. они рассматриваются как диалектные варианты, не имеющие общеиндоевропейского характера. Во всяком случае я считаю наиболее важным то, что эйективные могут перейти в простые звонкие смычные и что имеется несколько путей такого перехода. Более того, подобные изменения могут предполагаться, не только в индоевропейском, но и в других языковых семьях (кавказской, афразийской и т. д.), предоставляя, таким образом, типологические параллели к индоевропейскому раз-

витию². При рассмотрении тех переходов, которые я постулирую для преиндоиранского, прегреческого и пренталийского, а именно эйективный \rightarrow \rightarrow импловивный \rightarrow звонкий, следует вспомнить наблюдение Мартине [13, с. 113, § 4, 28]: эйективные могут переходить в импловивные посредством прогрессивного воздействия на тембр следующей гласной, а именно

$$p' \ t' \ k' \longrightarrow \ b \ d \ g'$$

В афразийской семье подобный переход можно постулировать для чадского, если Ньюмен [86] прав в своей реконструкции серии импловивных в прачадском.

4. Последнее из замечаний Семереньи основано на недоразумении. Ограничение на структуру корня, объясняемое Глоттальной теорией, содержит запрет на сочетание в одном корне двух глоттализированных [64, с. 158—161; § 3.2, 6; 69, с. 404—405; 71, с. 608—609]. Автор этих строк [5, с. 288—289] следующим образом объясняет ограничения на структуру корня:

«В праиндоевропейском имелись ограничения на допустимые структуры корня. Эти ограничения могут быть сформулированы следующим образом...:

1. Каждый корень содержит по крайней мере один неглоттализированный согласный.

2. Если оба шумных не были глоттализированными, они совпадали по признаку звонкости.

Таким образом, праиндоевропейские ограничения на структуру корня сводятся всего лишь к правилу ассимиляции по звонкости, с тем дополнением, что два глоттализированных не могут сочетаться в одном корне. Сравнение же праиндоевропейского с праафразийским показывает, что запрещенные корневые типы некогда должны были существовать. Можно сформулировать два правила, объясняющих исчезновение запрещенных типов:

1. Может быть введено правило прогрессивной ассимиляции по звонкости, позволяющее исключить корни, согласные элементы которых первоначально различались по звонкости: $*T \sim *B \rightarrow *T \sim *P$, $*B \sim *T \rightarrow *B \sim *D$ и т. д.

2. Правило регрессивной деглоттализации может быть введено с тем, чтобы исключить корни, содержащие два глоттализированных: $*K' \sim *T' \rightarrow$

² Чтобы проиллюстрировать типы изменений, которым могут подвергнуться глоттализированные, рассмотрим подробнее переходы, обнаруживаемые в афразийских языках-потомках. Установлены следующие переходы (в качестве примеров используются дентальные): (1) деглоттализация $*t' \rightarrow *t$ (новоарамейский диалект Тур-Абдиша), (2) озвончение $*t' \rightarrow *d \rightarrow *d$ или $*t' \rightarrow *d \rightarrow *(d \rightarrow *d) \rightarrow *d$ (староегипетский и некоторые современные кушитские языки), (3) сохранение $*t' \rightarrow *t'$ (современные южноаравийские и эфиосемитские языки), (4) фарингализация $*t' \rightarrow *t^v$, $*d^v$ (берберские языки и арабский), (5) озвончение до импловивного $*t' \rightarrow *d$ (прачадский и правосточнокушитский) и (6) озвончение до ретрофлексного

$*t' \rightarrow *d \rightarrow *d \rightarrow *d$ (праяжнокушитский и сомали). Подробно об афразийском развитии см. [5, с. 134—138], а также [29].

→ *T ~ *K' и т. д. Это правило представляет собой прямую параллель закону Гирса в аккадском языке...

По Гамкрелидзе [69, с. 404; 71 с. 608], закон Бартоломэ является позднейшим проявлением правила прогрессивной ассимиляции по звонкости, примененного к контактными последовательностям».

Следует заметить, что имеется несколько конкурирующих воззрений относительно уточнения облика традиционных простых глухих и звонких придыхательных смычных. Хоппер [64, с. 141—146], например, реинтерпретирует традиционные звонкие придыхательные как смычные вибрирующей фонации (murmured stops), никак не затрагивая традиционные простые глухие смычные. Его система выглядит следующим образом

	Леман				Хоппер		
	p	t	k	k ^w = p	t	k	k ^w
	b	d	g	g ^w = p'	t'	k'	k' ^w
	b ^h	d ^h	g ^h	g ^{wh} = b	d	g	g ^w

С другой стороны, Гамкрелидзе и Иванов [72, с. 141—166] рассматривают традиционные простые глухие смычные как глухие придыхательные, но не затрагивают традиционных звонких придыхательных. Они отмечают, однако, что признак придыхательности фонологически нерелевантен в системе подобного типа и что придыхательные серии могут выступать как с придыхательностью, так и без нее в зависимости от парадигматических чередований корневых морфем.

* Система Нормье [62, с. 172] близка к системе Гамкрелидзе и Иванова в том отношении, что он реинтерпретирует простые глухие смычные традиционной грамматики как глухие придыхательные, никак не затрагивая традиционные звонкие придыхательные. Его система имеет следующий вид:

	смычные		фрикативные
	глухие придыхательные	звонкие придыхательные	глоттальные звонкие
лабиальные	ph /ph/	bh /bh/	p /p'
дентальные	th /th/	dh /dh/	t /t'
альвеолярные			s /s/
велярные	kh /kh/	gh /gh/	k /k'
лабиовелярные	k ^w h /kh/ _w	g ^w h /gh/ _w	k ^w /k' _w
увулярные	qh /qh/	Gh /gh/	q /q'
ларингальные			h /h/

Кортландт [55, с. 107] предлагает следующую систему:

	придыхательные	простые	глоттализированные
слабые	dh		d
сильные		t	

Он отмечает: «Хотя правильной было бы писать t :, t' , t' вместо t , d , dh , я сохраняю традиционную транскрипцию. Сходная система должна быть реконструирована для губного, поствелярного и лабиовелярного рядов» [55, с. 107—108].

Автор этих строк [5, с. 18—20] отрицает фонологический статус глухих придыхательных, хотя и допускает, что эти звуки существовали на праиндоевропейском уровне как нефонологические варианты простых глухих смычных. Я реинтерпретирую [5, с. 31—34] традиционные звонкие придыхательные как простые звонкие смычные эпохи до распада индоевропейского праязыка. Предполагается, что звонкие придыхательные развились как позднейший признак в индоевропейской общности «эпохи распада», предшествовавшей преиндоиранскому, прегреческому, приталийскому и преармянскому. Я утверждаю также, что глухие придыхательные фонологизовались в языках — предшественниках этих четырех ветвей раньше, чем возникла серия звонких придыхательных. Наконец, я [5, с. 74—92] подробно рассматриваю пути развития пересмотренной праиндоевропейской фонологической системы в языках-потомках. Моя реконструкция выглядит следующим образом [5, с. 36]:

Смычные:					
Глухие:	p	t	k	k^w	
Звонкие:	b	d	g	g^w	
Глоттализированные:	(p')	t'	k'	k'^w	ʔ
Фрикативные:					
Глухие:		s	x	h^b	h
Звонкие:			ɣ		
Глайды:	w	ɣ		ʃʃ	
Сонорные:					
Носовые:	m/ṃ	n/ṅ			
Дрожащие:		r/ṛ			
Латеральные:		l/i			

В заключение можно отметить, растущее единодушие по поводу того, что простые звонкие смычные в традиционной реконструкции были в действительности глоттализированными (эйективными). Однако по-прежнему нет согласия в том, какова была фонетическая реализация традиционных простых глухих смычных и звонких придыхательных. Каждая из гипотез, выдвинутых за последнее десятилетие, имеет свои преимущества и недостатки. Те, кто склонялись допустить наличие глухих придыхательных [в виде ли отдельной серии (Семереньи) или же как реинтерпретацию традиционных простых глухих смычных (Эдмондс, Гамкрелидзе и Иванов, Нормье)], чтобы согласовать это с данными типологии, должны считаться со свидетельствами, подтверждающими, что глухие придыхательные не существовали в праиндоевропейском как отдельные фонемы. По существу, необходимо признать, что восстановление глухих придыхательных усилит позицию Семереньи. Решение этой проблемы представляет большие трудности. Нелишне привести мои замечания [50, с. 332—337] по поводу живучести традиционной реконструкции:

«Система Семереньи чрезвычайно похожа на индоевропейскую реконструкцию младограмматиков (см., например [1, § 37]), которая, в свою

очередь, в конечном счете восходит к фонологической системе древнеиндийского языка. Традиционная система выдержала испытание временем и пережила критические выступления тех, кто подвергал ее сомнению...

Если же это так, то могут спросить, зачем заниматься рассуждениями о возможности альтернативных реконструкций? Ответ заключается в том, что поскольку мы не располагаем письменными документами или живыми носителями, которые могли бы открыть нам, какова была в действительности индоевропейская фонологическая система, при реконструкции приходится опираться исключительно на свидетельства языков-потомков, а эти свидетельства часто противоречивы и допускают более одной интерпретации. Даже если традиционная система выполняет свою роль (и хорошо выполняет), она не более чем одна из нескольких возможных систем. В реальной практике индоевропейцы часто делают выбор в той же мере на основе субъективных, как и объективных соображений...».

Я думаю, что когда положение окончательно прояснится, победу одержит Глоттальная теория. Однако пока это время не наступило, остается несколько проблем, ждущих своего решения. В последнее десятилетие исследование было направлено на reinterpretацию простых звонких смычных как глоттализированных. Будущие исследования должны сосредоточиться на традиционных простых глухих и звонких придыхательных.

Перевел с английского *Тестелец Я. Г.*

ЛИТЕРАТУРА

1. *Brugmann K.* Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Berlin, 1904.
2. *Meïe A.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.—Л., 1938. (= *Meillet A.* Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes. P., 1937).
3. *Allen W. S.* The PIE aspirates: phonetic and typological factors in reconstruction // Linguistic studies offered to Joseph Greenberg / Ed. by Juillard A. V. 2. Saratoga, 1976.
4. *Bomhard A. R.* The Indo-European phonological system: new thoughts about its reconstruction and development // Orbis. 1979. XXVIII. 1. P. 73—74.
5. *Bomhard A. R.* Towards Proto-Nostratic: a new approach to the comparison of Proto-Indo-European and Proto-Afroasiatic. Amsterdam, 1984.
6. *Burrow T.* The Sanskrit language. 3-rd ed. L. 1973. P. 71—73; 393.
7. *Hiersche R.* Untersuchungen zur Frage des Tenues Aspiratae im Indogermanischen. Wiesbaden, 1964.
8. *Kuryłowicz J.* Études indoeuropéennes. Kraków, 1935. P. 80—84.
9. *Lehmann W. P.* Proto-Indo-European phonology. Austin, 1952.
10. *Polomé E. C.* Reflexes of laryngeals in Indo-Iranian with special reference to the problem of the voiceless aspirates // Saga og Språk. Studies in language and literature in honor of Lee Hollander. Austin, 1971.
11. *Sturtevant E. H.* The Indo-European voiceless aspirates // Language. 1941. 17.
12. *Sturtevant E. H.* Indo-Hittite laryngeals. Baltimore, 1942.
13. *Martinet A.* Économie des changements phonétiques. 3-me éd. Berne, 1970.
14. *Jakobson R.* Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics // *Jakobson R.* Selected writings. 2-nd ed. V. 1. The Hague, 1971. P. 528.
15. *Maddieson I.* UPSID: UCLA phonological segment inventory data-base. Los Angeles, 1981.
16. *Maddieson I.* Patterns of sound. Cambridge, 1984.
17. *Ruhlen M.* A guide to the languages of the world. Stanford, 1976.
18. *Trubetzkoy N. S.* Principles of phonology. Berkeley — Los Angeles, 1969.
19. *Gamkrelidze T. V.* On the correlation of stops and fricatives in a phonological system // Universals of human language / Ed. by Greenberg J. H. V. 2. Stanford, 1978.
20. The holographic paradigm and other paradoxes / Ed. by Wilber K. Shambhala, 1982. P. 19.
21. *Kuryłowicz J.* On the methods of internal reconstruction // Proceedings of the Ninth international congress of linguists / Ed. by Lunt H. C. The Hague, 1964. P. 13.

22. *Prokosch E.* A comparative Germanic grammar. Baltimore, 1938. P. 39—41.
23. *Walde A.* Die Verbindungen zweier Dentale und tonendes z im Indogermanischen // KZ. 1897. 34. S. 491.
24. *Knobloch J.* Concetto storico di protolingua e possibilita e limiti de applicazione ad esso dei principi strutturalisti // Le protolingue. Atti del IV-o Convegno Internazionale de linguisti. Milano, 1965. P. 163.
25. *Hammerich L. L.* Ketzereien eines alten Indogermanisten // To Honor Roman Jakobson. V. II. The Hague, 1967.
26. *Catford J. C.* Fundamental problems in phonetic. Bloomington, 1977. P. 193.
27. *Al-Ani S. H.* Arabic phonology. The Hague, 1970.
28. *Chomsky N., Halle M.* The sound pattern of English. N. Y., 1968. P. 306.
29. *Dolgopolsky A.* Emphatic consonants in Semitic // Israel Oriental studies. 1977. VII.
30. *Hyman L. M.* Phonology: theory and analysis. N.Y., 1975. P. 49.
31. *Ladefoged P.* Preliminaries to linguistic phonetics. Chicago, 1971. P. 63—64.
32. *Szemerényi O.* The new look of Indo-European: reconstruction and typology // *Phonetica*. 1967. 17.
33. *Szemerényi O.* Recent development in Indo-European linguistics // *TPS*. 1985.
34. *Emonds J.* A reformulation of Grimm's law // *Contributions to generative phonology* / Ed. by Brown M. K. Austin, 1972.
35. *Adrados F. R.* *Linguística indoeuropea*. Madrid, 1975. P. 108.
36. *Krause W.* *Handbuch des Gotischen*. 3-te Aufl. München, 1968. S. 116—117.
37. *Pedersen H.* *Die gemeinindoeuropäischen und vorindoeuropäischen Verschlusslaute*. Copenhagen, 1951.
38. *Martinet A.* Remarques sur le consonantisme sémitique // *Martinet A.* *Évolution des langues et reconstruction*. Vendôme, 1975 (= BSLP. 1953, 49). P. 251—252, n. 1.
39. *Gamkrelidze T. V.* A typology of Common Kartvelian // *Language*. 1966. 42.
40. *Gamkrelidze T. V.* Kartvelian and Indo-European: a typological comparison of reconstructed linguistic systems // To honor Roman Jakobson. V. I. The Hague, 1967.
41. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Лингвистическая типология и реконструкция системы индоевропейских смычных // Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков: Предварительные материалы. М., 1972.
42. *Birnbaum H.* Pre-Greek Indo-Europeans in the Southern Balkan and Aegean // *JIES*. 1974. 2.
43. *Birnbaum H.* Typology, genealogy, and linguistic universals // *Linguistics*. 1975. 144.
44. *Birnbaum H.* Typological, genetic, and areal linguistics // *Foundations of language*. 1975. 13.
45. *Birnbaum H.* Linguistic reconstruction: its potentials and limitations in new perspective. Washington, 1977.
46. *Bomhard A. R.* An outline of the historical phonology of Indo-European // *Orbis*. 1975. XXIV. 2.
47. *Bomhard A. R.* The placing of the Anatolian languages // *Orbis*. 1976. XXV. 2.
48. *Bomhard A. R.* The Indo-European / Semitic hypothesis re-examined // *JIES*. 1977. 5. N 1.
49. *Bomhard A. R.* Typological studies and the identification of the Indo-European laryngeals // *Studies in diachronic, synchronic and typological linguistics*. Festschrift for Oswald Szemerényi / Ed. by Brogyanyi E. Amsterdam, 1979.
50. *Bomhard A. R.* Indo-European and Afroasiatic: new evidence for the connection // *Bono homini donum; Essays in historical linguistics in memory of J. Alexander Kerns* / Ed. by Arbeitman Y. L., Bomhard A. R. Amsterdam, 1981.
51. *Bomhard A. R.* A new look at Indo-European // *JIES*, 1981. 9. N 3—4.
52. *Colarusso J.* Typological parallels between Proto-Indo-European and the Northwest Caucasian languages // *Bono homini donum: essays in historical linguistics in memory of J. Alexander Kerns* / Ed. by Arbeitman Y. L., Bomhard A. R. Amsterdam, 1981.
53. *Cowgill W.* // *Kratylos*. 1984. 29. Rec.: *Bono homini donum: Essays in historical linguistics in memory of J. Alexander Kerns.* / Ed. by Arbeitman Y. L., Bomhard A. R. Amsterdam, 1981.
54. *Kortlandt F.* Notes on Armenian historical phonology. II // *Studia Caucasica*. 1978. 4.
55. *Kortlandt F.* Proto-Indo-European obstruents // *IF*. 1978. 83.
56. *Kortlandt F.* Comments on W. Winter's paper // *Recent developments in historical phonology* / Ed. by Fisiak J. The Hague, 1978.

57. *Kortlandt F.* On the relative chronology of Armenian sound changes // First international conference on Armenian linguistics: proceedings / Ed. by Greppin A. C. Delmar — New York, 1980.
58. *Kortlandt F.* Greek numerals and PIE glottalic consonants // Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. 1983. 42.
59. *Mayrhofer M.* Sanskrit und die Sprachen Alteuropas: zwei Jahrhunderte des Widerspiels von Entdeckungen und Irrtümern. Göttingen, 1983.
60. *Miller D. G.* Some theoretical and typological implications of an Indo-European root structure constraint // JIES. 1977. 5. N 1.
61. *Miller D. G.* Bartholomae's law and an IE root structure constraint // Studies in descriptive and historical linguistics: Festschrift for W. P. Lehmann / Ed. by Hopper P. Amsterdam, 1977.
62. *Normier R.* Idg. Konsonantismus, germ. «Lautverschiebung» und Vernersches Gesetz // KZ. 1977. 91.
63. *Vennemann T.* Hochgermanisch und Niedergermanisch: die Verzweigungstheorie der germanisch-deutschen Lautverschiebungen // PBB (Tübingen). 1984. 106.
64. *Hopper P. J.* Glottalized and murmured occlusives in Indo-European // Glossa. 1973. 7.
65. *Hopper P. J.* The typology of the Proto-Indo-European segmental inventory // JIES. 1977. 5. N 1.
66. *Hopper P. J.* Indo-European consonantism and the «new look» // Orbis. 1977. XXVI. № 1.
67. *Hopper P. J.* «Decem» and «taihun» languages: an Indo-European isogloss // Bono homini donum: Essays in historical linguistics in memory of J. Alexander Kerns / Ed. by Arbeitman Y. L., Bomhard A. R. Amsterdam, 1981.
68. *Hopper P. J.* Areal typology and the Early Indo-European consonant system // The Indo-Europeans in the Fourth and Third Millennia / Ed. by Polomé E. C. Ann Arbor, 1982.
69. *Gamkrelidze T. V.* Linguistic typology and Indo-European reconstruction // Linguistic studies offered to Joseph Greenberg/Ed. by Juillard A. V. 2. Saratoga, 1976.
70. *Gamkrelidze T. V.* Hierarchical relationships of dominance as phonological universals and their implications for Indo-European reconstruction // Studies in diachronic, synchronic and typological linguistics: Festschrift for Oswald Szemerényi/Ed. by Brogyanyi B. Amsterdam, 1979.
71. *Gamkrelidze T. V.* Language typology and language universals and their implications for the reconstruction of the Indo-European stop system // Bono homini donum: essays in historical linguistics in honor of J. Alexander Kerns/Ed. by Arbeitman Y. R., Bomhard A. R. Amsterdam, 1981.
72. *Gamkrelidze T. V., Ivanov V. V.* Sprachtypologie und die Rekonstruktion der gemeinindogermanischen Verschlüsse // Phonetica. 1973. 27.
73. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы: реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. 1—2. Тбилиси, 1984.
74. *Greenberg J. H.* Some generalizations concerning glottalic consonants especially implosives // IJAL. 1970. 36. P. 127.
75. *Back M.* Die Rekonstruktion des idg. Verschlusslautsystems im Lichte der einzelsprachlichen Veränderungen // KZ. 1979. 93.
76. *Дьяконов И. М.* О прародине носителей индоевропейских диалектов. I // ВДИ. 1982. № 3.
77. *Дьяконов И. М.* О прародине носителей индоевропейских диалектов. II // ВДИ. 1982. № 4.
78. *Haider H.* Der Fehlschluss der Typologie // Actes des 10. Österreichischen Linguistentagung (1982). Wien, 1983.
79. *Gimbutas M.* Proto-Indo-European culture: The Kurgan culture during the fifth, fourth, and third millennia B. C. // Indo-European and Indo-Europeans / Ed. by Cardona G., Hoenigswald H. M., Senn A. Philadelphia, 1970.
80. *Gimbutas M.* The beginning of the Bronze Age in Europe and the Indo-Europeans // JIES. 1973. 1. № 2.
81. *Gimbutas M.* An archaeologist's view of PIE in 1975 // JIES. 1975. 2. № 3.
82. *Gimbutas M.* The first wave of Eurasian steppe pastoralists into Copper Age Europe // JIES. 1977. 5. № 4.
83. *Gimbutas M.* The Kurgan Wave-2 (c. 3400—3200 B. C.) into Europe and the following transformation of culture // JIES. 1980. 8. № 3—4.
84. *Colarusso J. J., Jr.* The Northwest Caucasian languages: a phonological survey: Ph. D. Dissertation. Harvard University, 1975. P. 479—480.
85. *Johnstone T. M.* The modern South Arabian languages. Malibu, 1975. P. 6.
86. *Newman P.* Chadic classification and reconstruction. Malibu, 1977. P. 9. § 2.1

ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ СТРУКТУРЫ ЛИНГВИСТИКИ И ЕЕ ЯЗЫКА

Может казаться, что современная лингвистика (как и многие другие гуманитарные науки) представляет собой достаточно пестрый конгломерат разнородных областей исследования. На первый взгляд, они объединяются только тем, что все они занимаются естественным языком. Более того, все чаще в обзорных работах можно встретить перечисление различных наук, каждая из которых со своей собственной точки зрения подходит к изучению языка, причем в самом этом многообразии ученые видят источник расширения знаний, связывая дальнейшее усложняющееся разветвление научных дисциплин со все растущей их специализацией. Множатся и термины для обозначения новых промежуточных областей исследования, обычно включающие слово «лингвистика» в качестве второй части сложения. Вопреки этой казалось бы преобладающей тенденции, раздробляющей языкознание на множество разных наук, представляется, однако, возможным, что развитие метатеории лингвистики (или «металингвистики») ¹ может способствовать такому переосмыслению всей науки о языке в целом, которое обнаружило бы ее внутреннее единство. Задачей метатеории лингвистики является исследование структуры языкознания и ее специального языка (называемого «лингвистическим метаязыком» для отличия его от языка-объекта, служащего предметом исследования [2]) и текстов, написанных на этом языке, с целью выявления их основных характеристик.

В основу металингвистической теории предлагается положить понятие отношения либо между системами языковых знаков (и текстов, состоящих из них), либо между системами элементов, из которых состоят эти последние (в этом случае можно говорить о частичной системе). Любое исследование одного или нескольких языков сводится к выяснению его отношения к некоторой другой системе. Она может быть либо другим естественным языком, либо некоторой искусственной системой, обычно построенной из элементов разных языковых систем. Начнем с простейшего случая — контрастного сопоставления двух (или более) естественных языков. Один из них может рассматриваться как привилегированная система отсчета. Такую роль играл латинский язык, использовавшийся в качестве метаязыка лингвистического описания во многих ранних грамматиках евро-

¹ Хотя этот термин и построен по образцу общеупотребительного слова «метаматематика», обозначающего метатеорию (определенных областей) математики, тем не менее его едва ли нужно использовать, во-первых, потому что омоимичное слово давно уже употреблялось в другом значении [1], во-вторых, потому что оно может встать в ряд других терминов, таких, как «социо-лингвистика», в целом противоречащих по своей сути предлагаемой точке зрения, стремящейся к объединению науки. Но это не мешает использованию прилагательного «металингвистический» в значении «относящийся к метатеории лингвистики».

пейских языков (в средневековой и позднейших традициях). и санскрит в ранних тибетских грамматических сочинениях. Это означало, что латинские морфологические категории (например, падеж) вводились в описание таких языков, в которых (как во французском имени существительном) они на морфологическом уровне полностью отсутствуют. Соответственно и санскритские обозначения падежных значений («глубинных» падежей в современной терминологии) и их тибетские эквиваленты использовались для описания функции синтаксических конструкций тибетских имен с частицами и/или послелогоми. С точки зрения адекватности описания нередко позднее подобным ранним опытам подражания иноязычной грамматической традиции противопоставлялись такие, где «чужие» категории не навязываются данному языку. Но стоит отметить и другое: именно структурное несходство языков позволяло авторам этих ранних грамматик получать при семантическом изучении синтаксиса результаты, которые трудно достижимы при изучении одного языка. Тибетская грамматическая традиция усвоила (через посредство позднейших буддийских авторов, в частности, Чадрогамина) систему санскритских метаязыковых обозначений основных падежных значений, для которых были выработаны тибетские эквиваленты: тибет. *byed-ra-po* = скр. *kartṛ* «деятель»; тибет. *byed-ra* = скр. *kaṛaṇa* «орудие» и т. п. [3—6]. Представляется, что именно для тибетских грамматистов важна была обусловленная структурой индоарийских языков, где уже развивалась эргативная конструкция, установка на связь личных окончаний глагола с объектом, заметная в «Восьмикнижии» Панини (III, 4.69): *LAb karmanī ca bhāve cākārmakebhyaḥ*. «Глагольное окончание после переходных корней указывает также на объект, непереходных — и на состояние» [7]. Непосредственным продолжением сходного подхода к глагольным конструкциям представляется использующее тибетские соответствия санскритских терминов замечательное описание противопоставления активной конструкции и конструкции состояния [8] в тибетском трактате «*Rtags-kyi-hjug-ra*» = скр. «*Vyākaraṇa liṅga bātāṅa*», где уже в IX в. н. э. были предвосхищены многие принципы современных работ по активности и эргативности: «При любом действии, если деятель (тибет. *byed-ra-po* = скр. *kartṛ*) действует результативно (тибет. *dños-su*) и непосредственно (*hbrel-baḥi dban-du*) на объект (*gžan*), этот активный деятель (*byed-po*) и его активное действие (тибет. *byed-ra* = скр. *kaṛaṇa*) и являются по преимуществу активной конструкцией (*bdag*). Объект (*bya-yul*), на который обращено действие, и его состояние (*bya-ba*) и являются по преимуществу конструкцией состояния». Эти выдающиеся грамматические открытия стали возможными благодаря наложению друг на друга описаний двух языков — санскрита и тибетского, которые при различии структур или благодаря этому различию позволили прийти к формулировкам, имеющим общеязыковую значимость.

В отличие от приведенных примеров ранних грамматик, ориентированных на один привилегированный язык описания (латинский или санскрит), в современных контрастивных описаниях грамматики двух языков ни одному из них не отдается предпочтения. Но один из них описывается, а другой упоминается только в тех случаях, где он существенно отличен от первого (как, например, в грамматике русского языка сопоставительно с узбекским, составленной Е. Д. Поливановым). Среди прикладных применений контрастного сопоставления двух или более языков следует отметить преподавание языка и перевод (в том числе и автоматический). Для этих целей необходимо иметь полный список всех грамматиче-

ских категорий (и соответствующих форм), которыми друг от друга отличаются сопоставляемые языки. При переводе текста с классического китайского на современный английский или русский языки окажется необходимым, например, во многих случаях восполнить по контексту (не довольствуясь передачей грамем переводимого текста) такие отсутствующие в китайском категории, как множественное число у имен существительных, время в глаголе и т. п. Иначе говоря, проблема перевода с классического китайского на английский или русский не сводится только к правильной передаче значений, представленных в переводимом тексте. Необходимо добавить всю ту грамматическую информацию, которая обязательна с точки зрения английского (или русского) языка, но отсутствует в классическом китайском. Едва ли не лучшее изложение возникающих при этом проблем для переводчика художественных текстов содержится в целой серии посвященных специально этому кругу вопросов работ акад. В. М. Алексеева. Напомним краткую характеристику выбора одного из нескольких возможных грамматических оформлений китайского слова из статьи о китайском палиндроме: «знак *ай* в корнеслове значит „люб“ (любить, люблю, любил, любимый и т. д.). Как же его „облицевать“ здесь морфологически? Я знаю из грамматики и стилистики, что личные местоимения в китайской поэзии (а это как раз поэзия!), как и вообще в изысканном языке, старательно избегаются, а следовательно, вместе с этим нужно морфологизировать глагол в китайской поэзии с большой оглядкой на поэтические обычаи страны, из которых два особенно часты: *я* — для скромных сентенций и *Вы* (ты) — для льстиво-вежливых, в речи о друге, к нему же и обращенной. Поэтому вернее всего морфологизировать здесь знак *ай* как *во ай* „я люблю“, по общему укладу лирической речи и по норме II — С, с подразумеваемым II. Само собою разумеется, что никакая другая морфема, кроме настоящего времени, сюда не идет: ни морфема претерита, ни будущего, ни повелительного (как требующего речи о другом человеке, чего здесь пока нет, хотя по структуре он отнюдь не противопоказан)» (19, с. 536); сокращения II и С означают соответственно «подлежащее» и «сказуемое»). Из приведенной цитаты видно, что для правильного восполнения отсутствующих в классическом китайском тексте грамматических категорий, обязательных для русского (как и для ряда других языков), требуется привлечение данных лингвистики текста (в частности, сведений о речевых жанрах) и культурологической семиотики. Без этого нельзя быть уверенным в решении важнейшей проблемы контрастивной грамматики, сформулированной еще Г. фон Габеленцем, чья книга до сих пор остается едва ли не лучшей европейской грамматикой классического китайского языка. Говоря о «краткости выражения», характерной для этого языка, Габеленц отмечал, что в предложениях, где выражение несобственно синтаксических значений не требуется по смыслу (т. к. они могут быть воспроизведены по контексту) и поэтому в китайском тексте отсутствует, перевод на европейские языки может быть «различным, но не таким алгеброобразно абстрактным, как в китайском тексте. Число у существительных, время у глагола — это то, что мы должны внести сами, хотя китайцами они не были выражены и предположительно в подобной фразе ими и не имелись в виду» [10, 5.117, § 267].

Развивая ту же мысль по поводу частого в классическом китайском опущения грамматического субъекта, Габеленц предупреждал против привнесения «чего-то случайного, не содержащегося в самом выражении» [10, с. 118, § 268], при восполнении отсутствующих глагольных категорий в переводах с классического китайского языка на европейские. Ве-

роятно, наиболее ценные результаты в контрастивных описаниях языков этого типа и были достигнуты именно благодаря отчетливому пониманию их принципиальных отличий от европейских.

В том же плане внимательного теоретического осмысления и обсуждения заслуживают как общие типологические формулировки отличия суффиксальной агглютинативной аналитической структуры узбекского языка от суффиксально-префиксальной флективной синтетической структуры русского [11, с. 67], так и многочисленные более частные выводы, содержащиеся в контрастивных описаниях и методических рекомендациях Е. Д. Поливанова. Отметим особо предложенное им сопоставительное описание русских и узбекских падежей, для поверхностной структуры которых Поливанов пользовался обозначениями их посредством порядковых номеров (прием, впервые примененный Паини и позднее многократно использовавшийся в формальных грамматических описаниях). Последовательно проводя сопоставление основных функций падежей в обоих языках, Поливанов при этом обратил особое внимание на чисто формальное содержание понятия падежа в русской грамматике в отличие от узбекской [11, с. 107, 127 и др.].

Может показаться, что при неконтрастивном исследовании одного языка нет необходимости в сопоставлении его с другими системами. Тем не менее оно почти всегда имеет место, либо в явном виде, если данный язык сопоставляется с группой языков, в определенном отношении с ним объединяемых, либо неявно. Рассмотрим сначала первый случай. В недавнем исследовании лужицких притяжательных форм [12] принят опыт пересмотра той интерпретации этих форм и сходных с ними явлений в других славянских языках, который предполагает особый их грамматический статус. Хотя рассматриваемый вопрос, строго говоря, лежит целиком в плоскости синхронного дескриптивного описания одного славянского языка — верхнелужицкого, тем не менее автор статьи проводит исследование соответствующих фактов 13 славянских языков, отмечая, что «мы таким образом должны будем заниматься типологией родственных языков, имеющей свои преимущества» [12, с. 307]. Вопрос заключается в определении места в парадигме верхнелужицких форм типа *bratrowy*, для которого характерны использования типа *mojeho bratrowe dźěći* «дети моего брата». Синтаксические особенности подобных конструкций заставили многих славистов принять то истолкование, которое было впервые предложено Н. С. Трубецким полвека тому назад по отношению к старославянским притяжательным прилагательным типа *БОЖИИ* «божий» от *БОГЪ*. Поскольку эти формы в старославянском обязательно заменяют приименной (адноминальный) родительный падеж имен существительных одушевленных, если только этот падеж сам не сопровождается определительным словом, Трубецкой пришел к выводу, что «от каждого существительного, обозначающего одушевленное существо, образуется притяжательное прилагательное, которое принадлежит к парадигме склонения этого существительного совершенно так же, как причастия принадлежат к парадигме спряжения глаголов» [13, с. 220]. Отличие своей точки зрения от традиционной, при которой притяжательные прилагательные рассматриваются в разделе грамматики, описывающем основообразование, Трубецкой поясняет в духе контрастивной типологии: это «не более как результат влияния грамматики классических языков, не знающих категории притяжательных в том виде, в каком она существует в славянских языках» [13, с. 220, примеч. 1]. В многочисленных исследованиях последнего времени (лишь часть которых упомянута в [12])

было приведено много новых данных, не только подтверждающих интерпретации Трубецкого, но и с несомненностью говорящих о полезности того нового понимания парадигмы, которое было развито в структурной типологии славянских языков именно в связи с этой идеей Трубецкого. Конкретные выводы относительно места лужицких, словацкого и (старо)-чешского языков, полученные применительно к отношению притяжательной формы к парадигме существительного в зависимости от поведения других склоняемых элементов — прилагательного, личного местоимения и относительного местоимения [14], — в основном подтверждены и исследованием [12]. Но особенно хотелось бы подчеркнуть, что этот вопрос подвергался анализу именно на всем множестве славянских языков, по отношению к которым оказывается возможным выяснить меру парадигматичности притяжательных форм.

Неявное использование сопоставления описываемых языков друг с другом имеет место во всех тех описаниях одного данного языка, которые строятся на соотношении этого языка с некоторой системой описания (лингвистическим метаязыком). Использование в описании такой системы равносильно сравнению описываемого языка со многими языками, элементы которых включены в лингвистическую систему, служащую метаязыком описания. В какой степени эта последняя может рассматриваться как сокращенная запись результатов соотношения разных языков друг с другом? Иначе говоря, в какой степени подобная металингвистическая система близка к тому, чтобы включать множество элементов всех сопоставляемых языков?

Попытаемся ответить на этот вопрос сначала применительно к фонетике и фонологии. Описывая звуки и/или фонемы данного языка, фонетист или фонолог используют или некоторое подмножество множества всех известных звуков, или какой-либо набор признаков. В первом случае обычно применяются элементы универсальной фонетической транскрипции (в одном из ее современных вариантов). В большинстве до сих пор чаще всего используемых (артикуляционных, т. е. опирающихся на сведения по физиологии речи) разновидностей фонетической транскрипции принимаются во внимание не все возможные звуки, а только некоторые, наиболее широко представленные в разных языках мира. Сходный подход характеризует и все те опыты создания универсальной системы фонологических оппозиций, которые развивают идеи «Основ фонологии» Трубецкого. И по отношению к универсальной фонетической транскрипции, и применительно к универсальным системам фонем остается существенный для современного научного знания вопрос проверки «(фальсификации» в терминах К. Поппера) полноты системы, исследуемый эмпирически по мере расширения круга описываемых языков и диалектов.

Согласно одному из наиболее популярных в настоящее время подходов к фонологии (имеется в виду развитие идей Р. О. Якобсона и их модификаций в трудах Фанта, а также Халле и Хомского), в качестве исходных единиц рассматриваются фонологические различительные признаки, выявленные при фонологическом описании различных языков. В таком случае единица следующего фонологического уровня — фонема понимается как пучок фонологических различительных признаков. Представление фонем какого-либо языка в виде пучков признаков, входящих в универсальный набор, достаточный для описания всех известных языков, можно было бы считать одним из примеров того, как соотнесено описание одного языка (в данном случае на фонологическом уровне) и сопоставление этого языка со всеми другими известными языками.

Набор универсальных фонологических различительных признаков можно рассматривать как представление фонологической структуры разных языков мира, тогда как описание данного языка в терминах этого набора является опосредованным сопоставлением этого языка с фонологическими системами других языков. При этом если любая универсальная металингвистическая система представляет собой сокращенную запись результатов сравнения многих языков друг с другом, то набор различительных признаков выполняет эту задачу значительно более экономно, чем универсальная транскрипция. С помощью двенадцати признаков или немного большего их числа может быть представлена фонологическая структура всех известных языков мира.

Среди особенно сложных проблем, возникающих при соотнесении фонологических (на уровне фонем или признаков) характеристик с собственно фонетическими, выделяются те, которые связаны с нелинейным (или не строго линейным) характером следования друг за другом признаков. Те признаки, которые при представлении звукового отрезка на фонемном или признаковом уровнях описываются как следующие друг за другом (например, /+переднеязычность/, /+огубленность/ в отрезке /šv/ русской словоформы *швá*), могут реализоваться одновременно, если общefonетические артикуляционные и/или акустические ограничения это позволяют. Поэтому в русской словоформе /š^vá/ может в начале произноситься огубленный шипящий типа того, который в абхазском выступает в качестве отдельной фонемы. Следовательно, фонетическая реализация и типологические параллели к ней могли бы подсказать теоретически и выбор единиц описания, больших, чем звук или фонема, для большинства языков. В некоторых случаях (обобщаемых широким понятием «просодия» в лондонской фонологической школе, где под просодией могли пониматься и такие явления, как придыхательность) признак, который накладывается на целый звуковой отрезок, состоящий из нескольких сегментных фонем, целесообразно считать просодическим (суперсегментным) свойством всего этого отрезка, как это обычно делается по отношению к ударению и к ряду ларингальных или фарингальных признаков — «фонадий», связанных с работой гортани или с участием в артикуляции стенок полости зева. Границы между просодическими свойствами и такими признаками, которые могут быть точно приурочены к определенному интервалу (сегменту) в звуковом потоке, далеко не во всех языках легко определяются, что допускает и рассмотрение модели описания, не предполагающей обязательной жесткой сегментной локализации каждого признака.

За последнее десятилетие для таких тоновых языков, как многие африканские [15] и японский [16], детально разработаны правила «автосегментной фонологии», определяющие взаимно-однозначные преобразования последовательности тонов в последовательность сегментных фонологических единиц, несущих тоны. При этом должно соблюдаться условие, аналогичное тому, которое в синтаксических исследованиях именовалось проективностью: линии, соединяющие символы, которые обозначают тоны, с символами, обозначающими единицы, несущие тоны, не должны пересекаться. Тоновые исследования представляются наглядной иллюстрацией того, как связано описание одного языка и типологическое его сопоставление с каждым из других языков, в которых обнаружены тоны. Открытие принципов автосегментной фонологии по отношению к языку тонга и некоторым другим языкам Африки быстро привело к появлению аналогичных описаний тонов и в других языках.

Существуют языки (такие, как, например, классический тибетский, классический китайский, вьетнамский), где каждая фонема (и соответственно характеризующие ее признаки) принадлежит к строго детерминированному позиционному классу, определяемому положением в жестко фиксированной схеме слога (различие инициалей в начале слога, финалей в конце слогов и т. п.). В языках такого типа, как давно уже предположено (в частности, Е. Д. Поливановым), в качестве основной единицы описания может быть выбрана не фонема и не признак, а слог или силлабема, в других языках имеющие несравненно меньшее значение либо по причине крайней простоты правил их построения (как в языках с открытыми слогами типа японского или праславянского), либо, наоборот, из-за исключительной сложности правил слогаделения и слогаобразования, как в латышском языке. Следовательно, вопрос об основной фонологической единице описания (как и о единицах других уровней) может в известной мере определяться классом языков и не должен заранее однозначно решаться для всех языков мира.

При выборе в качестве основной единицы фонологического уровня сегментной фонемы описание этого уровня в большой мере сводится к выявлению разных позиционных вариантов (аллофонов) каждой фонемы, зависящих от комбинаций с другими фонемами в пределах словоформы. Согласно точке зрения, принятой такими влиятельными фонологическими направлениями, как московская фонологическая школа и порождающая фонология, основанная Хомским и Халле, при решении вопроса о выделении фонем и их вариантов следует обращаться к сведениям, касающимся грамматической (морфологической) роли соответствующих звуковых единиц (например, при определении характера конечного сегмента в формах типа русск. /са̀рпóк/ «сапог» следует учитывать наличие /-g/- в других словоформах, входящих в ту же парадигму). Согласно альтернативному подходу к фонологии, представленному в школе «естественной фонологии» и в школе акад. Л. В. Щербы, собственно фонологическое описание ограничивается отношениями внутри самого фонологического уровня, максимально приближенного к фонетическому. В таком случае, как это было последовательно изложено в трудах Н. С. Трубецкого и других ученых, входивших в Пражский лингвистический кружок, целесообразным оказывается введение особого морфофонологического уровня и особой исследующей его лингвистической дисциплины — морфофонологии. Предметом морфофонологии является изучение фонологического состава морфофонологических единиц языка — морф (функционально выделяемых частей словоформ) и разного рода грамматически обусловленных чередований графем. На примере морфофонологического уровня языка и морфофонологии как дисциплины, его изучающей, можно отчетливо видеть, что выделение разных уровней языка и соответствующих им особых разделов лингвистики не может считаться раз и навсегда заданным: при включении описания чередований фонем и фонологического строения морф в предмет самой фонологии нет необходимости в выделении морфофонологии как особой дисциплины. Против самостоятельности морфофонологии выдвигались и некоторые косвенные доводы, заключающиеся в таких психолингвистических и нейролингвистических (афaziологических) данных, судя по которым для говорящих на некоторых языках этот уровень не выделяется (обоснованию этого тезиса посвящено несколько интересных исследований В. Дресслера). Но остается теоретически невыясненным вопрос о том, может ли число и характер уровней, выделяемых при формальном описании языковой (по большей части бессознательной) инту-

иции говорящего, совпадать с уровнями в некоторой модели лингвистического описания (или, иными словами, в метаязыке лингвистической теории). Вполне возможно допущение, по которому метаязык лингвиста может иметь больше уровней, чем языковая интуиция говорящих (или наоборот). В большой степени это может определяться целями лингвистического описания, в частности, кругом подбираемых автором типологических параллелей. Роль этих последних для исследования морфонологических явлений представляется возможным проиллюстрировать сравнением чередований начальных смывных согласных в нивхском и фуда (и некоторых других западноатлантических языках конго-кордофанской семьи в Африке), в свое время предложенным Р. О. Якобсоном [17]. Р. О. Якобсон заметил, что речь идет о специализированном использовании некоторых категорий фонем для определенных грамматических целей. По-видимому, последовательное описание разных языков с этой точки зрения сулит много нового, но оно только еще начинается.

Одной из проблем, подробно исследованных в общей морфологической теории, можно признать общую теорию падежей как грамем. Из разных подходов, недавно суммированных в сборнике, посвященном современным направлениям в исследованиях падежа на материале славянских языков [18], можно особо выделить тот, который ориентирован прежде всего на язык самой лингвистики: предполагается, что в лингвистических исследованиях содержится материал, который при необходимой его формализации даст возможность использовать термин «падеж» в более точном смысле. При этом по отношению к этой подсистеме грамматических значений (граммем) можно ставить вопросы, аналогичные тем, которые исследуются в типологии фонемных систем: можно исследовать число элементов (фонем или граммем в данной системе), определить минимальное или максимальное число элементов в описанных до сих пор системах, предложить оппозиции, по которым противопоставляются друг другу элементы в системе, и для оппозиций, сводимых к бинарным, можно обсудить возможность представления соответствующих элементов в виде пучков двочленных признаков. Поэтому можно говорить и о частичной изоморфности структур тех фрагментов лингвистического метаязыка, которые описывают соответственно системы фонем и системы падежных значений (граммем). Подход, аналогичный тому, который начиная с известного труда Л. Ельмслева, был развит по отношению к типологии падежных значений, теоретически возможен и по отношению к другим морфологическим подсистемам значений, в частности, глагольных, однако в этой области можно указать лишь на первые опыты (например, в общей аспектологии). До сих пор еще отсутствует хотя бы рабочая схема основных грамматических значений, морфологически выражаемых в известных до сих пор языках.

При неимении морфологического инвентаря, который мог бы играть роль, аналогичную универсальной фонетической транскрипции, лингвист вынужден пользоваться тем грамматическим метаязыком, который ему подсказывается его собственным грамматическим опытом. При минимальной лингвистической подготовке этот опыт в большой мере оказывается связанным с родным языком лингвиста (или с тем языком, который в данной традиции играет роль привилегированного языка). О далеко идущем воздействии этого фактора именно в тех случаях, когда он оставался либо совсем неосознанным, либо недостаточно теоретически осмысленным, свидетельствует то, в какой мере некоторые типологические особенности структуры английского языка сказались на первоначаль-

ных версиях систем порождающей грамматики. На протяжении достаточно длительного времени в них морфологический уровень вообще не выделялся в качестве отдельного и все относящиеся к морфологическим явлениям вопросы должны были решаться внутри синтаксического компонента порождающей грамматики. Таким образом, метаязык описания, в случае если он не ориентирован явным образом на конкретный язык, а в более общем случае на разные языки, типологически отличные от описываемого, может отразить его же характерные черты.

Строго говоря, выделение внутри грамматики морфологии, рассматривающей выражение обязательных грамматических значений в означающей стороне (плане выражения) не более чем одного знака (словоформы), и синтаксиса, имеющего дело с выражением грамматических значений в пределах сочетаний знаков в предложениях (а иногда и в группе предложений), необходимо только в тех языках, где слово членится на морфологические составные части (морфы). При этом в языках, использующих инкорпорацию, строгое разделение морфологического и синтаксического уровней может привести к усложнению процедуры описания и во всяком случае должно проводиться не так, как в языках, четко отличающих словоформы от синтаксических сочетаний морфов. В языках же последовательно изолирующего (чисто аналитического) типа грамматика целиком сводится к синтаксису (ср. отчетливую формулировку в [10, с. 113, § 254]). Но и для этих языков в описании может быть включена морфология, где отдельно характеризуются классы слов (определяемые, однако, не по собственно морфологическим, а по синтаксическим критериям). Соотношение морфологии, синтаксиса и грамматики может служить еще одним примером относительной условности выделения разных разделов языкознания и соответствующих им уровней, зависящих от типа языков, на которые ориентировано описание.

До сих пор наиболее развитой областью грамматической типологии языков, связанной обратной связью и с конкретными грамматическими описаниями, является исследование взаимного расположения грамматически значимых элементов. И на уровне, относящемся к структуре словоформы (где уже вслед за Сепиром были намечены основные типы соотношений морфов разных типов, к которым позднее добавились такие существенные детали, как использование трансфиксов), и применительно к позициям основных элементов предложения лингвистика располагает в настоящее время достаточно разработанным и почти общепринятым метаязыком. Это обстоятельство ощутимо сказывается на интенсивности и плодотворности изучения разных языков мира (в том числе и впервые вовлекаемых в круг исследуемых) с этой специальной точки зрения. Интересные наблюдения, сделанные уже в этой сфере исследований (в том числе и такие, которые позволяют соотнести особенности расположения морфов в слове с типом расположения элементов предложения, т. е. связывают друг с другом типологию разных уровней), представляют пример удачной разработки фрагмента типологического метаязыка лингвистики. Возможно, что отличие преимущественно префиксальных языков типа банту от суффиксальных типа тюркских или языков с расположением глагола в конце предложения от языков с его начальным положением и не является само по себе наиболее существенной чертой, которую может и должна выявить типология языков. Но после того, как в значительном числе лингвистических исследований был принят единообразный принцип описания соответствующих явлений, было сделано много выводов, полезных для описания каждого отдельного языка и для общего языко

знания в целом. Это убедительнее всего демонстрирует необходимость выработки единой системы понятий и в других частях грамматического описания.

Поскольку грамматика занимается прежде всего значениями или функциями грамматических единиц, давно уже предпринимались попытки построить грамматику целиком на основе значений или категорий, ими образуемых (Нурейн, Есперсен, акад. И. И. Мещанинов и др.). Другой подход ориентирован на выражение значения. Иногда, как у Нурейна, такой подход рассматривается в качестве дополнительного к первому (в этом отношении, как и во многих других, опыт Нурейна, к сожалению, по отношению к шведскому языку в оригинальном варианте его труда до конца не доведенный, может считаться одной из вершинных удач лингвистики начала нашего века). Но при любом построении грамматической теории (если отвлечься от некоторых крайностей дескриптивной лингвистики, едва ли сейчас кем-либо защищаемых) наличие значений у грамматических единиц является обязательным, что затрудняет применение идеи изоморфизма в смысле, более широком, чем отмечено выше. Хотя одинаково построенная метаязыковая лингвистическая терминология может навести на предположение, что объединение алломорфов одной морфемы сходно с объединением аллофонов одной фонемы, тем не менее различий между этими процедурами не меньше, чем сходств. При объединении аллофонов в одну фонему — фонологическую единицу, различающую (любые) словоформы, значение последних не учитывается, тогда как при объединении алломорфов существенно именно тождество выражаемых ими значений. Поэтому гипотеза о наличии изоморфизма фонологического уровня и более высоких уровней языка (таких, как морфологический) приемлема лишь в той мере, в какой речь идет о некоторых комбинаторных понятиях (таких, как дополнительная дистрибуция), применимых и к единицам, наделенным значениями, и к единицам, различающим эти последние, но значения не имеющим (именно с последним типом единиц имеет дело фонология).

В порождающей грамматике и в грамматическом компоненте моделей, ориентированных от смысла к тексту, синтаксические структуры описываются начиная с некоторого исходного набора грамматических значений, которые, постепенно перекодируясь в другие наборы значений, далее превращаются по определенным законам в грамматически правильно построенные цепочки словоформ. Одним из первых значительных достижений теоретических исследований в области автоматического перевода явилось установление того, что исходный набор значений может быть определен на основании установления соответствий между языками. Здесь возможны два основных случая, не в равной мере исследованные в современной лингвистике. Первый предполагает соотнесение друг с другом некоторого множества языков, между которыми должен быть осуществлен перевод. Для частного случая двух языков задача сводится к той, о которой говорилось по поводу контрастивной грамматики. Основное затруднение построения больших систем соответствий этого типа состоит в недостаточной разработанности общей типологии значений. Если набор реляционных значений (в смысле Сепира) достаточно ограничен и в основном совпадает в разных языках мира (хотя и для него нет детально разработанного метаязыкового инвентаря), то число деривационных значений весьма велико, причем их характер существенно варьирует от языка к языку. Например, в таком языке, как английский, в формах типа *spoon-less* «не имеющий ложки», *hat-less* «без шляпы» и т. п.

образующих открытый класс, отсутствие чего-либо может выражаться в качестве особого деривационного значения, в кетском же и вымерших енисейских языках, а также в некоторых других сибирских — в качестве грамлемы особого лишительного (каритивного) падежа: кот. *alup-fun* «без языка», *tagai-fun* «без головы», *tes-pun* «без глаз, слепой» и т. д. [19]. В других языках то же значение вовсе не является грамматическим и его наличие в словах со значением «глухой», «слепой» и т. п. может быть выявлено только путем семантического анализа, вспомогательным инструментом которого мог бы служить перевод на один из тех языков, в которых каритивное (лишительное) значение выражается особой грамлемой, специальным деривационным аффиксом или регулярно используемым синтаксическим средством в той же функции.

Вторым способом установления исходного набора значений может служить обращение к переводу не на другие естественные языки, а на искусственные логические языки типа языка исчисления предикатов. Первые опыты в этом направлении предпринимались в математической логике достаточно давно (напомним хотя бы о замечательной книге [20]). Но лишь за последние четверть века, в особенности в целой серии исследований наших лингвистов и логиков, а также в трудах Монтегью и его школы, в порождающей семантике и примыкающих к ней направлениях были предприняты систематические усилия для установления правил соответствий, связывающих искусственные логические языки с некоторыми элементами структуры естественных языков. В этих последних для семантического описания, ориентирующегося на логические языки, выбирались именно те элементы (в частности, некоторые союзы, прилагательные с местоименными значениями и т. д.), которые по своему употреблению допускают определение значений без обращения к экстралингвистической информации. Иначе говоря, с помощью перевода на искусственные логические языки описывались только те слова естественного языка, которые в логических терминах характеризуются как обладающие слабой семантикой (в отличие от сильной семантики подавляющего числа слов естественного языка, определение значения которых требует выхода за пределы языка и соотношения с некоторыми внеязыковыми сведениями о мире). Наиболее подробно были исследованы в логико-лингвистических исследованиях этого типа те служебные элементы русского, английского и ряда других естественных языков, которые соответствуют (в известном приближении) логическими связкам, кванторам и т. п.

Некоторые из проблем, возникших при серьезном рассмотрении возможностей перевода (в том числе и автоматического) с естественного языка на искусственный логический, представляют исключительный интерес и для грамматической типологии естественных языков. Уже в первых работах о переводе с естественного языка на язык исчисления предикатов было выяснено, что одна из существенных трудностей может быть связана с отсутствием в исчислении предикатов точных семантико-синтаксических соответствий категории прилагательного, в связи с чем предлагался промежуточный этап при переводе [21]. Аналогичные проблемы в те же годы обсуждались и в трудах по порождающей грамматике, понятийный аппарат и метаязык которой сформировался под непосредственным влиянием исчислений математической логики. Дальнейшие исследования показали, что некоторые естественные языки (например, юкагирский) в этом отношении ближе к исчислению предикатов, чем к языкам типа русского. Иначе говоря, осмысленной оказывается такая постановка вопросов типологии естественных и искусственных языков, при которой внутри

множества естественных языков одни из них окажутся ближе к искусственным языкам, другие — к языкам, принципиально отличным от логических. Особый интерес в этом отношении представляет цикл исследований Я. Хмелевского, показавшего, в какой степени классический китайский язык близок к языкам математической логики. Заметим, что результаты этих конкретных типологических сопоставлений естественных и логических языков противоречат высказывавшимся иногда ранее утверждениям о наличии особой логики, связанной с теми или иными неевропейскими традициями, и в этом смысле в высокой степени нетривиальны. Уже углубленное изучение (на основе тибетских и санскритских текстов) буддийских логических трактатов, проведенное акад. Ф. И. Щербатским [22—24], обратило на себя внимание тех логиков, которые заинтересовались проблемой связи логической системы с языком, на котором эта система излагается [25].

Одной из исключительно важных проблем не только истории современной научной мысли (в том числе и лингвистической), но и соотношения двух подходов к семантике языка, как естественного, так и конструируемого (искусственного), представляется противоположность этих подходов, достаточно четко обозначившаяся уже у создателей математики нового времени — Ньютона и Лейбница. Они оба отдали дань попыткам создания искусственных языков, причем и тот и другой стремились к созданию новой системы записи понятий, т. е. особого семантического метаязыка. Разницу в том, как строились каждым из них эти метаязыки, кажется возможным соотнести с аналогичным (если даже не полностью тождественным) различием и в их подходе к математическому языку и его семантике. Акад. Н. П. Лузин считал, что для Ньютона основным в его теории пределов было понимание рассматриваемой переменной величины как *«либо монотонно возрастающей, либо монотонно убывающей»*; «Ньютон предполагал лишь монотонное изменение переменных величин, его переменные величины идут к пределу либо монотонно возрастая, либо монотонно убывая [26, с. 64]. Этот подход прямо соответствует той шкале монотонно меняющихся значений прилагательных (в пределах одного семантического поля), которыми занимался молодой Ньютон в тех лингвистических этюдах, которые в недавнее время привлекли внимание специалистов по лингвистической семантике. Ньютонские таблицы меняющихся значений прилагательных уже предвосхищали исследование «градуирования» в семантическом исследовании Сепира, справедливо считающемся одним из первых шагов на пути к структурной семантике, а также и идею «семантического дифференциала».

Что же касается подхода Лейбница к математическому языку и к впервые им создававшемуся метаязыку, Лузин в указанной работе усматривал его особенность во внимании к «последним элементам», «зернистость» структуры которых оставалась их характерной чертой [26, с. 70]. Те «монады» значений, которые хотел установить Лейбниц, должны были лечь в основу разрабатывавшегося им «рационального языка», о переводе на который с обычных (естественных) языков он мечтал [27]. Лейбницева программа описания семантики естественного языка конкретизирована в последнее время в одном из наиболее последовательных опытов построения системы семантического языка [28], который уже использован при описании лексической и грамматической семантики польского, русского, английского и некоторых других языков. Этот метаязык исходит из принятия очень ограниченного словаря основных понятий числом не более десятка (достаточно сложных по сути, например, «мир», но в этой системе

нерасчленяемых). Каждое слово или форма определяются фразой или целым текстом на естественном языке, содержащим эти основные понятия (естественный язык, ориентированный на этот набор основных слов, представляет собой в этом употреблении особого рода семантический метаязык). Система Лейбница-Вержибицкой в основе своей является дискретной: для Лейбница весьма существенным представлялось наличие ограниченного числа тех основных «простых» идей, на комбинациях обозначений которых строился его искусственный метаязык. Для описания семантики слов с конкретными денотатами он признавал необходимость взаимодействия разных областей знания и использование разных видов знаков: «В настоящее время было бы желательно, чтобы люди, занимающиеся физическими исследованиями, изложили те простые идеи, в которых они подмечают постоянное совпадение между индивидами каждого вида. Но чтобы составить такого рода словарь, который содержал бы в себе, так сказать, всю естественную историю, потребовалось бы слишком много людей, слишком много времени, слишком много труда и пронищательности...» [29]. Современные задачи и возможности обработки и использования языковых текстов в компьютерах делают приближение к (хотя бы частичному) решению этой проблемы одной из насущных потребностей. По-видимому, при описании слов с сильной семантикой нельзя избежать соотнесения их с текстами на том же языке, используемом в метаязыковом употреблении, или другими видами знаков (Лейбниц в цитированном сочинении говорил о словаре с рисунками), которые сообщали бы всю энциклопедическую (внеязыковую) информацию, необходимую для понимания слова. При всей грандиозности этой задачи серьезный подход к лингвистической проблематике когнитивных наук и искусственного интеллекта без ее решения невозможен. Поэтому можно надеяться, что лингвистическая теория сильной семантики, до сих пор очень слабо разработанная (если не считать таких отдельных удачных фрагментов, как анализ перформативных и делокутивных глаголов, в силу специфики их значения более близкий к исследованию слов, семантика которых изучается внутри самого языка), как и необходимый для нее метаязык (или скорее целый набор способов описания разных сфер применения языка) начнут привлекать внимание лингвистов.

До сих пор при последовательном рассмотрении разных уровней языка и соответствующих разделов лингвистической теории мы сосредотачивали внимание преимущественно на том, как язык или отдельные его фрагменты соотносятся либо с другим естественным языком, либо с лингвистическим метаязыком, основанным (как универсальная фонетическая транскрипция) на сравнении друг с другом многих естественных языков, либо, наконец, с искусственным языком (уже существующим в математической логике или специально создаваемым для целей описания языка). Но кроме такого достаточно общего случая, для целого ряда областей лингвистики (в особенности современной) чрезвычайно характерно такое описание языка, при котором он соотносится сам с собой (выше при рассмотрении такого уровня, определенного как морфонологический, мы касались этой проблемы, но специально на ней не останавливались). Наглядным примером могут служить трансформационные и другие им подобные правила в порождающей грамматике: некоторая часть (подмножество) всех конструкций языка признается в определенном смысле исходной (базовой), а остальные выводятся из исходных по некоторой совокупности правил (поскольку сходный подход используется и в формализованных математических системах, в его перенесении на лингвистику

видели воздействие математического мышления). Нетрудно заметить, что аналогичный принцип применительно к морфологии широко использовался уже в древнеиндийской лингвистике, где были детально разработаны правила порождения форм из некоторых исходных. При диахронической интерпретации, данной еще Соссюром (а также Крушевским), такое исследование, выделяющее один фрагмент языка по сравнению с другими, приводит к определению большей архаичности одного фрагмента и к определению пути развития посредством внутренней реконструкции. Эту последнюю и можно охарактеризовать как сравнение, производимое внутри языка. Основной операцией при этом, как и в трансформационной грамматике, является расслоение системы языка на некоторые подсистемы. Если (как это было сделано еще древнеиндийскими грамматиками) установлено несколько типов морфологических чередований гласных, то оказывается возможным один из типов чередования принять в качестве основного, а другие попытаться вывести из основного типа чередований посредством ряда диахронических трансформаций. Следовательно, хотя остается в силе предположение, что любое лингвистическое исследование производится путем соотнесения одного языка с другим, в этом достаточно важном частном случае соотносятся друг с другом две подсистемы, выделяемые путем расслоения данной системы. Близкий случай встретился нам выше при рассмотрении такого семантического описания языка, при котором он может соотноситься с текстами, где этот же язык (как в работах Вержбицкой) используется в метаязыковой функции.

Как видно из предложенного беглого обзора основных разделов лингвистики и используемых в них процедур, сопоставление друг с другом разных языковых систем или разных подсистем одной системы может ставить перед собой, в частности, задачу выработки (или проверки и уточнения уже выработанной) системы, которая может служить для описания разных уровней каждого из изучаемых языков. В случае, если сопоставление проводится чисто типологически (вне конкретных пространственно-временных условий), основным его общелингвистическим результатом может быть построение или достраивание метаязыка, служащего для описания. В этом случае чаще всего ставятся относительно ограниченные задачи, касающиеся либо плана выражения (фонетического или фонологического уровней), либо плана содержания (например, системы граммем или ее фрагментов). Сравнение языков и в плане выражения и в плане содержания в их соотнесении друг с другом представляет собой специфику сравнительно-исторического языкознания. Но при всем отличии его специальных методов от типологических сопоставлений одного из «планов» неродственных языков друг с другом тем не менее кажется возможным отметить и важное сходство; сравнительно-историческое языкознание стремится разработать (а, выработав, проверять на новом материале) систему, служащую для описания каждого из сопоставляемых языков. Отличие от типологического метаязыка для описания состоит прежде всего в возможности охватить основную часть морфов, дав их диахроническую интерпретацию. Отметим наличие нескольких промежуточных случаев, показывающих, что предлагаемое сравнение построения типологического метаязыка описания с конструированием праязыковой системы на основе соответствий между родственными языками дает ориентир для соотнесения друг с другом и некоторых других областей лингвистики. Ареальная типология, соотносящая языки в пределах языковых союзов или зон, пользуется методами конструирования типологического набора

элементов, сходными с общей типологией, но при этом ставятся задачи изучения контактов между данными языками в пространстве и времени, близкие к изучению «хронотопа» в сравнительно-историческом языкознании. Частным, но очень важным для сопоставления с методами сравнительно-исторического языкознания случаем является изучение процессов креолизации. Вывод об отражении в «африканских» чертах креольских языков тех ареальных характеристик, которые обнаруживаются в различных по генетической принадлежности языках африканского ареала [30], может служить наглядным примером того, как типология языков в случае креольских языков оказывается необходимой и для выяснения генетических их отношений.

Не только лингвисты, но и сами говорящие сравнивают между собой языки (об этом не раз напоминал, говоря о взаимосвязях между сравнительно-историческим и типологическим языкознанием, Р. О. Якобсон). Сопоставление сходных типологических черт языков приводит к дальнейшему конвергентному движению в рамках одного языкового союза. Иначе говоря, конструирование типологически сходных систем элементов — не только процедура лингвистики, оно существенно и для самих контактов языков друг с другом. Представляется, что дальнейшее систематическое сравнение методов и результатов построения метаязыковых систем, служащих для описания в разных сферах лингвистики, могло бы способствовать более отчетливому осознанию ее единства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии. М., 1964, С. 109—110.
2. Пикитина С. Е. Семантический анализ языка науки (На материале лингвистики). М., 1987. С. 11.
3. Schubert J. Tibetische National grammatik. 1. Tl. // Mitteilungen des Seminars für orientalischen Sprachen. 1928. Bd. 31.
4. Miller R. A. Studies in the grammatical tradition in Tibet. Amsterdam, 1976.
5. Периз Ю. Н. Тибетский язык. М., 1961.
6. Иванов Вяч. Вс. Тибетская грамматическая традиция в соотношении с санскритской (опыт комментария) // История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981. С. 197.
7. Катеница Т. Е., Рудой В. И. Лингвистические знания в Древней Индии // История лингвистических учений. Древний мир. Л. 1980. С. 77.
8. Bacot J. Grammaire du tibétain litteraire. P., 1946.
9. Алексеев В. М. Китайская литература. // Алексеев В. М. Избр. труды. М., 1978.
10. Gabelentz G. von der. Chinesische Grammatik. Berlin, 1953.
11. Поливанов Е. Д. Опыт частной методики преподавания русского языка. 3-е изд. Ч. I. Ташкент, 1968.
12. Corbett G. The morphology/syntax interface // Language. 1987. V. 63. № 2.
13. Трубецкой И. С. Избранные труды по филологии. М., 1987.
14. Ревзин И. И. Понятие парадигмы и некоторые спорные вопросы грамматики славянских языков // Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973. С. 44—46.
15. Pulleyblank D. Tone in lexical phonology. Amsterdam, 1986.
16. Paraguchi S. The tone pattern of Japanese: an autosegmental theory of tonology. Tokyo, 1976.
17. Jakobson R. Selected writings. V. 2. The Hague — Paris, 1971. P. 89—90, 108.
18. Case in Slavic / Ed. by Brecht, R. D., Levine J. S. Columbus (Ohio), 1986.
19. M. Alexander Castren's Versuch einer Jenissei-Ostjakischen und Kottischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnis aus den genannten Sprachen / Hrsg. von Schiefner A. St. Petersburg, 1858.
20. Reichenbach H. The elements of symbolic logic. N. Y., 1947.
21. Цейтин Г. С. О промежуточном этапе при переводе с естественного языка на язык исчисления предикатов // Докл. на конф. по обработке информации, машинному переводу и автоматическому чтению текста. Вып. 9. М., 1961.

22. *Щербатской Ф. И.* Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Ч. I. Учебник логики Дармакирти с толкованием на него Дармоттары. СПб., 1903.
23. *Щербатской Ф. И.* Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Ч. II. Учение о восприятии и умозаключении. СПб., 1909.
24. *Stcherbatsky Th.* Buddhist logic. V. 2. Leningrad, 1932.
25. *Серрюс Ш.* Опыт исследования значения логики. М., 1948. С. 88—89.
26. *Лузин Н. Н.* Ньютонова теория пределов // Исаак Ньютон. 1643—1727: Сб. ст. к 300-летию со дня рождения / Под ред. акад. Вавилова С. И. М.—Л., 1943.
27. *Лейбниц Г. В.* Рациональный язык // *Лейбниц Г. В.* Соч.: В 4-х т. Т. 3. М. 1984. С. 423.
28. *Wierzbicka A.* Lingua mentalis. Sydney — New York, 1980.
29. *Лейбниц Г. В.* Новые опыты о человеческом разумении автора системы предустановленной гармонии // *Лейбниц Г. В.* Соч.: В 4-х т. Т. 2. М. 1983. С. 361.
30. *Gilman C.* African areal characteristics: Sprachbund not substrate? // *Journal of pidgin and creole languages.* 1986. V. № 1.

ПЕТРОВ В. В.

ЯЗЫК И ЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: В ПОИСКАХ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ

Одна из основных современных тенденций в изучении естественного языка — утрата «монополии» в его исследовании со стороны лингвистики, философии и логики. Прошедший в августе прошлого года в г. Москве VIII Международный конгресс логиков, методологов и философов науки наглядно подтвердил несомненный интерес к различным аспектам функционирования языка со стороны психологов, семиотиков, специалистов по искусственному интеллекту, теории культуры и истории науки.

И это не случайно. Можно выделить по крайней мере два существенных обстоятельства, стимулирующих эту тенденцию. Во-первых, в последние десять—пятнадцать лет произошел фундаментальный пересмотр традиционных исходных представлений о природе языка. Еще сравнительно недавно многими считалось вполне приемлемым рассматривать язык в качестве некой отчужденной от человека сущности, как если бы естественный язык не был частью нашей естественной истории. Согласно современным подходам, объектом исследований является язык как уникальная, подлинно человеческая способность, средство общения и отображения мира неотъемлемый компонент нашей естественной и социальной истории и прогресса когнитивных наук [1].

Такое расширение горизонтов анализа естественного языка не могло не пошатнуть отмеченной выше «монополии» в его изучении. Одновременно оно способствовало и установлению новой междисциплинарной системы «разделения труда» между исследователями языка, в которой лингвисты далеко уже не доминируют. В этой перспективе становится вполне понятной необходимость кооперации усилий лингвистов, семиотиков, логиков и других специалистов как при обсуждении собственно фундаментальных проблем природы языка, так и при решении прикладных задач.

Второе обстоятельство, повлиявшее на возрастание интереса к языку, — усиливающееся стремление понять, каким образом человек с его относительно ограниченными возможностями оказывается способным перерабатывать, трансформировать и преобразовывать огромные массивы знаний в крайне ограниченные промежутки времени. Отмеченные вопросы имеют не только чисто теоретический интерес — от успешности их решения во многом зависит прогресс в создании новейших вычислительных систем, эффективного программного обеспечения. Все это несомненно усиливает практическую значимость и актуальность исследований многих разделов теоретической и прикладной лингвистики.

И дело не только в более прагматичном климате восьмидесятых годов с характерной для него ориентацией на быстрее внедрение и практическую отдачу. Суть в том, что меняется сама стратегия научных исследований. Если раньше фундаментальные науки «поставляли» теоретические идеи, которые со временем воплощались в соответствующие технологии,

то сейчас очень часто происходит обратное — потребности развития той или иной технологии задают направление и масштаб теоретическим изысканиям. Применительно к лингвистике, как представляется, такой «базовой» технологией выступает развитие вычислительной техники, перспективных систем с искусственным интеллектом. При этом важно заметить, что если лингвистика окажется неподготовленной к новым условиям своего существования, то она рискует утратить приоритет в изучении многих актуальных проблем. А это, в свою очередь, может вызвать ослабление материальных, финансовых и др. стимулов ее развития.

Следует отметить, что в подобной ситуации оказалась не только лингвистика, но и, в частности, логика. Еще в 60-е годы наблюдался максимальный всплеск интереса к проблемам логической семантики, вызванный ее переориентацией на контексты, выходящие за рамки языков классических математических теорий. Почва естественного языка оказалась чрезвычайно богатой для построения нетрадиционных логических теорий — логики действий и событий, ситуационной и иллюкутивной логики, подстановочной семантики и т. д. Вместе с тем сейчас выявилось одно критически важное обстоятельство — их слабая связь с реальной практикой построения индивидом правильного естественно-языкового вывода.

Как отчетливо проявилось на Международном конгрессе в Москве, современная логическая семантика — область, где нет единой исходной и непроблематичной «базы данных», собственно которую и призвана объяснять любая семантическая теория. Выбор исходных фактов, подлежащих систематизации в теории, определяется, исходя из общих взглядов исследователей на язык, их ориентаций и личных предпочтений. В результате в настоящее время имеется более десятка формальных семантик естественного языка, практически не соотносимых и слабо связанных друг с другом [2].

Плюрализм и несоизмеримость современных логико-семантических подходов стали четко осознаваться с начала 80-х годов. Именно в это время логики остро ощутили отсутствие базовой семантической модели — метатеории семантики, — которая обеспечила бы четкую формулировку условий адекватности конкретных семантических теорий. В предшествующий период такой проблемы не возникало, поскольку стандартная семантическая теория, канонизированная работами Куайна 50—60-х годов, располагала не только соответствующим формальным аппаратом, но и опиралась на так называемую холистскую модель языка. Особенность последней, по мысли Куайна, — в конституирующей роли логики относительно фундамента языка и феномена его усвоения. Поэтому отказ в 60—70-е годы от стандартной семантической теории, обусловленный ее ограниченными выразительными возможностями в отношении многих естественно-языковых контекстов, был не только отказом от ее формального аппарата, но и одновременно от общей модели языка.

Отсутствие более или менее приемлемой общей модели языка повлияло и на представления о роли и статусе логики вообще. По крайней мере, сейчас активно обсуждается следующая альтернатива: возможно ли в перспективе говорить о логике как строгой дедуктивной системе семантического обоснования логического вывода или она должна рассматриваться как эффективное, но вместе с тем лишь вспомогательное средство формализации. Поэтому логикам, так же как и лингвистам, далеко не безразличны те интенсивные исследования, которые ведутся в других дисциплинах, изучающих естественный язык.

В последние годы усилили многих исследователей в области лингвист-

тики, искусственного интеллекта, психологии и т. д. направлены на создание общей теории языка, которая оказалась бы адекватной для решения проблем в каждой из названных областей. Построение такой теории является основной задачей новой научной дисциплины — когнитивной науки, зарождающейся как бы на «стыке» этих наук. В ее основе — предположение о том, что человеческие когнитивные структуры (восприятие, язык, мышление, память, действие) неразрывно связаны между собой в рамках одной общей задачи — объяснения процессов усвоения, переработки и трансформации знания, которые, собственно, и определяют сущность человеческого разума.

Как мы сегодня хорошо понимаем, язык — это, действительно, лишь небольшая часть того целостного явления, которое мы стремимся познать. Именно поэтому чисто лингвистические теории языка, как, впрочем, и логические теории, оказываются ограниченными в контексте новых задач. Попытки создания таких теорий основаны на предположении, что языковые структуры функционируют в значительной степени автономно и могут быть «безболезненно» выделены из других аспектов деятельности человеческого разума. Однако ни анализ практики обработки языковых сообщений человеком, ни полученные теоретические результаты в смежных с лингвистикой дисциплинах не дают оснований для таких утверждений.

Принципиальную роль в становлении когнитивной парадигмы языка сыграло все более четкое понимание необходимости систематического учета контекстуальных, в том числе экстралингвистических, факторов использования языка. В наше время никакие исследования в области восприятия и построения текста не могут быть признаны удовлетворительными, если в их основу не будет положена идея взаимодействия лингвистических знаний со знаниями о мире, с социальным контекстом высказываний, умением извлекать хранящуюся в памяти информацию, а также планировать и управлять дискурсом и многое другое.

При этом ни один из типов знания не является более важным для процессов восприятия и построения, чем другие, ни одному из них не отдается явное предпочтение. Только изучение способов взаимодействия и организации всех типов знаний приближает нас к пониманию сути языковой коммуникации, способствует прояснению природы семантического вывода, осуществляемого в повседневной практике употребления языка.

Изучение природы и типов взаимодействия знаний, используемых в процессе языковой коммуникации, рассматривается как одно из ведущих направлений когнитивной науки. Не случайно также, что один из основных вопросов психологии — вопрос о детерминации поведения человека — получил в когнитивной психологии следующий ответ: поведение человека детерминировано его знаниями [3]. Решающая роль отводится знаниям и в системах искусственного интеллекта, где само понятие интеллекта нередко связывается со способностью использовать «необходимые знания в нужное время».

В настоящее время, несмотря на наличие весьма значительного числа работ в области когнитивных аспектов функционирования языка, парадигма исследований еще окончательно не сложилась. Тем не менее активно обсуждаются две центральные проблемы когнитивного подхода к языку: 1) структуры представления различных типов знания; 2) способы концептуальной организации знаний в процессах семантического вывода.

Вопросы состава базы знаний, используемых носителями языка, ис-

следованы в общем довольно полно. Не вызывает возражений и трактовка базы знаний как самоорганизующейся и саморегулирующейся системы, подвижной и изменяющейся на основе новых данных. Гораздо большие трудности возникли в ходе поиска соответствующих структур представления знаний. Отличаются ли, например, структуры, предназначенные для представления прагматических знаний, от тех, которые применяются для представления семантических и синтаксических знаний? Иными словами, существует ли особый уровень прагматических представлений в ходе обработки текста? Какими представлениями оперирует человек на первых этапах обработки текста? Вот далеко не полный перечень возникающих вопросов.

Одним из важных результатов более чем десятилетнего развития когнитивной науки является идея неразрывной взаимосвязи процессов, происходящих в человеческой памяти, и процессов, определяющих производство и понимание языковых сообщений. Действительно, понимание некоторой новой ситуации сводится прежде всего к попытке найти в памяти знакомую ситуацию, наиболее сходную с новой. Мы можем обрабатывать новые данные не иначе как обратившись к памяти о ранее накопленном опыте. Этот поиск основывается на фундаментальном допущении, что структуры, применяемые для обработки новых данных, — это те же структуры, которые используются для организации памяти.

Одной из первых и, безусловно, наиболее простых структур для представления семантических данных высокого уровня явились сценарии [4]. Сценарий представляет собой набор объединенных временными и причинными связями понятий низшего уровня, описывающий упорядоченную во времени последовательность стереотипных событий. Примером описания некоторой разворачивающейся во времени ситуации с помощью сценария может служить представление последовательности событий, связанных с посещением врача. В лингвистике — в отличие от теории искусственного интеллекта — утвердилось не понятие «сценария», а понятие «фрейма» [5].

Структуры знаний, именуемые фреймами, схемами, сценариями, планами и т. п., представляют собой пакеты информации (храняемые в памяти или создаваемые в ней по мере надобности из содержащихся в памяти компонентов), которые обеспечивают удовлетворительную когнитивную обработку стандартных ситуаций. Они играют существенную роль в функционировании естественного языка: с их помощью устанавливается связность текста на микро- и макроуровне, обеспечивается вывод необходимых умозаключений, на их основе объясняются, например, некоторые особенности выражения категории определенности/неопределенности в языках, где существуют артикли. Наконец, они поставляют «контекстные ожидания», позволяющие прогнозировать будущие события на основе ранее встречавшихся сходных по структуре событий. Возможность такого прогнозирования является неотделимой частью любой когнитивной теории языка.

Хорошим примером структуры, предназначенной для представления прагматических знаний, являются стратегии, детально описанные в известной книге Т. ван Дейка и В. Кинча «Стратегии понимания связного текста» [6]. Авторы уделяют особое внимание динамическим аспектам понимания связного текста, полагая — и в этом существенное отличие их подхода, — что процессы понимания имеют стратегическую природу.

Действие стратегий носит гипотетический и вероятностный характер — с их помощью производится быстрое, но эффективное прогнозирование

наиболее вероятной структуры или значения воспринимаемых языковых сообщений. Стратегии характеризуются также одновременным действием на нескольких уровнях, способностью использовать неполную информацию и комбинировать как индуктивные, так и дедуктивные способы обработки информации. Стратегии являются контекстно-чувствительными — они могут изменяться в зависимости от внимания, интересов, целей говорящего/слушающего, а также от характера социального контекста. Часть стратегий имеет собственно лингвистический характер. Это относится, например, к стратегиям, соотносящим поверхностные структуры текста с базисными семантическими репрезентациями. Другие стратегии являются по преимуществу когнитивными — решающее значение для их действия имеют знания о мире, ситуативные знания и другая когнитивная информация.

Надо сказать, что существует и противоположный подход к оценке проблемы представления знаний [7]. Его сторонники утверждают, что отнюдь не знания являются ключевым звеном в решении проблемы обработки естественного языка. Поскольку процессы владения языком осуществляются конкретными людьми, то решающее значение, с их точки зрения, имеют те характеристики, которые не подлежат стереотипизации и моделированию. Здесь имеется в виду прежде всего индивидуальный опыт, но не в форме совокупности знаний, а в форме практических навыков (эмоциональное состояние, скрытые мотивы, мировоззренческие ценности носителей языка и т. д.). Как бы сочувственно мы ни относились к этой точке зрения, все же бесспорным остается факт создания многочисленных работающих вычислительных систем, основанных на концепции представления знаний. Вместе с тем вполне обоснован следующий вопрос — в какой степени в общем ограниченные выразительные возможности современных вычислительных систем обусловлены принятием концепции представления различных типов знания?

Вообще говоря, проблемы представления знаний теснейшим образом связаны с вопросами их концептуальной организации в рамках более общей проблемы обработки естественного языка. Но если методы представления знаний интенсивно развивались в связи с работами в области искусственного интеллекта на протяжении последних двадцати лет, то вопросы организации знаний были поставлены только в последние годы. Первоначально это было сделано в теории искусственного интеллекта, а затем* и в лингвистике, ориентированной на когнитивные науки.

На наш взгляд, можно выделить несколько конструктивных идей, характерных* для исследований по концептуальной организации знаний в 80-е годы. В частности, работы Р. Шенка и его последователей обосновали гипотезу интегральной обработки естественного языка. В соответствии с ней обработка языковых данных представляет собой единый процесс и происходит параллельно на всех уровнях — синтаксическом, семантическом и прагматическом [8], а результаты обработки, полученные на каком-либо из уровней, доступны для всех других уровней. В рамках данного подхода прагматические и семантические знания играют решающую роль уже на самых ранних стадиях процесса понимания текста. В конечном счете в основе гипотезы интегральной обработки естественного языка лежит более глобальная идея существования единого уровня представления знаний, на котором оказываются совместимыми языковая, сенсорная и моторная информация [9].

Достаточно очевидно, что в конкретных коммуникативных актах используется далеко не вся совокупность знаний и представлений, имею-

щаяся у ее участников. Поэтому необходимой становится разработка такого концептуального средства, которое ограничивало бы множество факторов, привлекаемых к интерпретации высказываний. В связи с этим в последние годы в литературе активно обсуждаются понятия «фокуса» и «релевантности». В частности, в одной из последних работ на эту тему детально анализируется понятие динамического контекста как ограниченного множества параметров данной коммуникативной ситуации [10].

Одним из наиболее перспективных направлений в настоящее время, в котором сочетаются проблемы представления и организации знаний, является процедурная семантика. Представление знаний о динамическом контексте дается здесь не в форме набора правил, а в виде процедур. Такой подход особенно предпочтителен для формулирования экспертных систем, являющихся по своей природе процедурными.

Указанные выше проблемы, конечно, далеко не исчерпывают всего спектра тем, которые разрабатываются в рамках когнитивного подхода к языку. Они скорее свидетельствуют об интенсивности исследований, ведущихся в этом направлении, а также о существенной трансформации лингвистической проблематики в связи с вхождением лингвистики в комплекс когнитивных наук, изучающих организацию человеческого знания.

Идея о важности экстралингвистического контекста употребления языка нашла свое воплощение и посредством такого его расширения, когда в понятие контекста включается когнитивное состояние носителей языка. Действительно, языковые выражения указывают не сами по себе — акт референции всегда осуществляется конкретными людьми. И, следовательно, если мы хотим идентифицировать их референциальные намерения, нам необходимо знание не только непосредственного контекста употребления, но и многого другого. В данном случае имеется в виду, что употребление языка осуществляется людьми с различным познавательным и жизненным опытом, на сугубо отличном друг от друга «мотивационном фоне», в котором находят свое отражение индивидуальные намерения и цели, потребности и нормы, знания и убеждения и т. д. Естественно, что в действительности ни о каком когнитивном единообразии не может быть и речи.

И с этой точки зрения объяснение механизма построения семантического вывода в реальной практике посредством концепции организации знания не является полностью корректным. Фреймы, сценарии, планы как структуры высшего уровня представления знаний действительно оказывают существенную помощь в интерпретации языка, в снятии неоднозначностей и выборе правильного значения, связывании воедино воспринимаемого текста. Но при этом концепция «фреймов» ничего не говорит о том, что реально происходит в сознании людей, оперирующих фреймами, не проясняет, каким образом связаны когнитивные способности носителей языка и их умение делать правильные выводы.

Возможность такого объяснения — следующий важный этап в развитии когнитивных подходов к языку, который в настоящее время еще находится в стадии постановки, но не решения. Мы можем только предположить, что понятия когнитивного состояния носителей языка, контекста (включая микро- и макроструктуру текста, социально-культурные характеристики контекста и т. д.), акта употребления (включающего стратегии планирования и управления дискурсом и т. д.) связаны между собой и, более того, совместно «работают» для объяснения общего феномена пони-

мания и порождения языковых выражений. Но как это происходит в рамках единой модели, пока не совсем ясно. Несомненно только, что многие операции со «знанием» выполняются, так сказать, «автоматически».

Осознание необходимости дальнейшего расширения горизонтов исследований языка ведет к тесному соприкосновению лингвистики и философии сознания. В предшествующий период — 60—70-е годы — в зарисованной философии преобладала та точка зрения, в соответствии с которой природу языка можно уяснить, изучая все, кроме сознания индивида, сферы ментального. Сейчас этот запрет снят. Возможно, что решающим обстоятельством такой переориентации явились не чисто научные, а практические соображения. Дело в том, что трудности с машинным переводом естественного языка, переход от баз данных к базам знаний, проблемы создания естественного языкового «входа» в компьютер потребовали изменений и в подходах к изучению языка. Неудовлетворительными с практической точки зрения были признаны не только бихевиористская теория языка, но и более поздние модели, учитывающие аспекты употребления. Сейчас общепринятым становится подход, при котором считается, что успешное моделирование языка возможно только в более широком контексте моделирования сознания. И именно этим объясняется несомненный философский интерес к проблемам, возникшим на стыке когнитивной психологии, теории искусственного интеллекта, представления и обработки знаний. Эти проблемы активно обсуждались не только в рамках секции «Философия и основания лингвистики» прошедшего Международного конгресса, но и на секциях «Общей методологии науки», «Философской логики» и др. Они стояли и в центре советско-американской дискуссии по актуальным проблемам теории познания, которая проходила в Институте философии АН СССР в октябре прошлого года. Свидетельством чрезвычайной практической значимости этих проблем является и то, по словам американских коллег, что философы, ориентированные на когнитивную проблематику, находятся в США в более приоритетном положении, нежели те, которые тяготеют к традиционной тематике.

Появление многочисленных работ по когнитивным аспектам языка оказало сильное влияние не только на философию языка, но и логику. Это проявилось прежде всего в возникновении нового вида «субъективных» семантик — интенциональной, критериальной, семантики концептуальных ролей, процедурной семантики и т. д. В отличие от бессубъективных семантик типа теоретико-модельных или теоретико-игровых «субъективные» семантики рассматривают язык не как абстрактную структуру, а как эффективное средство коммуникации [11]. Однако в настоящий момент предложенные варианты семантик существуют лишь в форме теоретических предпосылок и некоторых технических фрагментов, но не как строгие дедуктивные системы. И есть большие основания сомневаться в принципиальной возможности их представления в строго логической, канонизированной форме [12].

Появление в 70—80-е годы «субъективных» семантик означает прежде всего стремление выявить и учесть воздействие когнитивных способностей индивидов на их восприятие и интерпретацию языка. При этом одна часть этих исследований ведется в рамках создания компьютерных моделей дискурса, а другая представляет собой современный, выдержанный в строгих традициях аналитической философии анализ феноменологии человеческого восприятия и коммуникации. Именно осознанием значимости ментального фактора для раскрытия человеческой способности коммуникации с другими субъектами можно объяснить принципиально

новое явление, наблюдаемое в современной западной логике, методологии и философии науки, — глубокий и устойчивый интерес к феноменологическим концепциям восприятия мира.

В центре многочисленных современных работ по философии сознания находится принципиальное еще для феноменологического подхода со времен Гуссерля понятие интенционального состояния. Так, Дж. Серль — автор фундаментального исследования «Интенциональность» [13] — выделяет такие человеческие интенциональные состояния, как ощущения, убеждения, желания и намерения, хотя в принципе число примитивных интенциональных состояний может быть большим. С точки зрения Серля, наша способность соотносить себя с миром с помощью интенциональных состояний более фундаментальна, чем появление языка. Так, животные, не имеющие языка и не способные осуществлять речевые акты, тем не менее обладают интенциональными состояниями. Язык же появляется как особая форма развития более примитивных форм интенциональности.

По Серлю, способ, каким язык представляет мир, является расширением и реализацией способа, посредством которого сознание представляет мир. Следовательно, возможности и ограничения языка задаются возможностями и ограничениями интенциональности как конституирующей характеристики сознания. Все это приводит Серля к весьма важному выводу: ограниченному числу базисных интенциональных состояний должно соответствовать и вполне ограниченное число лингвистических актов. Исключительно важно, по Серлю, и то, что существа, способные иметь интенциональные состояния, автоматически способны связывать их с объектами и состояниями дел в реальности, т. е. способны по сути, отличать удовлетворение от неудовлетворения этого состояния. Но все же как долигвистические формы интенциональности связаны с интенциональностью языка? Каким образом осуществляется переход от интенциональных состояний к лингвистическим актам? Первый шаг в этом направлении — выбор явно распознаваемого средства выражения интенционального состояния. «Существо, — пишет Серль, — которое способно делать это намеренно, т. е. существо, которое не только выражает свои интенциональные состояния, но и выполняет акты для того, чтобы другие узнали его интенциональные состояния, уже имеет примитивную форму речевого акта» [13, с. 178]. Однако это еще не конкретные акты типа заявления, просьбы, обещания и т. д.

Следующее условие — наша способность к выполнению лингвистических актов для достижения экстралингвистических целей. Человек, утверждает Серль, который делает заявление, делает больше, чем просто демонстрирует свою веру во что-то, — он передает конкретную информацию. Человек, который дает обещание, делает больше, чем доводит до сведения окружающих, что он намерен что-то выполнить, — он создает стабильные ожидания у других относительно своего будущего поведения. Таким образом, выполнение лингвистических актов (а их Серль, как известно, выделяет пять — утверждения, директивы, обязательства, декларации, экспрессивы) гарантируется тогда, когда они направлены на реализацию конкретных социальных целей.

Взятые по отдельности, эти тезисы не вызывают больших возражений. Но в совокупности они, на наш взгляд, дают ошибочную картину того, как язык действительно связан с сознанием. Следуя Серлю, интенциональные состояния спонтанно, имманентно продуцируют сами из себя лингвистические акты, язык в целом. Но материалистические традиции

и данные современной психологии убедительно говорят о необходимости более широкого представления связи «языка и сознания» — в рамках человеческой деятельности, обязательно включающей материальную практику.

С другой стороны, вызывает возражение и основной тезис Серля о параллелях и явной связи типов речевых актов и соответствующих типов интенциональных состояний. Хотя автор и утверждает, что язык есть особая форма развития интенциональности, все же создается впечатление, что сами интенциональные состояния выделяются и анализируются Серлем сквозь призму ранее предложенных им пяти типов иллокутивных актов. На наш взгляд, предложенная Серлем типология речевых актов, которая сама по себе проблематична, явно предопределяет типологию интенциональных состояний. Но, несмотря на эти принципиальные замечания, работа Серля все же вызывает несомненный интерес как свидетельство явной переориентации традиционных тем философии языка.

Столь пристальное внимание к интенциональности связано с тем, что Серль, как и многие специалисты в области когнитивных наук [14, 15], считает ее одной из основных характеристик человеческого разума. Отсюда делается вывод принципиальной важности: современные методы компьютерного моделирования не в состоянии охватить удовлетворительным образом интенциональные аспекты деятельности человеческого разума. Следовательно, все попытки создания «творческого» компьютера, способного к целенаправленному, предвидению и планированию, обречены на неудачу. Этот пессимистический вывод Серля находит в общем-то большую поддержку у противников искусственного интеллекта и компьютеризации вообще. Он также опирается и на то, что в рамках наиболее распространенной сейчас на Западе репрезентативной теории сознания, рассматривающей сознание как систему ментальных состояний, личностный, субъективный компонент может быть выражен только через интенциональность. На наш взгляд, вывод Серля является ошибочным, т. к. неправомерно ограничивает подлинную сущность человека, сводя ее только к познавательным возможностям. Как свидетельствует история, понятие человека чаще всего ассоциируется с такими его уникальными качествами, как моральное самоопределение, чувство прекрасного и т. д. Поэтому нет серьезных оснований утверждать, что интенциональные характеристики в принципе не могут быть смоделированы компьютером.

Тезис, согласно которому интенциональность не является уникальной человеческой характеристикой, также имеет своих сторонников. Так, Д. Деннет, опираясь на конкретные результаты биологов, говорит о производном характере интенциональности, появившейся на вполне определенном этапе человеческой эволюции [16]. По его мнению, нет принципиальных различий между интенциональностью, которая присуща человеку и биологическим объектам, способным к переработке информации.

Не входя в дальнейшее обсуждение этой сложной и тонкой проблемы, констатируем общую возможность расширения перспектив исследований естественного языка, включающих сегодня уже не только лингвистику, психологию, философию и логику, но и когнитивную науку во всем многообразии ее методов и приложений.

1. *Степанов Ю. С.* В трехмерном пространстве языка. М., 1985.
2. *Сааринен Э.* О метатеории и методологии семантики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. М., 1986.
3. *Герасимов В. И.* К становлению «когнитивной грамматики» // Современные зарубежные грамматические теории: Сб. научно-аналитических обзоров. М., 1986.
4. *Scank R., Abelson R.* Scripts, plans, goals and understanding. N. Y., 1977.
5. *Баранов А. Н.* Категории искусственного интеллекта в лингвистической семантике: Научно-аналитический обзор. М., 1987.
6. *Dijk T. A., Kintsch W.* Strategies of discourse comprehension. N. Y., 1983.
7. Artificial intelligence: The case against / Ed. by Börn R. L., 1987.
8. *Schank R., Birnbaum L.* Memory, meaning and syntax // Talking minds: The study of language in cognitive science. Cambridge, 1984.
9. *Jackendoff R.* Semantics and cognition. Cambridge, 1983.
10. *Sperber D., Wilson D.* Relevance. New Jersey, 1986.
11. *Павилёнис Р. И., Петров В. В.* Язык как объект логико-методологического анализа: новые тенденции и перспективы // ВФ. 1987. № 7.
12. *Петров В. В., Переверзев В. Н.* Пропозициональные структуры языка // ИЛН. 1987. Вып. 2. № 11.
13. *Searle J.* Intentionality. Cambridge. 1983.
14. *Dretske F.* Knowledge and the flow of information. Cambridge, 1984.
15. *Fodor J.* Psychosemantics. Cambridge, 1987.
16. *Dennett D.* The intentional stance. N. Y., 1987

ПРИЦАК О. И.

ТЮРКО-СЛАВЯНСКОЕ ДВУЯЗЫЧНОЕ ГРАФФИТИ XI СТОЛЕТИЯ
ИЗ СОБОРА СВ. СОФИИ В КИЕВЕ*

I. Граффити 153

Среди 292 средневековых и более поздних граффити собора св. Софии в Киеве имеется странное граффити (№ 153)¹, о котором его издатель С. А. Высоцкий сказал: «довольно загадочная надпись»².

Это граффити, нанесенное на фреску св. Онуфрия, находится в южной наружной галерее (первый этаж)³. Надпись выполнена двойной линией, напоминающей некоторые тексты, датированные второй половиной XI в., как в Изборнике Святослава 1073 г., Архангельском евангелии 1092 г. ([3, с. 374, 375, 377]; см. также [2, с. 63]). Надпись состоит из четырех строк, первая из которых неразборчива:

1. М[Ц]...ф...

2. ⁴ ТЛТЪКЮШЪ ПОПИНЪ БЪЛОВЪЖЪСЪ3. КЫЙ ∞ ⁵ БАКАЧУАСИИВАНЪ ЧЮРАБЫБО4. ЖИС АЛЪ^{ТИ} АЛЪТИ АЛЪБАБУ ∞

Высоцкий справедливо полагает, что знак ∞ делит надпись на две части [2, с. 64]^{1*}.

По непонятным причинам издатель не дает чтения или перевода первой части. Он объясняет только отдельные слова: *тятъ* — возможно, *втятъ* — глагольная форма от *тати* «рубить, сечь, зарубить, рассекать»; *кюшъ* — личное имя; *попинъ* — «епископ, возведенный в это звание из попов»; *бъловѣжъскый* — «из города Белая Вежа». «Итак, — пишет Высоцкий, —

* Статья профессора Гарвардского университета О. И. Прицака (см. его автобиографию: *Apologia pro vita sua // Journal of Turkish studies. Türklük bilgisi araştırmaları*. 1978. V. 2. P. IX—XVIII), видного специалиста по алтайской филологии, истории Киевской Руси и русо-половецких отношений, была опубликована в 1982 г. (см.: *Pritsak O. An eleventh-century Turkic bilingual (Turko-Slavic) graffito from the St. Sophia Cathedral in Kiev // Harvard Ukrainian studies*. June, 1982. V. VI. № 2. P. 152—166). Она предлагается русскому читателю в переводе акад. АН СССР

А. Н. Кононова с некоторыми сокращениями, касающимися главным образом ссылок на общеизвестную специальную литературу. Примечания переводчика (ссылки на них обозначены в тексте статьи цифрами со звездочкой) и его послесловие (а также литература к ним) следуют после статьи О. И. Прицака. Труды иностранных авторов, имеющиеся в русском переводе, цитируются по русскому изданию (*Примеч. ред.*).

¹ Корпус граффити Софии Киевской опубликовал С. А. Высоцкий [1, 2].

² Фотографию и графическое воспроизведение граффити № 153 см. [2, с. 330—331 (фото LX — LX1)]; комментарий Высоцкого [2, с. 63—67] (на с. 64 отмечается, что в граффити имеются непонятные слова: *бьяа, вябу, чю*).

³ План 1-го этажа Софии Киевской см. в [2, с. 132].

⁴ Монограмма, которую Высоцкий предварительно интерпретирует как заместитель кириллической буквы В. См. [2, с. 64].

⁵ В некоторых рукописях времен Древней Руси этот знак обозначает паузу; см. [3].

в первой половине надписи речь идет об убитом „попине“ по имени *Кюшъ (?)*» [2, с. 64] ⁶.

Высоцкий читает вторую часть надписи так: *бякя чу, а си Иванъ чю рабы божие ялъ, ти ялъ, ти ялъ вябу* [2, с. 66].

Он объясняет отдельные слова следующим образом: *бякя* — вероятно, ругательство [«плохой, дурной» человек] ⁷; *чю* и *чу* — вероятно, императив от *чоути* «чувствовать, ощущать, слышать, знать, сознавать»; *си* — указательное местоимение «этот» ^{3*}; *ял (лъ)* — прошедшее время от глагола *яти* «взять, брать, схватить» ^{4*}; *вябу* — возможно, производное от глагола *вабити* «приманивать».

Основываясь на своем переводе, Высоцкий дает следующую интерпретацию граффити-надписи: «Первая его половина имела все составные элементы обычной поминальной надписи: сокращенную дату события и имя убитого. Кюшъ, вероятно, имя какой-то церковной особы, названной „попине Беловежский“. Вторая половина надписи совершенно необычна. Это приписка о каких-то трагических событиях, в результате которых погиб „попине“, а „рабы божие“ были взяты с помощью обмана „сим Иваном“, названным автором „бякой“. Конец надписи — это какое-то магическое заклинание или покаяние, в котором трижды повторяется слово „взял“. Скорее всего автор надписи обвиняет Ивана в проступке перед богом и св. Онуфрием» [2, с. 67].

II. Лингвистический анализ

Богдан Струминский, не удовлетворенный объяснением Высоцкого, усматривает здесь тюркскую определительную конструкцию «изафет II»: /θ/ ÷ /sin/ ⁸: *бака чуа-си*.⁹ Это предположение возбудило мой интерес к этому граффити. Вскоре я убедился, что предположение д-ра Струминского о том, что надпись содержит тюркские элементы, обосновано.

В этом кратком тексте обнаруживается восемь тюркских слов и/или предложений. Распределение славянских и тюркских элементов примечательно, так как представляет собой древнюю передачу религиозного (христианского) текста, в котором тюркские элементы составляют главную сущность текста.

Перейдем теперь к детальному рассмотрению тюркских элементов.

1—2. ТЛТЪКЮШЪ. На мой взгляд, это типично тюркская конструкция, обозначающая личное имя попина. Она состоит из двух элементов: *тлтък* + *кюшъ*. Буква *к* относится как к конечному согласному в слове *тлтък*, так и к начальному согласному в слове *кюшъ*. Эта ее двойственная функция характерна для древнетюркского языка ^{6*}, не терпящего удвоенных согласных (в данном случае *кк*), см. [8].

ТЛТЪК < тюрк. *tätük* «сообразительный, понятливый, сметливый». Это слово (и личное имя) широко известно из древнеуйгурских и средневековых тюркских текстов (Кашгари, Qutadû Bilig, Codex Cumanicus, чагатайская придворная литература) ⁹. Это слово использовалось в ка-

⁶ В Киевской Руси в XI—XII вв. термин *попине* (в противоположность термину *попъ*), возможно, употреблялся для обозначения высшего духовенства не из монахов, а из белого духовенства, из которого часто избирались епископы; см. [4] ^{2*}.

⁷ В современном русском языке *бяка* — слово из детского языка; см. [5].

⁸ О тюркской конструкции «изафет II» см. [6, с. 411—413; 7] ^{5*}.

⁹ Существуют две формы этого имени: *tätük* и *tätüg*; см. [9, с. 476; 10, с. 455; 11, с. 556].

честве имени половецкого вождя (1185 г.): *Tkmuı̄ — Tctij*¹⁰ [12, кн. 396]. Караханидское *tādük* и чагатайское *täyik ~ tätük* наводят на мысль, что здесь мы имеем причастную форму на *-duk* от глагола **tät-: *tät-dük > tätük > tätik ~ tādük* (ср.: Qutadıy Bilig, Codex Cumanicus турецк. *tetik*). Это слово встречается в составе личного имени *tetik Salomon* (Codex Cumanicus) «мудрый Соломон» [14].

Буква *-ю-* в слове *кюшъ* указывает, что это слово с переднерядным слоговым вокализмом. Можно допустить, что *-иъ* — рефлекс конечного *-ĕ*, которое в старых (предосманских) текстах в арабской графике передавалось буквой /š/ вм. /ĕ/; фонемы /ĕ/ в арабском языке нет [15]. Представляется маловероятным, что *-иъ* является отражением «казахского» развития *-ĕ > -š*¹¹.

Слово *küç* «сила» широко, начиная с древнетюркских и древнеуйгурских текстов, используется в качестве личного имени: *Küç Kül, Küç Temür, Qilic Küç* (см., например [9, с. 306; 10, с. 693]). Это слово встречается также на Руси (1147 г.) как первый компонент названия половецкого рода¹².

3. БѦКѦ Буква *Ѧ* в слове *бѦкѦ* используется вместо двух широких гласных переднего ряда: палатального /ä/ и лабиального /ö/. Следовательно, *бѦкѦ* воспроизводит тюркское *bökä* «герой, силач, богатырь», которое как личное имя встречается в Словаре Махмуда Кашгарского (XI в.): *Bökä Budraç* [19]¹³. Слово *Bökä* также содержится в названии половецкого рода, упоминаемого в Ипатьевской летописи под 1180 г. [18, кн. 623]¹⁴.

4. ЧУАСИ. Это слово можно разложить на *чуа* + possessивный аффикс («артикль») /sin/)^{10*}. Примечательно, что здесь передний гласный /i/ в славянском воспроизведении передается через *и*, но не через *ы*; *чуа* стоит вместо **čöya [čöha]*. Не было славянского обозначения для глоттального спиранта /h/¹⁵, являвшегося аллофоном увулярного спиранта /ɣ/, для которого в славянском употреблялась буква *г* (*g*) (ср. ниже *чага*); вследствие этого согласный /h/ был опущен.

Этимон тюркского *сöya* «ребенок», вероятно, сопоставим с другим тюркским словом *čäya* «младенец».

Слово *čöya* засвидетельствовано в чагатайском ([22, 23^{11*}]: *чога* «щенок хищных зверей») и турецких диалектах [24, с. 995^{12*}]; форма *čäya*

¹⁰ Эту типично половецкую (кыпчакскую) форму с превращением *-üg > -ij* распознал А. Зайончковский [13, с. 35]^{7*}.

¹¹ Я предлагаю взамен этой следующей гипотезу: тюркское обозначение для *попинъ*, вероятно, начиналось буквой *k/q*, весьма возможно, что это было слово *qoǰa* («господин» < перс. яз.), как в Codex Cumanicus (= *dominus*); см. [16]. В таком случае, *čq-* в словосочетании **küç qoǰa* появилось автоматически в результате сандки (*-šq-: küšqoǰa*), так как *č* перед *k/q* и *t* превращаются в *š* [17, с. 138—140]. Это слово, стоящее перед словом *попинъ*, могло быть субститутом слова *qoǰa*; следовательно: **küš-qoǰa = küš-popinъ*^{8*}.

¹² В Ипатьевской летописи [18, кн. 342]: *Сюдимира Коучебича*. Родовое имя **Коучебич* — в действительности племенное название; *čба* — древнерусская репрезентация половецкого *оба* «род, племя»; *коуч-* < *küç* обсуждалось выше (прим. 11).

¹³ О *bökä* см. [9, с. 83; 10, с. 324; 20]^{9*}.

¹⁴ Это имя встречается также в форме аккузатива: *бѦкобоу*. Здесь **-оба* — половецкое слово, обозначающее «род, племя»; см. [13, с. 38—40]. Первый компонент этого сложного слова — **бѦкѦ*, в котором конечное *-Ѧ* изменится под влиянием начального гласного *о-(о-ба)*. По поводу этой синкопы см., например, турецк. *ne ücün > niçün* «почему», кирг. *kara at > karat* «черная лошадь»; см. также [17, с. 43—46].

¹⁵ О тюркском глоттальном спирante /h/ см. [6, с. 30—31]. Я не склонен предполагать здесь северо-западный (карачаево-балкарский) пример развития (*-oɣa > -u'a/-ua-*); см. [21].

известна в чагатайском, туркменском и во всех турецких диалектах [9, с. 92, 113] (под словом *čoçuk*) [24, с. 1033].

В «Сокровенном сказании монголов» имеется слово *čača* «ребенок» [25, § 68]. В «Слове о полку Игореве» встречается слово *чага* в значении «девушка-невольница» [26].

Начертание *чуа* отражает оригинальное **čoha*; слав. /u/ было избрано для изображения тюркского полузакрытого /ō/, так как слав. /o/ — полуоткрытое; ср. также *čor*, написанное как *чюр* (см. дальше). В нашем граффити слово *čō/h/a-si* в значении «его сын» заменило обычно слово *oçul* (*oçl-i*) [27, с. 309].

5. ЧЮР. Подобно тому как упрощение геминаты *-k* (*Täü-k*) + *k* (*Küč*) (т. е. два одинаковых согласных) дало одно *-k*, так и два *r* (*čor-r* + *r-aby*) превращается в одно *r* (слав. *p*).

*Čor*¹⁶ (или *čōr-in*¹⁷) — тюркский титул военачальника. Это слово известно из древнетюркских памятников (например, *Kül Čor*, *Tadiq Čor*, *Tarduš Inanču Čōr*), см. [10, с. 427—428] и [11, с. 157] (под словом *čur*)^{13*}. *Čor* встречается у Константина Багрянородного (ок. 948 г.) как высокий печенежский титул [31]. Титул *čōr* (а также *čōrin*) встречается в двух топонимических названиях поросских черных клобуков (1190 г.)¹⁸. В позднее время в старорусском языке этот титул обнаруживается в Никоновской летописи (под 1526 г.); любопытно, что, как и в нашем граффити, он пишется с буквой ю: *чюра* [35]. По происхождению это слово, вероятно, соответствовало встречающемуся в киргизском эпосе слову *čoro* (<*čōra*) «ближайший сподвижник эпического богатыря» [36, с. 868].

6. АЛЪТИ. Здесь, как и в случае с гласным первого слога в слове *бама*, буква *а* передает /ō/. Это тюркское слово *ölti* «он умер» < *öl* «умирать» [10, с. 125—126]. Примечательно, что *-d* в начале аффикса прошедшего-категорического времени /di/ следует развитию, известному по древнетюркским надписям, в которых /d/ перед /r, l, n/ превращается в /t/ [37]. Повторение формы *ölti* понятно: поскольку в граффити названы два лица (каждое в отдельной части надписи), выражение «он умер» повторяется дважды.

7. АЛЪБАЛ. Наличие этого слова в граффити представляет особый интерес для тюркологии. Единственная соответствующая форма известна мне из Словаря В. В. Радлова, где указано телеутское слово *älbi*, представляющее северо-восточную территорию тюркского мира

¹⁶ Как показывает транскрипция тибетских и хотанских текстов, гласный в этом слове был /ō/; см. [28; 10, с. 427—428].

¹⁷ Зарегистрировано у Наршахи [29] *gara čōrin* как титул члена древнетюркской династии. О суф. *-in* см. [30].

¹⁸ Но Византийской летописи, два города, по-видимому, названные по имени соответствующих военных вождей, были расположены в бассейне реки Рось (к югу от Киева), где киевские князья поселяли военных колонистов черных клобуков, которых обычно избирали из среды союзных торков. Первый город — *Кульдюресо* [18, кн. 672], название которого является очевидной славянской деривацией (*-ev-ol-ov-o*) от хорошо известного тюркского титула *Kül čōr*; *-dju* (вм. *-ju*) указывает в данном случае на сочетание *l — č*, развившееся (под влиянием сансхри) в *-lž-*. О деривации *-ev-ol-ovo* см. [32]. Второй город назывался *Чюрнаевъ* [18, кн. 669]; название состоит из славянского суф. (*-ev-ъ*, см. выше) и тюркского элемента, основой которого является *čōrin* (вариант от *čōr*, о котором сказано выше) и «вокативный» элемент /a/ ∞ /aj/; см. [33, с. 154, 343]. О выпадении среднего слога (Mittelsilbenschwund) см. [33, с. 43—44, 47]: * *čōrinaj* > *čōrnaj*^{14*}.

О локализации этих двух городов см. [34, с. 215, 12]. Существование и использование титула *čōr* ∞ *čōrin* среди черных клобуков имеет важное значение для интерпретации нашей киевской билингвы, в которой также используется титул *čōr*.

(см. Послесловие автора). По Радлову, это слово значит: «сила, которая действует в лекарстве, в молитве» [38]. Однако это слово и его значение лучше документированы в монгольском языке. В «Сокровенном сказании монголов» имеется слово *elbesün* (/sün/ — аффикс *poten unitatis*), которое в китайском языке переводится *ch'i-tao* «молящийся» [25, § 174]. От основы **elbe-n* в монгольском языке был создан глагол *elberi-(elbe-ri-)* «оказывать уважение или почтение родителям или старшим по возрасту»¹⁹, который известен также и в современном монгольском; позднее от этой основы произошло имя *elberil* «благоговение, почтение, уважение» (в кит. *hsiao*) [41]. На этой основе, что вполне возможно, образовалось в древне- и среднетюркском слово **älbä* «(сыновняя) почтительность, поминование»^{15*}.

8. БУ. Общетюркское указательное местоимение «это(т)» употребляется как коцула-связка, особенно в древних помипальных надписях поволожских татар: *ziyaräti bu* «это есть памятный камень» [27, с. 309].

III. Тюркские элементы граффити

Теперь представляется возможным установить текст и перевод надписи киевской билингов (тюркские слова и фразы выделены курсивом).

<i>Tätük</i> [K]üč ropinъ	Тетюк Кюч, старший священник
bëlovëz' 's' 'kyj,	(<i>попишь</i>) Белой Вежи, [и]
<i>Bökä Čö[h]asi Ivan Čor,</i>	[сын Бока, Иван Чор,
[ra]by božije	рабы божие,
<i>ölti, ölti</i>	умер [и] умер [т. е. оба умерли].
<i>älbä bu.</i>	Это — [их] (сыновняя) почтительность ^{16*} .

Теперь мы рассмотрим это граффити с позиций тюркологии.

Графические особенности

1. Славянская кириллица не была достаточно хорошо приспособлена для передачи тюркского вокализма, в силу чего в некоторых случаях одна славянская буква используется для двух тюркских фонем; их соответствия следующие:

- (а) *а* = *ä*: *альба* — *älbä*, *татък* — *tätük*, *бәкә* — *bökä*;
а = *ö*: *альти* — *ölti*, *бәкә* — *bökä*²⁰;
(б) *у* = *u*: *бу* — *bu*;
у (ю) = *ö*: *чуа* = *čö[h]a*, *чюр* — *čör*;
(в) *ь* = *ü*: *татък* — *tätük*; ср.: Түрк- < *Türk* (түрки [12, клн. 204])
ь = знак слогоделения: *альба* — *äl-bä*, *альти* — *äl-ti*;
(г) *ю* = *ü*: *кюшь* — *küč*;
ю = *o* (после *č*)²¹: *чюр* — *čör*.

Остальные случаи не содержат ничего примечательного:
А = *a*: *чуа* — *čö[h]a*

¹⁹ Исходной формой этого монгольского слова, по всей вероятности, является отглагольное имя на /n/: **elbe-n*; см. [39]. Суффиксы /n, d, r/ исчезли перед суффиксом *poten unitatis* /sun/; см. [40].

²⁰ Нет никакого основания предполагать здесь более позднее галлицко-караимское развитие: *ä, ö > ä*; об этом см. [42]^{17*}.

²¹ Фонема /č/ в старославянском была палатальной; см. [43].

и = *i*: альт. *ölli*, чуаси — *čö[h]asi*. Как отмечалось выше, язык граффити имеет только одно *i*: палатальная оппозиция (передний — задний) делябиализованных гласных не имеет места.

2. В консонантном составе отметим следующие четыре случая: (а) превращение конечного *-č* (в «арабском» написании) в *-шь*: кюшь — *küč*; (б) маркирование морфонетической границы посредством «твердого» знака (ъ): альба — *äl-bä*; альти — *öl-ti*²²; (в) отсутствие глоттального спиранта [h]: чуаси < *čö[h]asi*; (г) упразднение геминат в древнетюркских формах: таткюшь < *Tätük*; *küč*; чюрабы < *čör* + рабы.

Фонология

1. Общая характеристика

(а) Засвидетельствованный состав гласных:

Первый (коренной) слог	Непервый слог
<i>ü u</i>	<i>i ü</i>
<i>ö o</i>	
<i>ä</i>	<i>ä a</i>

(б) Засвидетельствованный состав согласных:

Отдельные согласные	Группа согласных
<i>k t č s</i>	
<i>b</i>	
<i>r l</i>	<i>lb lt</i>
<i>h</i> (глоттальный спирант)	

2. Анлаут:

(а) Гласные:

ä: альба — *äl**b**ä*
ö: альти — *ö**l**ti*

(б) Согласные

b: бака — *b**ö**kä*, бу — *b**u***

k: кюшь — *k**ü**č*

t: татък — *t**ä**tük*

č: чуа — *č**ö**[h]a*, чюр — *č**ör***

3. Инлаут:

(а) Гласные

ä: татък — *t**ä**tük*
ö: чуа — *č**ö**[h]a*, чюр — *č**ör***
ö: бака — *b**ö**kä*
u: бу — *b**u***
ü: кюшь — *k**ü**č*

(б) Отдельные согласные

k: бака — *b**ö**kä*
t: татък — *t**ä**tük*
[h]: чуа — *č**ö**[h]a*
 (в) Группа согласных
lb: альба — *ä**l**bä*
lt: альти — *ö**l**ti*

4. Ауслаут (основы):

(а) Гласные

a: чуа — *č**ö**[h]a*
ä: альба — *ä**l**bä*,
 бака — *b**ö**kä*

(б) Согласные

k: татък — *t**ä**tük*
č: кюшь — *k**ü**č*
l: аль — *ö**l**-*
r: чюр — *č**ör***

Морфология

(а) Аффиксы:

- Аффикс принадлежности 3-го лица /sin/: чуаси — *čö[h]a-si*;
- Аффикс прошедшего-категорического времени 3-го лица /di/: альти — *öl-ti*;
- Указательное местоимение: бу — *bu* в функции связки (копулы).

²² О структуре древнетюркской синлабической системы см. [44].

1. Формула *čō[h]a-si* в качестве субститута обычного слова *oγl-i* «сын такого-то»;
2. Лексический гапакс: *älbä* в значении «(сыновняя) почтительность, поминовение».

З а к л ю ч е н и е

Несмотря на то, что тюркский материал киевской билингвы ограничивается шестью именами существительными (*älbä*, *bökä*, *čō[h]a*, *čör*, *küč*, *tätük*), одним местоимением (*bu*), одним глагольным корнем (*öl-*), одним аффиксом принадлежности /*sin*/ и одной глагольной формой /*di*/ (*öl-ti*), тем не менее имеются достаточно солидные основания определить данный язык как *lingua franca* торков, черных клобуков XI—XII вв. Ему определено присущи черты языков юго-западной группы (туркменский, огузский). Не только все эти имена существительные сохранились наилучшим образом в живых огузских языках, но они встречаются в весьма сходных, часто едва ли не в более древних фонетических формах (*k-*, *t-*; *-k-*, *-t-*). С другой стороны, по крайней мере три изоглоссы объединяют язык граффити с древнетюркским языком: (а) наличие только одной гласной фонемы /*i*/ ²³; (б), последовательность гласных *ä — ü*: *tätük*; (в) изменение начального согласного афф. /*di*/ после /*l*/: **l-d > lt*.

Этот язык никоим образом нельзя связывать с половецким (кыпчакским) языком, что ясно проявляется в различии форм слова «сообразительный, понятливый»: в киевском граффити *татък* — *tätük*, а в половецком языке на Руси (1185 г.) *тѣтий* — *tētij*.

IV. Дата и происхождение граффити

Нечеткая первая строка граффити, по-видимому, содержала дату надписи. Высоцкий предположил, что начальным словом являлось М [ца] «месяца» и что следующее слово было названием определенного месяца, который может быть или июнем или июлем — исходя из свободного промежутка в строке [2, с. 64]. Поскольку следующей различимой буквой является Ф, которая имеет числовое значение «500», можно предположить, что в ней кроется указание на шестое столетие седьмого тысячелетия Anno mundi, которое начинается 1 сентября 992 гн. э. и кончается 31 августа 1092 н. э. Так как собор св. Софии был, по-видимому, построен между 1037 и 1046 гг. (см. [45, 46]; ср. также [2, с. 240—257]), то дата граффити может быть отнесена к периоду между 1046 и 1092 гг., наиболее вероятно — к концу нижней даты, т. е. к 80-м или 90-м годам XI в. Итак, из этого следует, что обобщенная дата Высоцкого «XII столетие» [2, с. 38] должна быть отодвинута на несколько десятилетий назад. Вопреки предположению Высоцкого, граффити не сообщает подробных обстоятельств, при которых умерли Тетюк Кюч и Иван Чор, нет указаний на то, явилось ли это следствием злодеяния или они умерли в одно и то же время.

Два города с названием Белая Вежа известны из древнерусских источников ²⁴. Первый из них, торговый центр Хазарии, Саркел на Дону,

²³ В граффити не используется славянская буква *ы*, пишется *и*: *чуаси*.

²⁴ Я не вижу достаточных оснований допускать существование третьего города Белой Вежи в Переяславском княжестве, как полагают многие ученые, разделяющие точку зрения Н. Барсова. См. [34, с. 18; 47; 48, с. 320, 348; 49; 2, с. 65—66]. Последнее топографическое исследование Переяславского княжества не упоминает о Белой Веже в Переяславле [50].

был разрушен Святославом в 965 г. [51, с. 47]; о Саркеле см. [52]). Второй, который в некоторых источниках называется также «Старая» Белая Вежа, локализуется на южной границе Черниговского княжества, недалеко от верховья р. Острь [53, 54]. Владимир Мономах в «Поучении» упоминает его в связи с событиями 1085 г. [51, с. 160]. Есть основание предполагать, что Тетюк Кюч был попином черниговской Белой Вежи. Подобно Острьскому городку (на р. Острь), Белая Вежа могла быть крепостью династии Всеволода на юге. В 1149 г. Юрий Долгорукий оставался там целый месяц в ожидании поддержки со стороны половцев перед тем как он атаковал Переяславль [48, с. 157—172]. Тетюк Кюч и Иван Чор, сын Бока, по-видимому, принадлежали к верхушке черных клобуков — тюркских наемников, служивших у киевских князей и даже принимавших христианство²⁵. Если наша хронологическая гипотеза правильна, их сюзереном был Всеволод Ярославич, отец Мономаха, который между 1078 и 1093 гг.²⁶ правил всей Русью и, в особенности, землями Киева, Чернигова и Переяславля. Это правдоподобно объясняет включение попина из черниговской Белой Вежи в граффити на стене киевского собора св. Софии.

Надпись была изготовлена профессиональным писцом в выражениях сыновней почтительности (тюрк. *albä* = кит. *hsiao*.) Можно думать поэтому, что попины Тетюк Кюч и обладатель высокого военного звания (*чор*) Иван были братьями. По-видимому, они были убиты в одно время, и надпись в их память была высечена по заказу сына Ивана (это единственная возможность, так как попины не мог быть женатым). Вероятно, он стал священником, как и его дядя, и был связан с духовенством церкви св. Софии, благодаря чему получил доступ к этой церкви и/или возможность выполнить надпись столь профессионально.

Как указано выше, Владимир Мономах упомянул Белую Вежу в связи с событиями 1085 г. Он пишет о достопамятном столкновении так: «И заутра, на Госпожинь день, идохом [от берегов р. Сулы— П. О.] к Бѣлѣ Вежи, и богъ ны поможе и святая Богородица: избихом 900 половець, и два князя яхом, Багубарсова брата, Асиня и Сакзя, а два мужа толко утекоста» [51, с. 160]. Мы можем с полным основанием предположить, что во время такой важной битвы некоторое количество русских воинов тоже было убито. Если среди воинов были черные клобуки, могли быть убиты два их вождя. Гибель чора и попина, принадлежавших к черным клобукам, несомненно, была достойна увековечения в соборе Софии Киевской. Родословная лиц, имеющих отношение к черным клобукам, предположительно может быть представлена следующим образом:

Бока

Тетюк Кюч, *попины*
ум. ок. 1085 г.

Иван Чор
ум. ок. 1085 г.

неизвестный (лицо, высекшее
или заказавшее граффити № 153).

²⁵ О черных клобуках см. [55—58].

²⁶ Эта дата подтверждается также палеографией: ок. 1073—1092 гг.; см. выше, в начале статьи.

Граффити № 153 из собора св. Софии Киевской имеет значение для истории Восточной Европы как единственная известная надпись в честь черных клобуков Великокняжеской Руси. Ее значение для филологии и истории культуры состоит в том, что она является единственной тюркско-славянской двуязычной надписью средневековья.

С английского перевел, примечаниями и послесловием снабдил Кононов А. Н.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Висоцкий С. А.* Древнерусские надписи Софии Киевской XI—XIV вв. Киев, 1966.
2. *Висоцкий С. А.* Средневековые надписи Софии Киевской (по материалам граффити XI—XVII вв.). Киев, 1976.
3. *Карский Е. Ф.* Славянская кирилловская палеография. Л., 1928. С. 224, 374, 375, 377.
4. *Приселков М. Д.* Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв. СПб., 1913. С. 324—325.
5. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I. М., 1964. С. 261.
6. *Кононов А. Н.* Грамматика современного турецкого литературного языка. М.—Л., 1956.
7. *Майзелъ С. С.* Изафет в турецком языке. М.—Л., 1957. С. 30—43.
8. *Pritsak O.* Das Alttürkische // Handbuch der Orientalistik. Ser. I. Bd. 5. Tl. 1. 2-e Aufl. Leiden — Köln, 1982. S. 33.
9. *Räsänen M.* Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türkisprachen. V. 1. Helsinki, 1969.
10. *Clauson G.* An etymological dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford, 1969.
11. *Древнетюркский словарь.* Л., 1969.
12. *Лаврентьевская летопись /* Изд. Карский Е. Ф. // ПСРЛ. 2-е изд. Т. I. Л., 1927.
13. *Zajaczkowski A.* Związki językowe polowicko-słowiańskie. Wrocław, 1949.
14. *Grønbech K.* Komanisches Wörterbuch. Türkischer Wortindex zu Codex Cumanicus. København, 1942. S. 243.
15. *Golb N., Pritsak O.* Khazarian Hebrew documents of the tenth century. Itaka, N. Y., 1982. P. 128.
16. *Grønbech K.* Codex Cumanicus. Cod. Marc. Lat. DXLIX. In faksimile. København, 1936. Fol. 45v. L. 17.
17. *Ряслен М.* Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1955.
18. *Ипатьевская летопись /* Изд. Шахматов А. А. // ПСРЛ. 2-е изд. Т. 2. СПб., 1908.
19. *Kaşgari.* Diwan luğat at-Turk / Ed. Atalay B. Ankara, 1941. P. 545. L. 15.
20. *Севертман Э. В.* Этимологический словарь тюркских языков. Т. II. М., 1978. С. 211—212.
21. *Pritsak O.* Das Karatschaische und Balkarische // Philologiae Turcicae Fundamenta. V. I. Wiesbaden, 1959. S. 351.
22. *Будогов Л. З.* Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Т. I. СПб., 1869. С. 495.
23. *Радлов В. В.* Опыт словаря тюркских наречий. Т. III. СПб., 1905. Кля. 2012.
24. *Türkiye'de halk ağzından derleme sözlüğü.* III. Ankara, 1968.
25. *Yüan-ch'ao pi-shi /* Ed. Ye Teh-hui. Peking, 1908.
26. *Менгес К. Г.* Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979. С. 170.
27. *Pritsak O.* Bolgaro-Tschuwaschica // UAJb. 1959. Bd. 31.
28. *Bailey H.* Turks in Khotanes texts // JRAS. 1939. P. 91.
29. *Naršaxi.* Ta'rix-i Buxāra / Ed. Redawi. Teherān, 1939. S. 6.
30. *Pritsak O.* Tschuwaschische Pluralsuffixe // Studia Altaica. Festschrift für N. Poppe. Wiesbaden, 1957. S. 148—149.
31. *Constantinus Porphyrogenitus.* De administrando imperio / Ed. Moravcsik Gy. Br., 1949. P. 166, 168.
32. *Vasmer M.* Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde / Ed. Bräuer H. Bd. I. Berlin, 1971. S. 353—354.
33. *Gabain A. v.* Alttürkische Grammatik. 2-e Aufl. Leipzig, 1950.
34. *Барсов И.* Материалы для историко-географического словаря России. Вильно, 1865.

35. Никоновская летопись / Изд. Платонов С. Ф. // ПСРЛ. Т. 13. СПб., 1904 (переиздано: М., 1965). С. 45 (et passim).
36. Юдагин К. К. Киргизско-русский словарь. М., 1965.
37. Pritsak O. Die Herkunft der Allophone und Allomorphe im Türkischen // UAJb. 1961. Bd. 33. № 1—2. S. 142—145.
38. Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. I. СПб., 1893. Кн. 831—832.
39. Szabó T. M. A Kalmük szóképzés. Bp., 1943. P. 45. § 110.
40. Pritsak O. Mongolisch *yisün* «neun» und *yiren* «neunzig» // UAJb. 1954. Bd. 26, № 3—4. S. 243—245.
41. Lessing F. Mongolian-English dictionary. Berkeley — Los Angeles, 1960. P. 307.
42. Pritsak O. Das Karaimische // Philologiae Turcicae Fundamenta. V. I. Wiesbaden, 1959. P. 327.
43. Trubetzkoy N. S. Altkirchenslavische Grammatik. Wien, 1954. S. 78.
44. Pritsak O. Turkology and the comparative study of Altaic languages: the system of the Old Turkic runic script // Journal of Turkish studies. V. 4. Cambridge (Mass., USA), 1980. P. 84—87.
45. Донне А. Заснування Софії Київської // Український історичний журнал. 1965. № 9. С. 97—104.
46. Poppe A. Państwo i kościół na Rusi w XI wieku. Warszawa, 1968. S. 50—68.
47. Барсов Н. Очерки русской исторической географии. Варшава, 1873. С. 142.
48. Грушевський М. Історія України-Руси. 2-е вид. Т. 2. Львів, 1905.
49. Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. М., 1951. С. 221.
50. Кучера М. П. Поречавское княжество // Древнерусские княжества X—XIII вв. Изд. Бескровный Л. Г. М., 1975.
51. Повесть временных лет. Ч. I. Текст и перевод / Подгот. текста Лихачева Д. С. Перевод Лихачева Д. С. и Романова Б. А. М.—Л., 1950.
52. Плетнева С. А. Хазары. М., 1976. С. 48—70.
53. Книга Большому чертежу / Изд. Сербина К. Н. М.—Л., 1950. С. 103, 107—109.
54. Зайцев А. К. Черниговское княжество // Древнерусские княжества X—XIII вв. М., 1975. С. 80, 124.
55. Голубовский П. В. Об узлах и торках // ЖМНП. 1884, июль.
56. Расовский Д. А. О роли черных клубуков в истории Древней Руси // *Seminarium Kondakovianum*. V. I. Prague, 1927. С. 93—109.
57. Расовский Д. А. Русь, черные клубуки и половцы в XII в. // Известия на Българското историческо дружество. 1940. Т. 16—18. С. 369—378.
58. Плетнева С. А. Кочевники восточноевропейских степей в X—XII вв. // Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 213—223.

ПРИМЕЧАНИЯ И ПОСЛЕСЛОВИЕ

КОНОНОВА А. Н.

1*. Этот знак известен по памяткам книжной письменности, где он имеет значение точки [1, с. 64].

2*. «Этим термином, — пишет Высоцкий, — древнерусские источники называют выходцев из попов, выдвигавшихся на высшие церковные должности... Поинишь в рассматриваемой надписи пазван «беловежским», т. е. из города Белая Вежа. Следует заметить, что древнерусские письменные источники духовных особ обычно называют так: епископов — по местонахождению кафедры, игуменов — по названию монастыря, попов — по названию церкви... Следовательно, если в надписи на стене собора речь идет о духовной особе и если автор надписи придерживался того же принципа называть иерархов церкви, то пазвание «беловежский» в сочетании с «поинишь» должно указывать на епископа. Однако епископия под таким названием на Руси не известна» [1, с. 65].

3*. *Си* — не указательное местоимение, а тюркский аффикс принадлежности 3-го лица; см. анализ слова *чуаши*.

4*. В двух случаях это слово употреблено в сочетании с *ти* — указательной или усилительной частицей. В одном случае *ти* было пропущено и затем вписано над строкой [1, с. 67].

5*. Афф. *-sin* состоит из двух элементов: *-si* (афф. принадлежности 3-го лица) + *-n* (афф. вин. падежа), которого в тексте граффити нет.

6*. Не только для древнетюркского, но и современных тюркских языков.

7*. Не связано ли с этим именем название города *Тетиев* (Киевск. обл.)?

8*. Совершенно нет никакой необходимости в этом сложном построении: *Юушьт*.

закономерно выводится из тюрк. *küſ~küſ* «сила» [2, с. 322—323], вполне пригодного, как справедливо сказано у Прицака, для личного имени.

9*. См. также [2, с. 117; 3, с. 127—128; 4, с. 62, 64, 65, 132, 133, 135].

10*. Решительно нет никаких оснований приводить этот аффикс в форме вш. падежа *-si + n*, когда в тексте это слово стоит в им. падеже: *чуа-si*.

11*. Ср.: *Радлов В. В.* Опыт словаря тюркских наречий. Т. III. СПб., 1905. Глн. 1842—1843: *чаба* 1) «маленький мальчик, ребенок»; 2) «цыпленок, птенец»; 3) «медвежонок»; 4) «ребенок»; 5) чагатайск. «дитя; цыпленок»; 6) в половецком и оттуда в древнерусском языке это слово значило «девушка-невольница».

12*. Неверно указана страпца, должна быть с. 1033, под словом *çaġa* «bebek, ġobuk».

13*. См. также [6; 4, с. 50—52, 148—149].

14*. Чем же в данном случае объясняется наличие «вокативного» элемента (*a ∞ aj*) в составе титула *ġogin-a/-aj?* Возможно, *Чюрнаев* — название города — возникло из **Чюрин-а-евъ*-, подсознательно связанное со словом *черный*.

15*. Это, пожалуй, самое сомнительное объяснение из всей надписи. Ни в одном из тюркских словарей (за исключением Словаря Радлова, который дает форму *älbï* [5, глн. 831—832] не зафиксировано этого слова.

16*. Поминальная надпись может читаться так: «Тетюк-Кюч, попинъ Беловежский, и Иван Чор, сын Бока, рабы божие, — умерли; эта [надпись] — их помино-вешне».

17*. Чередование гласных *ä ~ ö* в тюркских языках давно установлено [7, 8], а потому нет ничего особенного в том, что автор надписи использовал для передачи этих двух гласных одну букву.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как могло случиться, что в наиболее почитаемом храме Киева — в соборе св. Софии — среди многочисленных славянских надписей появилась двуязычная — тюрко-славянская поминальная надпись? Возможно ли это? Да, вполне возможно, и вот почему!

В русских летошьях имеются многочисленные сведения о взаимодействии — расприх и союзах — русов и тюрков, которые предстают то как злейшие враги, то как добрые союзники.

«У первых киевских князей Игоря, Святослава, Владимира бе [с печенегам]... рать велики бесперестани» [9, с. 3; 3, с. 60—78; 4, с. 92—98].

В «Повести временных лет» описываются те же печенеги совершенно в ином качестве: «В лѣто 6423(= 915). Приидоша печенѣзи первое на Рускую землю. и сотворивше миръ со Игорем, и приидоша к Дунаю» [10, с. 31]. В 944 г. печенеги как наемное войско принимают участие в походе русов на Византию [10, с. 230]. В 969 г. арабский историк Ибн Хаукаль писал о печенеггах как союзниках Руси [11].

В «Повести временных лет» под 985 г. впервые упоминаются торки, входившие в состав Владимировой войска в качестве его конницы [10, с. 257].

В X в. устанавливаются тесные взаимоотношения русов с волжскими булгарами.

Торки и другое большое тюркское племя — берендеи — оказывают Руси помощь в отражении печенегов; несколько позднее (XI — нач. XII в.) печенеги вместе с торками и берендеями под руководством русов отражают нападение могущественной конфедерации тюркских племен, известных в русских летошьях под именем куманов, а чаще половцев; восточным народам они известны под этнонимом кыпчак, в византийских хрониках это — команы, в латинских — куманы или, реже, команы.

Половцы позднее вместе с русскими выступают против татар в битве на р. Калке (16.VI, 1223 г.).

В XI в. на Русь появляются поселения торков; первые достоверные сведения об этом приходится на 1080 г. [9, с. 10]; в 1097 г. упоминаются наряду с торками и первые поселения берендеев и печенегов [9, с. 11]. Все эти тюркоязычные племена (с середины XII в.) носили собирательное имя черных клобуков [9, с. 16] и позднее входили в состав Киевского государства и а п р а в а х е г о г р а ж д а н [12]. Торков и берендеев, защищавших южные границы Киевской Руси, русы называли «свои поганые», т. е. «свои язычники». В Ипатьевской летошис под 1159 г. указывается, что около Чернигова было семь городков — Моровнеск, Любеск, Оргоизь, Всеволожь (позже с. Сиволожь) и др., в которых обитало смешанное русо-половецкое население.

Андрей Боголюбский, половчанин по матери, и другие владими́ро-суздальские князья охотно принимали и, более того, привлекали во владими́ро-суздальские земли торков из южной Руси. Под воздействием образа жизни русов и их социальной организации у тюркских племен шел активный процесс феодализации; они переходили к оседлому образу жизни.

«Можно считать установленным, — пишет С. А. Плетнева, — что кочевнические народы, входившие в Червоноблудский союз, в XII в. перешли к полукочевому и даже оседлому образу жизни» [13]; см. также [14, 15]. Тюрки, обитавшие среди русских, охотно брали себе в жены их дочерей, русские же сватали половецких девиц. Владимир, сын князя Игоря, возвращается в родные места из половецкого плена с женой Кончаковиной, дочерью половецкого хана Кончака. Владимир Мономах, «добрый страдалец за Русскую землю», женил двух своих сыновей — Юрия в 1107 г. и Андрея в 1117 г. — на половчанках [16]¹. Случаев родства русских князей с половецкими было много; так, например, Андрей Юрьевич Боголюбский, один из знаменитейших русских князей XII в., был по матери тюрком. Князь Галицкий Мстислав Удалой был зятем половецкого князя Котьяна [17].

Подобного рода примеры можно без затруднений умножить: широко известно, что браки между русскими и тюрками (в XI—XIV вв. и позднее) имели широкое распространение.

Важным фактором сближения русских и тюрков, начиная (по крайней мере!) с первых десятилетий XII в., было распространение христианства среди тюрков. Русские летописи неоднократно отмечают христианизацию половецв [18].

О многосторонних общениях русов и тюрков свидетельствует глубокое и многошленное проникновение в русский язык Киевской Руси тюркских заимствований, подтверждением чему является, в частности, памятник древнерусской светской литературы «Слово о полку Игореве» (1185 г.) [3, 4]. Имеются совершенно достоверные свидетельства о знании русами тюркских языков, в частности печенежского языка [10, с. 244—245].

О тесном многовековом общении русов и тюрков свидетельствует также наличие «восточных» мотивов в русском фольклоре (Вс. Ф. Миллер, В. В. Стасов и др.).

Все названные выше обстоятельства — военные союзы, совместные поселения, браки — в те далекие времена не следует представлять розовой идиллией, как не следует и представлять эти отношения между русскими и тюрками неизменно враждебными.

С полной очевидностью можно и должно утверждать, что взаимодействие восточных славян и тюрков оставило заметный след в языках, обычаях, культуре и тех и других.

В свете сказанного нет ничего необычайного и необычного в том, что на стенах Софии Киевской нашлось место для поминовения двух почтенных лиц, которые, по видимому, происходили из черных клобуков и которые сохранили в христианстве — один — свое тюркское имя *попннь* Тетюк Кюч, другой — тюркский титул Иван *Чор.*

ЛИТЕРАТУРА

1. *Высоцкий С. А.* Средневековые надписи Софии Киевской (по материалам граффити XI—XVII вв.). Киев, 1976.
2. Древнетюркский словарь. Л., 1969.
3. *Менгес К. Г.* Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Л., 1979.
4. *Баскаков Н. А.* Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве». М., 1985.
5. *Радлов В. В.* Опыт словаря тюркских наречий. Т. I. СПб., 1893.
6. *Копонов А. Н.* Грамматика языка тюркских рунических памятников. VII—IX вв. Л., 1980. С. 17—18.
7. *Radloff W.* Phonetik der nördlichen Türksprachen. Leipzig, 1882. S. 85.
8. *Рясянен М.* Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1955. С. 57.
9. *Расовский Д. А.* Печенеги, торки и беренды на Руси и в Угрии // *Seminarium Kondakovianum*. IV. Prague, 1933.
10. Повесть временных лет. Ч. I. Текст и перевод / Подгот. текста Лихачева Д. С. Перевод Лихачева Д. С. и Романова Б. А. М.—Л., 1950.
11. *Пашуто В. Т.* Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С. 108.
12. *Греков Б. Д.* Киевская Русь. М., 1949. С. 466.
13. *Плетнева С. А.* Древности черных клобуков // Археология СССР. Свод археологических источников. Вып. Е. 1—19. М., 1973. С. 25.
14. *Плетнева С. А.* От кочевий к городам. М., 1967.
15. *Pritsak O.* The Polovcians and Rus' // *Archivum Eurasiae Medii Aevi*. II. Wiesbaden, 1982. P. 321—380.
16. *Пархоменко В. А.* Следы половецкого зноса в летописях // Проблемы источниковедения. Вып. 3. М.—Л., 1940. С. 391.
17. *Греков Б. Д., Якубовский А. Ю.* Золотая Орда и ее падение. М.—Л., 1950. С. 202.
18. *Гумилев Л. Н.* Поиски вымышленного царства. М., 1970. С. 308—309.

¹ Генезологию русских князей домонгольского периода (X—XIII вв.) с указанием на брачные связи русских князей с половецями см. в [4] (приложение).

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Очень сожалелю, что с переводом своей статьи я ознакомился уже после смерти моего уважаемого коллеги акад. А. Н. Кононова, и поэтому не имел возможности поделиться с ним своими соображениями по поводу его примечаний. Здесь я пользуюсь случаем, чтобы высказаться по поводу четырех его примечаний.

К 5*, 10*.

Здесь недоразумение. /sin/ это не суффикс, а морфемическая формула, указывающая на то, что суф. -i/-si получает в косвенных падежах добавочное -n, например, турецк. ev «дом»: ev-i «его дом»; baba «отец»: baba-si «его отец»; но ev-in-de «в его доме», baba-sin-da «у его отца».

К 12*.

Страница действительно указана у меня неверно, но там должно быть не 1033, а 994 (в английском оригинале указана с. 995). Ссылка на [24, с. 1033] имеется и у меня; в английском оригинале с. 156, примеч. 25.

К 15*.

Читая перевод статьи, я вспомнил каракалпакский глагол *älbirä-* (ср. монг. *elbe-ri-*; примеч. 19) и сразу подобрал для него следующие параллели: каракалп. *älbirä-* «сочувствовать кому-л.»; его производные: *älbirä-k* «сочувствующий; добродушный»; *älbirä-w* «сочувствие кому-л.»; *älbirä-t* «вызвать сочувствие» [59]. Это же слово засвидетельствовано в Толковом словаре казахского языка [60, с. 185]: *älbirä-alžirä-* [разомлеть, размякнуть (о сердце)], *säysin-* [любоваться, восхищаться], а также в киргизском языке *älbirä-* [36, с. 946], но там его вытеснила форма *äpildä-* [36, с. 957] «быть расторопным и любезным, услужливым»; см. там же производные: *äpildä-š-*, *äpil-dä-š*, *äpildä-t*. Кроме того, в киргизском языке сохранилась более полная форма этого глагола (*älpildä-*), но только в сочетании *älpildäp-žälpildäp* «проявляя любезность, радушие (гл. обр. о женщине)» [36, с. 950]. Следовательно, слово *älbi*, до сих пор известное только по Словарю Радлова [61], получает теперь свою семью: каракалп., казах., киргиз. *älbi-rä-*, где /rA/ отыменный глагольный суффикс (см. о нем [62, с. 141—142]). В киргизском *äpildä- < älpilda-* (= *älpil-l-dä < *älbi-l-dä-*) имеется другой отыменный глагольный суффикс /DA/ (о нем см. [62, с. 142—143]), но там основа **älbi* увеличена отыменным прилагательным суффиксом /l/ (о нем см. [33, с. 65, § 75]).

Вывод: в тюркских языках встречается слово *älbi*, которое в XI в. употреблялось в значении «(сыновняя) почтительность»; оно соответствует монгольскому *elbesün* = *elbe-sün* «то же». Источник обеих форм пока остается незасвидетельствованным.

ЛИТЕРАТУРА (дополнение)

59. Баскаков И. А. Каракалпакско-русский словарь. М., 1958. С. 189.
60. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. Т. I. Алма-Ата, 1959.
61. Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. I. СПб., 1893. Кн. 832.
62. Zajaczkowski A. Sufiksy imienne i czasownikowe w języku zachodniokaraïmski... Kraków, 1932.

ДАШКЕВИЧ Я. Р.

CODEX CUMANICUS — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ CUMANICUS?

Название «язык СС»¹ занимает особое место в тюркском языкознании. Употребление лингвонима, в котором место этнонима занимает название сочинения, стало привычным, хотя является странным. Оно призвано подчеркнуть важность памятника для истории тюркских языков. С другой стороны, нельзя не заметить, что за термином «язык СС» скрывается ряд проблем, например, затруднения языковедов связать СС с соответствующим этносом, чтобы построить этнонимическое название языка. Кажется, нет ничего сложного в переходе от условного определения «язык СС» к точному «язык куманский» — но переход этот делают немногие. В литературе утвердилось условное «язык СС», по-видимому, позволяющее обойти многие вопросы, на которые тяжело ответить. За частными вопросами кроется комплекс проблем — этнолингвистических, этнонимических, классификационных, лингвогенетических — на которых мы сосредоточимся.

Когда говорят «язык СС», определенно имеют в виду тюркский язык, хотя он не единственный восточный в кодексе (второй — иранский, для которого только в последнее время начинают употреблять сокращение ССР = персидский язык СС). В СС имеются записи на латинском и немецком. Они почти не исследованы. Это отрицательно сказывается на изучении истории памятника, его фонетическом декодировании [1]. Иранский не занял надлежащего места в истории новоиранских языков (несмотря на уникальность записей XIV в. латинским алфавитом). Так и остается: «язык СС» — всегда и определенно тюркский.

Мы имели возможность отметить искусственность названия СС, вошедшего в обиход в 1880 г. благодаря патриотическим побуждениям потомка куманов Г. Кууна [2, с. 72]. Термин оказался удобным, вошел в научную практику и... «прикрыл» вопросы, на которые, в других случаях, лингвисты пытаются отвечать. Название сыграло не только фетишизирующую роль (почти всегда подразумевалось, что это язык куманов = половцев: утверждение непонятное, если учитывать время изготовления СС1 — 1330 г. [3]), но и отбросило лингвистику к воззрениям историков более чем столетней давности.

Название СС не соответствует самоназванию языка. Он обозначен в ССII как *tatar til*, *tatarçe* «татарский язык, по-татарски», на что обращают внимание немногие [4, с. 47]. Куманским называл этот язык составитель СС1. Названия татарский и куманский (обычно рассматриваемый как соответствующий половецкому, кыпчакскому, хотя семантически эти понятия не тождественны) не идентичны — противоречие, которое можно разрешить, лишь учитывая историю куманского и татарского народов в XIII—XIV вв.

¹ В статье приняты сокращения: СС — Codex Cumanicus, СС1 — первая («итальянская») часть СС, ССII — вторая («немецкая») часть СС.

Судьба половцев в середине XIII в. сложилась печально. Разгромленные монголо-татарами на Северном Кавказе в 1222 г., в Поволжье в 1229 г., в Приазовье и Крыму в 1237 г., в значительной степени физически истреблены (чего стоит описание Г. де Рубрука: «А когда пришли татары, коматы, которые все бежали к берегу моря, вошли в эту землю [Крым] в таком огромном количестве, что они пожирали друг друга взаимно, живые мертвых» [5, с. 90]), они мигрировали на Юг (в Закавказье, где были также разбиты), на Запад (в Подунавье, потом в Венгрию), на Юго-Запад (Балканы) (ср. [6]). Трудно определить, чем вызвана ненависть монголов к половцам. Даже в тех случаях, когда половцы, как в 1222 г., переходили на сторону монголов, их уничтожали (свидетельство Рашид ад-Дина [7, с. 229]). Это было повторение борьбы за степи: в свое время половцы изгоняли печенегов, сейчас подобная участь постигла половцев. Степи обрели новых хозяев — из Азии хлынула волна кочевников-тюрок с незначительной монгольской верхушкой. Небольшие группы половцев возвращались ко второй половине XIII в. на Восток, но их племенная организация не возродилась. Их продавали в рабство на Запад и в Египет. Акты нотариата Кафы 1289—1290 гг. свидетельствуют, что коматы — это продаваемые рабы, а татары — это горожане, купцы ([8, № 27, 28, 158, 230, 446 и др.] — татары, [8, № 296, 306] — коматы). О татарах-купцах, у которых венецианцы в 1268 г. покупали зерно, сообщает хронист М. да Каналь [9]. Половцы были в основном кочевниками. В Южном Крыму половцы составляли небольшую часть городского населения, а если источники называли города кыпчакскими (например, Судак — см. Ибн-ал-Асир, 1222/1223 гг. [10, т. 1, с. 26]), имелась в виду их политическая зависимость от половцев. В середине XIII в. перемены носили динамический и радикальный характер. «Половцы погибли», — констатировал хронист А. Ванини (Гвагини) в 1578 г. [11].

В исторической науке велась дискуссия вокруг вопроса о континуитете и дисконтинуитете, т. е. сохранились ли половцы в Причерноморье после нашествия или нет. Полемика осложнялась тем, что некоторые исследователи смешивали две проблемы: историю половцев и историю этнонима половцы = коматы = кыпчаки. На сегодня ясно, что этноним пережил половцев, превратившись в топоним, наполненный новым содержанием. Еще в 70-х годах XIX в. сформировались две точки зрения. Р. Рёзлер (1871 г.): «С куманами, наконец, случилось то, что со всеми разбитыми на осколки племенами угро-финского и тюркского происхождения... В ненасытном грабительском и военном стремлении они исчерпали свои силы — их победил враг, нагрянувший на них сосредоточенной силой. От их существования не осталось следа, как не остается его от травы в степи, которая всходит весной, а за несколько недель засыхает» [12]. О. Бляу (1876 г.): «Тюркское, обычно ошибочно называемое татарским, население северного побережья Понта и Азовского морей не погибло из-за более поздней миграции новых пришельцев из Туркестана; оно происходит от тюркских племен, которые осели здесь еще с домонгольских времен — это, в первую очередь, куманы» [13]. Мнение последнего восторжествовало в языкознании, несмотря на то, что половцев он считал потомками парфян... Скептические голоса авторитетов — И. Маркварта, доказавшего, что названия племен Причерноморья послемонгольского периода, кроме одного исключения, не имеют ничего общего с половецкими племенами (на основании Ал-Варрана, ум. 1318 г., и Шамс ад-Дина, ум. 1327 г. [14, с. 157]), поддержавшего Маркварта П. Пельо [15, с. 149],

а также С. Малова, писавшего, что в 1303 г. (принятая ранее дата написания СС) «половцев, как целого, не было по северным берегам Черного моря» [16], остались без внимания, как и выводы историков о том, что в степях «создается картина такой радикальной чистки, которая сделала кыпчаков Золотой Орды отличными по составу и географическому распределению от половцев домонгольских времен» [17, с. 42]. Показания источников без оснований подвергаются сомнению: «исторические сведения о том, что куманы (половцы) во времена монгольского нашествия массами бежали в Крым, пожалуй, несколько преувеличены. По-видимому, основная масса куманов осталась на тех местах, где они жили до монгольского нашествия» [18, с. 16]. Путаницу усугубили археологи. Они «забыли», что между археологическими культурами кочевников различного этноса — из-за аналогичного образа жизни — не может быть существенных различий. Находясь в плену давно отброшенной теории, согласно которой каждому этносу соответствует отдельная культура, археологи «не заметили» прихода новых кочевников. Провозглашается, будто бы «ясно..., что покоренные половцы остались на прежних местах — в своих кочевьях, войдя в состав Золотой Орды» ([19], см. также [20]). Неохотно признается наличие аморфного, лишённого названия «пришло-го восточного этноса» [21]. В свете подобных воззрений непонятной становится цель и сущность монгольских завоеваний.

Количество половцев, оставшихся в депопуляризованном Причерноморье, вылавливаемых и продаваемых в рабство, не поддается подсчёту. Они очутились на нижней ступени общественной лестницы. К 30-м годам XIV в. их остатки ассимилировались в массе новоприбывших тюрок. Если сохранялись реликты домонгольского языка, вряд ли они наложили существенный отпечаток на язык тюркского (татарского) населения подчинённых итальянцам городов Крыма. «В послемонгольскую эпоху кипчаки, как народ, больше не упоминаются», — писал В. Бартольд [22, с. 551]. Нет фактов, позволяющих подвергнуть ревизии этот вывод.

На смену половцам пришли монголо-татары. Тюркизация монголов проходила медленно, но неуклонно, начиная со Средней Азии и Поволжья. «На этих двух огромных пространствах проживали, наряду с различными этническими осколками прежних времен, преимущественно тюркоязычные народы или народы, явно родственные тюркам (например, приволжские болгары). Их культура была близка монгольским условиям, поэтому здесь легко могло прийти к слиянию обоих народов, тем более, что вместе с монголами в Переднюю Азию и Восточную Европу влилось большое количество тюркских воинов» [23].

Одним из аргументов против кардинальной смены тюркских этносов в Причерноморье является утверждение, что этнонимы половцы, команы, кыпчаки (будто бы тождественные по содержанию) употреблялись в послемонгольском периоде. Аргумент выдвигается без учёта содержания, вкладываемого в этнонимы. Их семантика должна рассматриваться в конкретно-исторических условиях. Половцы — это кочевники причерноморских степей, захватившие их в середине XI в. и обитавшие здесь вплоть до нашествия, затем устремившиеся на Запад, Юго-Запад и Юг. Язык их был, выражаясь по-современному, тюркским. Нахлынувшая с Востока новая волна тюрок близка была половцам по языку, образу жизни, происхождению, что понимали современники. «Мы и вы — один народ и из одного племени», — говорили посланцы татар половцам в 1222 г., чтобы уговорить их к совместным действиям против алан (по Рашиду ад-Дину [7, с. 299]; но в 1237 г. Бату писал венгерскому королю, требуя

выдачи половцев, по-другому: «Рабы мои, куманы» [24]). Современники прекрасно осознавали также этнические различия и противоречия между половцами и новонахлынувшими тюрками, становившимися все более известными под общим именем татар: в 1264 г. Бела IV пытался призвать «татар» для подавления восстания половцев в Венгрии [25].

В динамически развивавшейся ситуации содержание этнонимов менялось. В представлении западных современников степи были захвачены двумя этническими стихиями: монгольской и тюркской. На тюркоязычную стихию, не располагавшую в начале нашествия общетюркскими (но сохранявшую племенные) названиями, было перенесено название куманы (кыпчаки). Для монголов употреблялись этнонимы татары и монголы. Перенесению старого этнонима куманы на новый объект способствовали не только близость языка, идентичный образ жизни, но и характерная для средневековья склонность к архаизации и анахронизации этнонимов, разному толкованию их содержания (о путанице в византийской этнонимии см. [26, с. 13—19; 27; 28], латинской [29]), а также консерватизм, выражавшийся в том, что в научных сочинениях употреблялись названия, давно не соответствующие реалиям.

Поскольку вопрос о семантике этнонимов половцы и татары в XIII—XIV вв. связан с лингвонимами, кратко остановимся на нем.

В отношении тождественности этнонимов половцы (и западноевропейских частично калькированных *Polowce, Płowce, Plawci, Palocz, Falones, Pallidi, Phulagi, Valven* и др.) = куманы (команы и восточные калыки, например, арм. *zartēš*) = кыпчаки (с восточными вариантами) существуют две точки зрения (о различиях этнонимов см. [30]). Представитель первого направления Пельо предлагал различать команов и кыпчаков [15, с. 147], понимая под первыми домонгольских половцев и их потомков, а под вторыми — новое тюркское население. Подобное различие было бы удобно и для языковедов. Тем не менее, утвердилось мнение исследователей второго направления о тождественности трех этнонимов [31]. Взгляды разошлись также относительно содержания этнонимов до и после нашествия. Часть исследователей (например, Бартольд) считает, что этноним половцы = команы = кыпчаки в послемонгольское время потерял единственно возможное этнонимическое содержание (тюркоязычные кочевники Причерноморья сер. XI — сер. XIII вв.). Другие уверены, что идентичное содержание сохранялось в послемонгольский период, так как половцы остались на местах (Бляу и его последователи). Они перенесли этноним половцы = команы = кыпчаки на следующую волну тюрков, послемонгольского периода, фигурирующих в источниках все чаще под названием татары.

Если в западных и византийских источниках второй пол. XIII в. этноним команы часто обозначает разгромленных и мигрировавших на Запад, Юго-Запад половцев, а также тюркоязычные народы, занявшие их место (двойственное употребление характерно для Дж. дель Плано Карпини применительно к событиям 1247 г., для Рубрука — 1255 г.; другие примеры [32, 33]), то в XIV в. начинается дифференциация этнонимии. Процесс слияния монголо- и тюркофонон Западной Евразии в основном закончился. На новосозданный тюркоязычный сплав распространилось название татар. Этноним половцы и аналоги постепенно исчезают²

² Хотя известно, что географ Дж. Ботеро (ум. 1617 г.) писал, что между Днепром и Доном проживают «татары, называющие себя куманами» [34], а под гравированными в 1702 г. портретами монахов Евстратия и Никона есть надпись, что в XIV в. они

Куманы, половцы — это не единственное анахроническое название для татар: в XIV—XVII вв. в западной литературе их часто называли скифами, подобно тому как в более ранней византийской половцев называли гуннами, скифами, персоскифами, скифоперсами, тавроскифами [26, с. 458].

Другими путями развивалась этнонимия у арабо- и персоязычных авторов, неохотно принимавших этноним татары [17, с. 43], считая его варваризмом, хотя и употреблявших его [37, с. 41, 45—46]. Арабские филологи и историки механически переносили старый этноним кыпчаки (этноним команы встречается редко [38]) на новое тюркское население и нововозникший сплав. Использование арабо- и персоязычных источников XIII—XIV вв. усилило хаос и путаницу. Этноним кыпчаки у восточных авторов постепенно теряет живое содержание, превращаясь в топоним с архаическим оттенком (на что обратили внимание Маркварт [14, с. 141, 162] и Бартольд [39]). Показательным является употребление много столетий спустя топонима Дешт-и Кыпчак и перенесение его на Крымское ханство [40], а названия Кыпчак — на Золотую Орду [22, с. 550; 38, с. 53]. Использование топонима Дешт-и Кыпчак у арабских авторов аналогично употреблению более раннего Дешт-и Хазар (тождественное по территории)³. Впрочем, с 80-х годов XIV в. начинает употребляться топоним Дешт без этнонима, превратившегося в анахронизм [10, т. 2, с. 151, 173, 178, 187, 193, 198 и сл.] подобно тому, как итальянские названия Хазария, Кумания для Северного Причерноморья сохранялись до XVII в. Географ А. Теве отмечает в 1575 г. город Команию на берегу Азовского моря [41]. Но все это не дает основания считать, что там еще проживали хазары или половцы.

Сложная этнонимия Причерноморья требует индивидуализированного подхода к источникам. Романтические попытки сохранить несуществующих половцев в XIV в. не соответствуют этнолингвистической ситуации, а стремление употреблять анахронические этнонимы в связи с тем, что они, мол, упоминались в источниках, иллюстрирует положение, когда исследователь идет на поводу источника. Можно привести ряд примеров явно неправильного употребления этнонимов куманы, кыпчаки, татары как в западных, так и в восточных источниках XIV—XVI вв. [42, 43, 44]. Так или иначе, нет данных о том, что половцы сохранялись в Южном Крыму тогда, когда создавался СС.

По мнению некоторых исследователей, зафиксированные у многих тюркских народов топонимы Кыпчак, Коман свидетельствуют о сохранении половцев и половецкого языка в послемонгольском Причерноморье. Микроэтнонимы, происходящие от имени Кыпчак, встречаются на территории от Добруджи до Алтая. Род Кыпчак является одним из четырех главных кланов Крымского ханства [45], с ним связаны многочисленные ойконимы [46]. Род Коман имеется среди крымских караймов [47]. Топонимы с элементом Кыпчак существовали в Буджаке [48]. Род Кыпчак известен у ногайцев [49] и алтайцев [50]; поколение Кыпчак — в Среднем казахском жузе [51]; племя кыпчаков — у башкир [52] и так называемых кочевых узбеков (фактически казахов) [53]; племя и род кыпчак — у киргизов [54]. Племя кыпчаков в узбеков обладает развитым кыпчакским этническим сознанием [55]. Перечисление можно продолжить.

страдали в плену у крымских половцев [35]. Да и в русском «Голковании языка половецкого» (XVI в.) объяснялось, что «половчане, рекше татарове» [36].

³ Попытка В. Ромаскевича и С. Волина увидеть в Дешт-и Хазар название только с еверокавказских степей [10, т. 2, с. 294] не выдерживает критики.

В отношении родов и племен выдвигались гипотезы о половецком происхождении [56] и даже, что более проблематично, о половецком генезисе их языков.↓

На данной стадии исследований, когда механизм и время возникновения родоплеменных названий неясны, а этнолингвистический аспект слабо разработан, делать выводы трудно. Невозможно считать появление всех гено- и этнонимов следствием хаотической миграции половцев. Отаптропонимическое происхождение названий большинства родов (от «первооснователя») свидетельствует о случайном возникновении генонимов и не может убедительно доказать половецкое происхождение основателя (один из Чингизидов-монголов, например, носил имя Кыпчак — ср. Рашид ад-Дин о событиях 1266—1268 гг. в бассейне Сыр-Дарьи [10, т. 2, с. 76—77]) рода, племени, их языка. При интерпретации этнонимов нельзя оставлять в стороне и тот факт, что в арабо- и персоязычной литературе понятие кыпчак иногда отождествлялось с понятием тюрок и, в таком случае, определено лишено узко половецкого содержания. Частую повторяемость названия кыпчак невозможно рассматривать изолированно от итеративности десятков других родоплеменных названий, в отношении которых не делаются далеко идущие этногенетические и лингвистические выводы, хотя механизм возникновения названий сходен. Наличие рода Кыпчак в Крыму не указывает на то, что его представители пользовались половецким языком, отличавшимся от языка окружающего татарского населения. Какие бы специфические (архаические?) черты ни были выявлены в племенных диалектах кыпчаков, входящих в состав различных народов, вряд ли можно утверждать, что это — реликты половецкого, практически неизвестного языка.

Источники XIII—XIV вв. сохранили сведения не только о распространенной тогда этнонимии, но также о этнолингвистической ситуации региона. Правильная интерпретация сведений в свете изложенного (что половцы в основном были истреблены и мигрировали; что господствующие позиции заняли монголо-татары; что этноним половцы = команы = кыпчаки, лишенный первоначального содержания и перенесенный на тюркоязычных кочевников, подвергнулся анахронизации и превратился в топоним; что тюркизирующийся слав монголов и тюрок становится известным как татары) поможет разобраться в языковой ситуации.

Рассматривая упоминания источников XIII—XIV вв. о команском и татарском, нужно иметь в виду мнение Б. Шпулера: «В связи с параллельным [употреблением] монгольского и тюркского языков трудно понять сведения некоторых авторов, сообщающих об употреблении „татарского“ языка. До тех пор, пока не слились языки обоих народов, из которых вышли позже „татары“, так в целом называемые русскими (и говорящие сегодня тюркскими диалектами), можно под этим [„татарским“] понимать также монгольский. В XIII в. так, кажется, иногда бывало. Сообщения XIV в. об употреблении „татарского“ относятся, по-видимому, исключительно к тюркскому» [57, с. 289—290]. К примеру, рассмотрим употребление термина «команский» язык у Карпини и Рубрика. Описывая поход 1221 г. на Хорезм, Карпини пишет, что это «земля бисерминов, ибо они были сарацины, но говорили по-комански» [58, с. 46]. Сообщение расшифровывается нами следующим образом: земля хорезмийцев, ибо они были мусульманами, но говорили по-кыпчакски (в понимании слова как названия языковой группы). Ошибочно отождествляя название языка команский = половецкий, Н. Шастина неправильно идентифицировала события, посчитав, что имеется в виду поход на по-

ловцев [58, с. 209]. У Карпини имеется аналогичное место о «бисерминах», которые «говорили и доселе еще говорят команским языком, а закона держатся сарацинского» ([58, с. 72]; правильно объяснение Шастинной [58, с. 218]), — в них легко узнаются тюркоязычные хорезмийцы. Рубрук (1255 г.) высказал любопытную мысль, что у «югуров заключается источник и корень турецкого и команского наречия» [5, с. 131], т. е. у уйгуров заключается источник и корень огузского и кыпчакского наречий (А. Григорьев [59] неправильно комментирует, что имеются в виду тюркский и половецкий языки). В некоторых западноевропейских источниках XIII в. правильно указывалась разница между западными и южными тюркскими языками. Команский в них — язык тюрков евразийских степей, т. е. кыпчакский, по современному групповому названию. В XIV в. наряду с анахроническим «команским» языком, обозначающим по-прежнему тюркские языки степей (Пасхалис пишет в 1338 г. об изучении «команского языка и уйгурского письма» [60]; Ф. Вальдуччи-Пеголотти в середине XIV в. — о переводчиках, знающих «куманский» [61], что нельзя комментировать как знание половецкого [62]), начинает употребляться автохтонный термин «татарский» — уже не монгольский, а тюркский, кыпчакский (по групповому названию). Лучший пример дуализма — сам СС, язык которого по латыни определяется как «команский» [63, с. 1 v°, 70 v°], а по-тюркски как *tatarče*, *tatar til* [63, с. 122 v°, 162 r°]. Подобным образом архаизировался лингвоним в русской литературе XVI в. В упоминаемом «Толковании языка половецкого», по Ф. Коршу, слова «не половецкие, а татарские, именно, судя по сумме признаков, крымские» [64].

Сложная, не сводимая к единому знаменателю этно- и лингвонимия источников, вызывающая представление, что полвцы сохранились в постемонгольском Причерноморье, привела к поискам определений для языка СС. Фетишизирующее влияние искусственного названия *Codex Sumanicus* сказалось на дефиниции. Большинство исследователей пренебрегает самоназванием СС, применяя термины «команский» или, что усугубляет положение, «половецкий» (последовательно это делали А. Самойлович [65], А. Крымский [66]). Носителями языка считались половцы. Имеются попытки эклектической трактовки вопроса. К.-Г. Менгес, перечисляя языки северо-западной группы в среднетюркский период, открывает группу названиями: «команский, язык СС и команов (или половец) и кыпчаков» [67], не уточняя, имеет ли он в виду один или несколько языков. Появились гибридные образования, например, у К. М. Мусая «половецко-куманский язык», СС у него одновременно и памятник «старокыпчакского» [18, с. 10, 15]. Перечень комбинаций можно продолжать. В большинстве случаев этнолингвистическая дефиниция терминов не дается. Второе направление — употребление термина «язык СС» вне связи с определенным этносом. Аморфность термина — свидетельство того, что применяющие его не считают обоснованным употребление названий половецкий = команский = кыпчакский для языка СС, но не предлагают свою атрибуцию. Забылись скептические высказывания исследователей прошлого — Ф. Бруна, писавшего о СС: «Еще не доказано, что эти слова принадлежат к „тюркскому“ наречию команов или половец» [68]; А. Куника, что «так называемое *Vocabularium somanicum*, собственно, следовало бы называть „*dogaicum*“ или „*tataricum*“, так как во время его составления в Северном Черноморье уже не было более команов или половец» [69]; или суждения современных ученых — Б. Шпулера, что западнотюркский язык «также позже в разное время называли „ку-

манским", хотя большинство настоящих куманов вытеснили в Венгрию» [57, с. 289]; Г.-В. Хауссига, что язык СС «это уже не язык того восточного тюркского племени, основной центр которого находился на Дону и Донце и племенная организация которого давно растворилась» [70, с. 8]. Только в последние годы укрепляется мнение, что при классификации языка СС надо исходить из автохтонного названия (А. фон Габен: «Мы могли бы просто присоединиться к самоназванию СС и определить его язык как „татарский“, т. е. „старотатарский“» [4, с. 48]). Гордиев уzel разрублен недавно А. Кононовым, определившим, что СС является старейшим памятником крымскотатарского [71]. Правильность вывода в свете новой датировки ССИ (1330 г.) не подлежит сомнению. Невозможно пользоваться лишенным этнического содержания названием «язык СС», игнорируя самоназвание языка и этнос носителей. Этнолингвистическая ситуация Южного Крыма 20—30-х годов XIV в. достаточно ясна для того, чтобы установить название и место языка.

Еще одно обстоятельство мешало определению языка СС как этнического — восприятие его как надэтнической *lingua franca* (далее — LF), имевшей распространение от Карпат до Желтого моря. Закреплению такой функции за языком СС (особенно ССИ) способствовало его итальянское оформление, а также наличие многочисленных заимствований, преимущественно связанных с коммерцией. Убеждение, что в СС записан язык не конкретного этноса, а евразийский волажук, встречается вплоть до последнего времени [70, с. 8]. Мы высказывались по поводу того, что мнение о «коммерческом» назначении ССИ [2, с. 77—78] основано на недоразумении. ССИ охватывает более обширное поле деятельности, чем торговля; латинские дезидераты (для которых требовалось подобрать иранские и тюркские эквиваленты) не относятся исключительно к коммерции, а требуют от купца или его переводчика, чтобы он выучил 2500—3000 слов, — чересчур большая роскошь. Мы согласны с Л. Лигети, что ССИ — это книга переводчика [72], но, по нашему мнению, переводчика, не ограничивающего свою активность дипломатическими полномочиями, а занимающегося ежедневной деятельностью в итальянских поселениях Крыма.

Особенности лексического состава СС позволяют утверждать, что тюркский язык СС не является LF. Наличие иранизмов, арабизмов, романизмов — и отсутствие заимствований, связанных со Средней Азией, указывают на регион, в котором мог употребляться язык подобного типа. Вряд ли эллинизмы, славянизмы, романизмы были понятны в Центральной Азии. Незначительный процент монголизмов говорит в пользу периферийности (по отношению к Монголии) языка. Сравнение с западно-караимским (также возникшим в Крыму, самым близким к языку СС) показывает сходный состав заимствований [73—75]. Вторая особенность — это наличие диалектной структуры (прослеживаются следы двух, если не трех диалектов [76; 4, с. 46—47; 77, 78]), что несовместимо с наддиалектной LF. По-видимому, язык СС — самая ранняя стадия в развитии крымскотатарского, отражающая диалекты, распространенные в городах и хинтерланде Южного Крыма.

Какое место занимает СС среди литературных языков и какова его дальнейшая судьба? Длительное время было принято рассматривать СС как памятник разговорного, но не литературного языка. В письменности европейских тюрок почетное место заняла руника (впрочем, скудная), не только эпиграфическая, но и дипломатическая ([79]; см. обзор [80]); с нею связывают возникновение литературы. Следующим этапом считает-

ся уйгурографическая письменность, на смену которой пришла арабографическая. Как на курьез смотрят на тюркскую кириллическую эпиграфику (полоцкая надпись XIV—XV вв. [81], киевское граффито XI в. [82]) и лексикографию [83, с. 641—654]. Убеждение, что духовная культура европейских тюрков рано и окончательно была связана с исламом (в действительности, значительная часть кочевников еще в середине XV в. являлась язычниками [84]), отвергало саму мысль о существовании тюркской христианской литературы. Вопрос о ССИ как о памятнике литературы был недавно поставлен фон Габен [85]. Сравнение с другими памятниками конца XIII—XIV вв. приводит к интересным выводам. В отличие от литературы на книжном языке (смешанном, как и язык ярлыков конца XIV в.), анализ и определение которого создают столько препятствий, фольклорные записи, молитвы и гимны ССИ — это памятники гомотенного разговорного языка, возведенного в ранг литературного. Если литературный тюрк возник как средство надэтнического общения на базе нескольких родственных, но не идентичных языков, то ССИ — это единственное письменное проявление моноэтнического языка. Миссионерская деятельность среди тюрков Крыма, Поволжья, Северного Кавказа продолжалась 150—250 лет. Проводилась она с привлечением местных языков, на которые переводилась религиозная литература. Подобных текстов было много, а ССИ — фрагмент не дошедшего до нас в силу исторических причин большого целого. И. Шильтбергер упоминает, что около 1410 г. на Северном Кавказе он натолкнулся на католическое епископство, священники которого пели гимны и читали (Евангелие?) по-татарски. Он записал начало молитвы *Отче наш* [86].

Если, за Э. Наджином [37, с. 3—4, 16], различать в XIV в. четыре литературных языка Золотой Орды и Египта (1) старотуркменский — по предложению Г. Дёрфера староосманский [87], 2) смешанный огузско-кыпчакский *j*-группы, 3) огузско-кыпчакский *z*-группы, также хорезмийско-тюркский [87], 4) кыпчакский), то рассмотрение сочинений на этих языках указывает на существование пропасти между языком СС и литературными языками. Подтверждается вывод фон Габен, что «тексты времен СС менее похожи на него (язык СС. — *Д. Я.*), чем некоторые диалекты современного татарского разговорного языка!» [4, с. 48]. Язык СС, возможно, только частично соотносится с диалектной основой, на которой в XV в. начал формироваться, по А. Боровкову ([88], также [89]), крымскотатарский письменный язык, но положение это обосновать нельзя, так как история крымскотатарского литературного языка XV в. — нетронутая целина.

Тюркология не дала ответа на вопрос о судьбе языка СС. В. Радлов склонялся к мысли, что язык исчез, его носители ассимилированы новыми пришельцами из степи и турками [90], захвачившими Южный Крым в 1475 г. По его мнению, язык СС («команский») сохранился и самостоятельно развился у караимов, переселившихся в XV в. в Литву и на Волынь [91]. Исследования последних двух лет вносят коррективу — первая галицкая миграция караимов из Крыма состоялась в середине XIII в. [92], за 80 лет до создания ССИ. Эти мигранты являлись носителями несколько иного языка (что подтверждается различиями между галицким и трагайским диалектами западнокараимского). Вопрос о связях с карачаево-балкарским, кумыкским языками, мишарским диалектом татарского и др. нуждается в уточнении. Одно можно сказать с уверенностью, что язык СС — не половецкий.

А все же что можно сказать о половецком = команском = кыпчак_

ском языке, языке кочевников Причерноморья, господствовавшем здесь с середины XI по 40-е годы XIII вв.? Очень немного. Не подлежит сомнению половецкая этно- и антропонимия, сохранившаяся (не без деформаций) в древнерусских, византийских, латинских и др. источниках. Тюркизмы древнерусского языка домонгольского периода нельзя объявлять команизмами на основании лексем СС, памятника XIV в. (подобную ошибку допустил А. Зайончковский [93], повлиявший на дальнейшую разработку вопроса). «Толкование языка половецкого» (в других редакциях «Се татарский язык»), вопреки заглавию, является памятником эпохи Золотой Орды [83, с. 645]. Несмотря на давно установленные принципы изучения тюркизмов [94], среди славистов до сих пор встречаются курьезные утверждения о возможных связях праславянского языка с команским... [95]. Венгерские куны сохраняли долго осколки своего языка (не только деформированную молитву Отче наш [96, 97]). По заключению И. Мандоки-Конгура, язык кунов далеко не идентичен языку СС [98]. Перспективнее является изучение команизмов румынского и венгерского, зависящее от удовлетворительной стратиграфии [99, 100]. Венгерские языковеды склонны относить значительную часть тюркизмов к допаннонскому периоду, вследствие чего выходит, что столетия совместного проживания венгров и кунов не оставили почти никаких следов в их языке [101].

Поиски команизмов в других языках наталкиваются на большие трудности не только из-за непропорционального отождествления языка СС с половецким, но также из-за идентификации половецкого с идеальной моделью кыпчакского (старокыпчакского), выработанного в кабинетных условиях по фонетическим законам тюркских языков. Путаница, вызванная полисемантизмом термина «кыпчакский язык» [1) половецкий, 2) литературный язык Золотой Орды и Египта XIV в., 3) язык из группы кыпчакских языков, 4) идеальный язык со всеми лингвистическими кыпчакскими признаками, 5) диалект в составе других тюркских языков], очень мешает выработке точных определений в соответствии с требованиями научного языка.

Строго говоря, мы не можем определить, насколько половецкий являлся действительно кыпчакским (с точки зрения групповых признаков). Печенежский, торкский — языки этносов, очутившихся на Южной Украине ранее половцев, — считаются огузскими, а язык сразу же после них мигрировавших половцев — идеально кыпчакским (по групповому названию). Но ведь известно, что даже во времена Махмуда Кашгарского (расцвет половцев) о чисто кыпчакском языке не могло быть и речи [102].

Итак, на вопрос о том, действительно ли язык Codex Cumanicus'a — это язык куманский=половецкий=кыпчакский, мы должны ответить отрицательно. С точки зрения современных знаний о возникновении СС, о близости тюркских языков северо-западной группы между собой на различных уровнях правомерно мог бы стоять вопрос о наличии половецких=команских=кыпчакских элементов в языке СС, но для решения подобной проблемы пока нет реальной лингвистической основы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дашкевич Я. Р. Codex Cumanicus — вопросы декодирования // ВЯ. 1986. № 5. С. 84.
2. Дашкевич Я. Р. Codex Cumanicus — вопросы возникновения // ВЯ. 1985. № 4.
3. Drimba V. Sur la datation de la première partie du Codex Cumanicus // Oriens. 1985. V. 27—28.

4. *Gabain A. von.* Die Sprache des Codex Cumanicus // *Philologiae Turcicae fundamenta.* T. 1. Aquis Mattiacis, 1959.
5. *Рубрук Г. де.* Путешествие в восточные страны // *Плано Карпини Дж. дел.* История монгалов. *Рубрук Г. де.* Путешествие в восточные страны. М., 1957.
6. *Dachkévutch Ya. R.* Who are Armeno-Kipchaks? // *Revue des études arméniennes.* N. 8. 1982. T. 16.
7. *Рашид ад-Дин.* Сборник летописей. Т. 1. Кн. 2. М.—Л., 1952.
8. *Balard M.* Gênes et l'Outre-Mer. 1. Paris — La Haye, 1973.
9. *Martin da Canal.* La Chronique des Veniciens // *Archivio storico italiano.* 1845. T. 8. P. 654.
10. *Тизенгаузен В. Г.* Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1. СПб., 1884; Т. 2. М.—Л., 1941.
11. *Gwagnin A.* Kronika Sarmacyeu europskij. Ks. 3. Kraków, 1611. S. 30.
12. *Roesler R.* Über das Kumanische // *Roesler R.* Romänische Studien. Leipzig, 1874. S. 331.
13. *Blau O.* Über Volkstum und Sprache der Kumanen // *ZDMG.* 1876. Bd. 29. S. 567.
14. *Marquart J.* Über das Volkstum der Komanen // *Abhandlungen der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philos.-hist. Klasse. N. F.* 1914. Bd. 13. Nr. 1.
15. *Pelliot P.* À propos des Comans // *JA.* 11-e sér. 1920. T. 15. № 2.
16. *Малов С. Е.* [Выступление] // Изв. Об-ва археологии, истории и этнографии. Т. 30. Вып. 2. Протоколы. Казань, 1919. С. 8.
17. *Поляк А. Н.* Новые арабские материалы позднего средневековья о Восточной и Центральной Европе // *Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы* [Т. 1.]. М., 1964.
18. *Мусаев К. М.* Лексика тюркских памятников в сравнительном освещении (западно-кипчакская группа). М., 1975.
19. *Плетнева С. А.* Половецкая земля // *Древнерусские княжества X—XIII вв.* М., 1975. С. 299.
20. *Добролюбовский А. О.* Этнический состав кочевого населения северо-западного Причерноморья в золотоордынское время // *Памятники римского и средневекового времени в северо-западном Причерноморье.* Киев, 1982. С. 30—32.
21. *Федоров-Давыдов Г. А.* Монгольские завоевания и Золотая Орда // *Археология СССР. Стени Евразии в эпоху средневековья.* М., 1981. С. 231.
22. *Бартольд В. В.* Кипчаки // *Бартольд В. В.* Соч. Т. 5. М., 1968.
23. *Spuler B.* Geschichte der islamischen Länder. 2. Absch. Die Mongolenzeit. Leiden—Köln, 1953. S. 28.
24. *Dörrie H.* Drei Texte zur Geschichte der Ungarn und Mongolei. Göttingen, 1956. S. 158.
25. *Richard J.* La rapauté et les missions d'Orient au Moyen Âge (XIII^e — XV^e siècles). Rome, 1977. P. 68.
26. *Moravcsik Gy.* Byzantinoturcica. Bd. 2. 2-e Aufl. Berlin, 1958.
27. *Литавин Г. Г.* Некоторые особенности этнонимов в византийских источниках // *Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев.* М., 1976.
28. *Бибиков М. В.* К изучению византийской этнонимии // *Византийские очерки.* М., 1982.
29. *Aalto P., Pekkanen T.* Latin sources on North Eastern Eurasia. P. 1. Wiesbaden, 1975. P. V—VI.
30. *Pritsak O.* The Polovcians and Rus' // *Archivum Eurasiae medii aevi.* 1982. V. 2. P. 321—335.
31. *Березин И.* Первое нашествие монголов на Россию // *ЖМНП.* 1853. Ч. 79. № 9. С. 235—240.
32. *Brincken A.-D. v. den.* Die «Nationes Christianorum Orientalium». Köln — Wien, 1973. S. 133—134.
33. *Vezzola G. A.* Die Mongolen in abendländischer Sicht (1220—1270). Bern — München, 1974.
34. *Botero G.* Relationi universali. Venetia, 1640. P. 97.
35. *Краткий указатель Музея имп. Одесского об-ва истории и древностей.* 8-е изд. Одесса, 1880. С. 13.
36. *Костун Л. С.* Русская лексикография эпохи средневековья. М.—Л., 1963. С. 325.
37. *Наджиб Э. Н.* Тюркоязычный памятник XIV в. «Гулистан» Сейфа Сарай и его язык. Ч. 1. Алма-Ата, 1972.
38. *Jahn K.* Die Frankengeschichte des Rašid ad-Din. Wien, 1977. S. 53.
39. *Бартольд В. В.* Новый груд о половцах // *Бартольд В. В.* Соч. Т. 5. М., 1968. С. 401.

40. *Смирнов В. Д.* Крымское ханство под верховенством Отоманской порты до начала XVIII в. СПб., 1887. С. 53.
41. *Thevet A.* Cosmographie universelle. Т. 3. P., 1575, carte.
42. *Symonis Semeonis Itinararium ab Hibernia ad Terram Sanctam // Scriptores Latini Hiberniae.* V. 4. Dublin, 1960. P. 104—106.
43. *Biró M. B.* The «Kipchaks» in the Georgian Martyrdom of David and Constantin // *Annales. Sectio linguistica.* V. 4. Вр., 1973.
44. *Zofovasu.* Рукопись 1581—1598 гг. Матенадаран (Ереван). № 2267.
45. *Forbes Manz B.* The Clans of the Crimean Khanate 1466—1532 // *Harvard Ukrainian studies.* 1978. V. II. № 3. P. 282—307.
46. *Маркевич А. И.* Географическая номенклатура Крыма как исторический материал // *Изв. Таврического об-ва истории, археологии и этнографии.* 1928. Т. 2. С. 27.
47. *Seraja-Szapszal H.* Uzupełnienia i wyjaśnienia // *Myśl Karaimska.* 1931. Т. 2. Zesz. 3—4. S. 7.
48. *Дрон И. В.* Некоторые вопросы гагаузской топонимии Молдавской ССР // *СТ.* 1983. № 5. С. 39.
49. *Баскаков И. А.* Ногайский язык и его диалекты. М.—Л., 1940. С. 133—139.
50. *Потанов Л. И.* Этнический состав и происхождение алтайцев. Л., 1969. С. 23—24.
51. *Левшин А.* Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей. Ч. 3. СПб., 1832. С. 8—9.
52. *Муржанова С. Ф.* О языке башкир племени «кыпчак» // *СТ.* 1979. № 4.
53. *Султанов Т. И.* Кочевые племена Приаралья в XV—XVII вв. М., 1982. С. 12—13, 15, 24, 36.
54. *Винников Я. Р.* Родоплеменной состав и расселение киргизов на территории Южной Киргизии // *Тр. Киргизской археолого-этнографической экспедиции.* Т. 1. М., 1956. С. 138.
55. *Шаниязов К. Ш.* К этнической истории узбекского народа (Историко-этнографическое исследование на материалах кыпчакского компонента). Ташкент, 1974. С. 402.
56. *Вилькинс А. М.* [Письмо] // *Изв. имп. Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии.* 1878. Т. 31. С. 13.
57. *Spruler B.* Die Goldene Horde. 2-e Aufl. Wiesbaden, 1965.
58. *Плано Карпини Дж.дель.* История монгалов // *Плано Карпини Дж.дель.* История монгалов. *Рубрук Г. де.* Путешествие в восточные страны. М., 1957.
59. *Григорьев А. П.* Официальный язык Золотой Орды XIII—XIV вв. // *Тюркологический сборник.* 1977. М., 1981. С. 81.
60. *Paschalis de Victoria.* Epistola // *Sinnica Franciscana.* V. 1. Quaracchi, 1929. P. 504.
61. *Balducci Pegolotti F.* La pratica della mercatura. Cambridge (Mass.), 1936. P. 21—22.
62. *Федоров-Давидов Г. А.* Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М., 1966. С. 206.
63. *Grønbech K.* Codex Cumanicus. København, 1936.
64. *Симонов П. К.* Памятник старинной русской лексикографии по рукописям XV—XVII ст. // *ИОРЯС.* 1908. Т. 13. Кн. 1. С. 189.
65. *Самойлович А. Н.* К истории и критике Codex Cumanicus // *Докл. Российской Академии наук.* Сер. В. 1924. Апрель—июнь.
66. *Кримський А. Ю.* Тюрки, їх мови та літератури // *Кримський А. Ю.* Твори. Т. 4. Київ, 1974. С. 517.
67. *Menges K. H.* Classification of the Turkic Languages // *Philologiae Turcicae fundamenta.* Т. 1. Aquis Mattiacis, 1959. P. 6.
68. *Брун Ф.* Черноморские готы и следы долгого их пребывания в Южной России // *Зап. имп. Академии наук.* 1874. Т. 24. С. 39.
69. *Куник А.* Начались ли русские торговые сношения и походы по Черному и Каспийскому морям во времена Мухаммеда или при Рюрике? // *Дорн Б.* Каспий. СПб., 1875. С. 387.
70. *Haussig H.-W.* Geleitwort // *Drüll D.* Der Codex Cumanicus. Stuttgart, 1980.
71. *Коновалов А. Н.* История изучения тюркских языков в России. Дюктябрьский период. 2-е изд. Л., 1982. С. 250.
72. *Ligeti L.* Prolegomena to the Codex Cumanicus // *Acta Orientalia Hung.* 1981. Т. 35. Fasc. 1. P. 124, 136, 212.
73. *Poppe N.* Die mongolischen Lehnwörter im Komanischen // *J. Németh Armaganı.* Ankara, 1962.
74. *Zajaczkowski W.* Die arabischen und neupersischen Lehnwörter im Karaimischen // *Folia Orientalia.* 1961. Т. 3. Fasc. 1—2.

75. *Zajaczkowski W.* Die mongolischen Elemente in der Karaimischen Sprache // *Folia Orientalia*. 1959. T. 1. Fasc. 2.
76. *Kowalski T.* Karaimische Texte im Dialekt von Troki. Kraków, 1929.
77. *Севортян Э. В.* От редактора // *Грунин Т. И.* Документы на половецком языке XVI в. М., 1967. С. 46.
78. *Корш Ф. Е.* По поводу второй статьи проф. М. П. Меллиоранского // *ИОРЯС*. 1906. Т. 11. Кн. 1. С. 263—264.
79. *Golb N., Pritsak O.* Khazarian Hebrew documents of the tenth century. Ithaca—London, 1982. P. 41—43.
80. *Tryjarski E.* Die runenartigen Schriften Südosteuropas // *Runen, Tamgas und Graffiti aus Asien und Osteuropa*. Wiesbaden, 1985.
81. *Рыбаков Б. А.* Татарская кириллическая надпись из Полоцка // *СА*. 1963. № 4.
82. *Pritsak O.* An eleventh-century Turkic bilingual (Turco-Slavic) graffito from the St. Sophia Cathedral in Kiev // *Harvard Ukrainian studies*. June, 1982. V.VI. № 2.
83. *Pritsak O.* Се татарскы языкъ // *Orbis scriptus*. Festschrift für D. Tschizewskij zum 70. Geburtstag. München, 1966. S. 644—654.
84. *Дашкевич Я. Р., Триярски Э.* Каменные бабы причерноморских степей. Коллекция из Аскании-Нова. Вроцлав — Варшава — Краков — Гданьск — Лодзь, 1982. С. 112—113.
85. *Gabain A. von.* Komanische Literatur // *Philologiae Turcicae fundamenta*. T. 2. Aquis Mattiacis, 1964.
86. *Schilberger H.* Reisebuch. Tübingen, 1885. S. 38.
87. *Doerfer G.* Orientalistische Literaturzeitung. 1980. Nr. 4. S. 376. Rec.: *Набжин Э. П.* Тюркоязычный памятник XIV в. «Гулдастан» Сейфа Сарай и его язык. Ч. 1—2. Алма-Ата, 1972—1975.
88. *Бороков А. К.* Лексика среднеазиатского тefsира XII—XIII вв. М., 1963. С. 21.
89. *Усманов М. А.* Жалованные акты Джучиева улуса XIV—XVI вв. Казань, 1979. С. 102.
90. *Radloff W.* Vorläufiger Bericht über eine wissenschaftliche Reise in die Krym im Jahre 1886 // *Bulletin de l'Académie imp. des Sciences de St.-Petersbourg*. 1887. T. 31. № 4. S. 547—548.
91. *Radloff W.* Das türkische Sprachmaterial des Codex Cumanicus // *Mémoires de l'Académie imp. des Sciences de St.-Petersbourg*. 7^e sér. 1887. T. 35. № 6. S. 6.
92. *Dachkévtych Ya. R.* L'époque de Danylo Romanovyč (milieu du XIII^e) siècle d'après une source karaïte // *Harvard Ukrainian studies*. 1978. V. II. № 3.
93. *Zajaczkowski A.* Związki językowe połowiecko-słowiańskie. Wrocław, 1949.
94. *Kowalski T.* W sprawie metodologii badań zapożyczeń tureckich w językach tureckich // *Sborník prací I. Sjezdu slovanských filologů v Praze*. 1929.; Sv. 2. Praha, 1932. S. 554—556.
95. *Русанівський В. М.* Семантичні процеси розвитку української лексики // *Історія української мови. Лексика, фразеологія*. Київ, 1983. С. 703.
96. *Pray G.* Dissertationes historico-criticae in annales veteres Hunnorum, Avarorum et Hungarorum. Vindobonae, 1774. P. 113—114.
97. *Kuun G.* Prolegomena // *Kuun G. Codex Cumanicus*. Budapestini, 1880. P. XLIII — XLV.
98. *Mándoky Kongur I.* A kun nyelv magyarországi emlékei. Вр., 1982 (машиннопись диссертации).
99. *Wendt H. F.* Die türkischen Elemente im Rumänischen. Berlin, 1960.
100. *Tietze A.* // *Oriens*, 1962. V. 15, S. 463—465. Rec.: *Wendt H. F.* Die türkischen Elemente in Rumänischen. Berlin, 1960.
101. *Halasi-Kun T.* Kipchak philology and the Turkic loanwords in Hungarian. 1 // *Archivum Eurasiae medii aevi*. 1975. T. 1.
102. *Mahmūd al-Kaṣṣārī.* Compendium of the Turkic dialects (Diwān Luṣṣāt at-Turk). Ed. by Dankoff R., Kelly J. P. 1. Cambridge (Mass.), 1982. P. 83—86.

ЮРЧЕНКО А. И.

**ИЗБОРНИК 1073 ГОДА: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОСНОВНЫХ
ДРЕВНЕРУССКИХ ФИЛОСОФСКИХ ТЕРМИНОВ**

В аспекте интерпретации древнерусских философских терминов Изборник великого князя Святослава Ярославича 1073 года, второй по древности — после Остромирова Евангелия — датированный памятник отечественной письменности, предоставляет исследователю две благоприятные возможности. Прежде всего, как имеющий переводной характер, в совокупности с текстуально параллельными греческими кодексами, в частности, *Coislinianus* № 120 и *Vaticanus graecus* № 423, он составляет своеобразную б и л и г в у. Указанное обстоятельство может способствовать более точной идентификации и интерпретации древнерусских философских терминов посредством соотнесения их с соответствующими (древне)греческими. Необходимость и важность этого объясняется, с одной стороны, неоднозначностью, а с другой — широкой синонимичностью терминологической палитры Изборника 1073 года. Последнее является вполне естественным для памятника, который в своем генезисе восходит к истокам становления древнеславянской и древнерусской философской терминологии. Что же касается терминологии (древне)греческой, то к тому времени она имела достаточно устойчивый характер.

Не менее, а в данном случае, быть может, и более важным является и то обстоятельство, что Изборник 1073 года в своем составе содержит специальные философские терминологические главы [рукопись, ГИМ, Син. 1043 (Син. 31—д), л. 222г—237в]. По всей вероятности, это представляет собой один из первых, а, быть может, и первый опыт подобного рода в истории древнеславянской и древнерусской письменности. В указанных главах, имеющих пропедевтическое значение и служащих своеобразным терминологическим ключом к основному содержанию памятника, дано концептуальное объяснение целого ряда фундаментальных (древне)философских — онтологических и логических — терминов в их взаимоотношении. Таких, например, как: «сущее», «сущность» (в двух значениях), «природа» («естество»), «ипостась» («неделимое», «индивид», «особь»), «лицо», «восуществное», «воипостасное», «категория», «род», «вид», «видовое отличие», «собственный признак», «случайный признак»; категории, наряду с категорией «сущность»: «количество», «качество», «отношение», «место», «время», «действие», «страдание», «положение», «обладание» («имение») и т. п. Здесь же излагаются и некоторые правила предикации.

Несколько слов по вопросу атрибуции. Три из двадцати философских глав Изборника 1073 года (первая и две заключительные) надписаны именем преп. Максима Исповедника (†662) (л. 222г10; 236а24; 237б6; в последнем случае, исходя из надписания предыдущей главы, просто указано: *того же*). Остальные главы, в титуле первой из которых названо имя Феодора, пресвитера Раифского (л. 223б29—в2), отдельные исследователи склонны рассматривать в совокупности в качестве некоего ори-

гинального философского трактата, целиком принадлежащего перу упомянутого древнего автора [1, с. 19—20], по всей вероятности, современника и корреспондента преп. Максима Исповедника [2]. Однако некоторые из имеющихся фактов не позволяют согласиться с подобным «глобализирующим» мнением. Не может быть также принята всерьез и та отнюдь не обоснованная точка зрения, согласно которой философские главы Изборника 1073 года квалифицируются как «обширные эксерпты из произведений Феодора Раифского» [3].

Трактат "*Προπαρασκευή*", принадлежащий авторству Феодора, пресвитера Раифского (или пресвитера лавры Раифской), известен в науке по крайней мере в течение нескольких столетий [4, с. 173—185]. В состав этого трактата, образуя его вторую часть, входят особые терминологические главы, в которых дается трактовка многих из указанных выше философских понятий [4, с. 200—222]. По-видимому, именно с последними и отождествляются соответствующие — за исключением первой и двух конечных — философские главы, вошедшие в греческий протограф Изборника 1073 года.

Однако, как показывает сравнительный текстологический анализ, при сопоставлении греческой версии этих глав, в частности, по кодексу Coisl. 120 в списке, хранящемся в Отделе рукописей ГБЛ (фонд 36, картон 6, ед.хр. 5), и второй, терминологической части упомянутого трактата Феодора Раифского в публикации Ф. Дикампа (далее — Дикамп), — о параллелизме данных памятников можно говорить лишь в весьма ограниченном смысле. При различии в объеме текста, количестве и названии глав в них наблюдается совпадение — в той или иной степени — только отдельных фрагментов. При этом значительная часть остальных фрагментов из исследуемых глав имеет соответствие в «Диалектике» преп. Иоанна Дамаскина (Migne, PG, t. 94, 525—676). В результате приходим к следующему заключению: философские главы (2—18), вошедшие в состав греческого протографа Изборника 1073 года, представляют собой не оригинальное произведение, а элементарную компиляцию, в основании которой — непосредственно или опосредованно — лежат «Приготовление» Феодора Раифского, в его терминологической части, «Диалектика» преп. Иоанна Дамаскина и, возможно, другие древние источники. В связи с этим тенденция рассматривать указанные главы в качестве цельного трактата или обширных эксерптов только лишь из произведений, авторство которых приписывается Феодору Раифскому, не может считаться научно состоятельной. Некоторые конкретные замечания по структуре философских глав — исходя из их греческой версии — будут приведены в последующем изложении.

Обращаясь к проблеме интерпретации древнефилософских понятий и учитывая неоднозначность и широкую синонимичность древнерусской терминологии, будем исходить в данном случае из русских и греческих эквивалентов.

СУЩЕЕ (τὸ ὄν). В качестве древнерусских эквивалентов термину «сущее» в Изборнике 1073 года выступают субстантивированные причастия действительного залога настоящего времени среднего рода глагола *быти* — *сѣе* (л. 233г2, 5, 6, 8, 10; на л. 224в25 имеем: *о собѣ сѣе* = τὸ αὐθ' ὕπαρκτον; см. также л. 154а27: *Азъ ѿсѣмъ Сѣи*) и *сжитиѣ* (223г9). В философских главах последний термин в значении «сущего» в номинативе встречается лишь однажды. Но многократное использование его в косвенных падежах, в частности, в род.пад. мн.числа в форме

соуштинхъ (л. 222г15; 223а6,9; 223г8; 224в25), *соуциихъ* (л. 224б28), *сжитиихъ* (л. 222г28), не позволяет однозначно согласиться с мнением, согласно которому в данном случае «термин *сжщє* употреблен ошибочно» и «следовало бы писать *самє*» [5, с. 148]. Вопрос, полагаем, требует дальнейших исследований.

«Сущее» в перипатетической философской традиции, в русле которой находятся и философские главы Изборника 1073 года, — это предельно широкое понятие, с максимальной степенью обобщения отображающее все многообразие данных в опыте проявлений онтологически неоднородного реального бытия (вещи, свойства, отношения, свойства свойств и т. д.). Соответственно все эти реалии, подпадающие под понятие «сущее», называются «сущими».

Как говорится в Изборнике 1073 года, «„сущее“ есть общее имя для всего существующего» (букв.: *для всех сущих*) (л. 223г6—8)¹.

В данном случае в качестве эквивалента греч. τὸ ὄν употреблено слово *сжщноє*. В других местах (л. 222г13; 223в3; 223г2—3; 226в13; 227а12; 235б5—6) это слово применяется для передачи греч. τῆς οὐσίας (Coisl. 120, л. 194б2; 195а1, 13; 197а27; 197б21; 203б28) обычно в словосочетании: τὸ τῆς οὐσίας ὄνομα (λόγος) (кроме л. 197б21). Здесь же мы имеем иное выражение: τὸ ὄν κοινὸν ὄνομα ἐστὶ (Coisl. 120, л. 195а15).

Следует отметить, что в «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского (III, стлб. 635) к слову *сущный* указано значение «существующий». Однако приведенный пример (Изб. 1073 г., л. 227а12) не адекватен. В действительности в нем идет речь о логическом разделении понятия «сущность»: «Сущность, говорят, бывает или телесная, или бесплотная (бестелесная)...». Что касается второго, по Срезневскому, значения слова *сущный*: «указывающий существенные свойства», то оно также не подтверждается приведенными примерами: Изб. 1073 г., л. 222г13, 223г2—3. В них, как показано выше, тоже говорится о понятиях «сущность» и «сущее». Остается, правда, пока под вопросом, можно ли слово *сжщноє* рассматривать в качестве устоявшегося эквивалента для этих терминов в отмеченных фрагментах (л. 223г6—7 и 227а12).

¹ Здесь и далее — за редкими исключениями, когда воспроизводится славянский текст памятника, — Изборник 1073 года цитируется в переводе на современный русский язык, выполненный автором настоящей статьи. Предшествующий опыт русского перевода первых восьми из состава логико-философских глав манускрипта принадлежит, — как это ни покажется странным даже и на первый взгляд, — болгарскому исследователю Б. Пейчеву. Данный перевод, к сожалению, весьма не исправен, что не осталось незамеченным рецензентами еще тогда, когда он находился в рукописи. Однако несмотря на это перевод Б. Пейчева оказался помещенным в русской версии не совсем адекватной и во многих других отношениях монографии ученого [1, с. 138—145] вслед за фототипическим воспроизведением славянского текста всех 20 рассматриваемых глав [1, с. 107—137]. Исправлен также и представленный там краткий «Словарь основных терминов» [1, с. 101—103].

Полагая необходимым проиллюстрировать сказанное, приведем один из фрагментов русского перевода Б. Пейчева в сопоставлении с нашим собственным переводом:

л. 223 в 3—13:

Сущее — это понятие, по которому простые сущие существуют, как и сказано в Божественном Писании. Количество способов для обозначения бытия существ больше.

Слова «сущность», — имею в виду само слово и именование, — мы вовсе не употребляем в Божественном Писании. В обычном употреблении слово «сущность» используется для обозначения имущества.

Полный перевод некоторых из философских глав Изборника 1073 года см. в Приложении к данной статье.

Как уже говорилось, всеобщее (*всдчьское съѣхъ*: л. 233в29—г1) понятие «сущее» отображает многообразные реалии, обладающие неодинаковым онтологическим статусом. Одни из них существуют «сами по себе», самобытно (вещи, объекты), тогда как остальные имеют бытие «в другом» (свойства в широком смысле). В перипатетической философии вещи, объекты называются сущностями, субстанциями, а свойства во всем их многообразии обозначаются как привходящее, случайное (бытие), акциденции. Соответственно этому логический объем понятия «сущее» может быть разделен на две неравные части, одна из которых охватывается менее общим, чем «сущее», понятием «сущность», а другая — понятием «случайное». «*Житиѣ,— по словам Изборника 1073 года,— раздѣляется въ сжитиѣ и въ сълоучаѣ*» (л. 223г9—11), т. е.: «сущее разделяется на сущность и случайное», на субстанцию и акциденцию.

В приведенном фрагменте наблюдается, по всей вероятности, терминологическая коллизия, в аспекте которой один и тот же термин употребляется в двух различных значениях: сущего (*τὸ ὄν*) и сущности (*οὐσία*) (Coisl. 120, л. 195а16). Целесообразнее, полагаем, в первой позиции было бы использование термина *сдѣе*.

В свою очередь, продолжим, объем понятия «случайное» может быть разделен далее на девять однородных областей привходящего бытия, охватываемых соответственно следующими понятиями: «количество» (*количество*), «качество» (*качество*), «отношение» (*къ кому*), «место» (*къде*), «время» (*къгда*), «действие» (*творити*), «страдание» (*страдати*), «положение» (*лежати*), «обладание» (*имѣти*) (л. 234в—235в).

Понятия, охватывающие указанные десять областей: одну — самостоятельного (сущности, субстанции) и девять — случайного бытия (акциденции), которые составляют экстенционал всеобщего понятия «сущее», в перипатетической философской традиции называются категориями (*оглаголаніе*: л. 234г10, 12; 235а20; *κατηγορία*: Coisl. 120, л. 203б8, 9, 22). Категории имеют статус наивысших родов (*прѣродный родъ*: л. 234г13, 227в1—2; *пачеродный родъ*: л. 227б19—20, 26—27; *γεννηφότων γένος*: Coisl. 120, л. 203б8—9, 198а4—5, 8, 10). Под них соответственно подпадают все реальные понятия как таковые, т. е. будучи употребляемы вне предложения, без всякой связи, просто: «*Десять бо всѣхъ есть оглаголаній, рекше прѣродныи роди, на на же возноситься всдѣхъ гласъ, рекше има просто глаголемо*» (л. 234г10—17).

Категории, как отмечалось, являются наивысшими родами. Правда, они подводятся под понятие «сущее», которое обладает более широким объемом, большей общностью. Однако это подведение осуществляется в аспекте субсумции (субсумции), включения в объем по признаку существования, наличной данности в опыте, не входящему в определение сути вещи. При родо-видовой же субординации в рассмотрение принимаются признаки существенные. Поэтому «сущее» не имеет родового статуса по отношению к категориям и не является родом для них. В свою очередь и категории не суть виды одного рода, ибо они (в конечном же счете — их денотаты) онтологически зависимы друг от друга. Сущность, согласно Изборнику 1073 года, является подлежащим (носителем) по отношению ко всем другим категориям, которые существуют в подлежащем (л. 234г24—235а2). Кроме того, одна акцидентальная категория может зависеть от другой, когда, например, мы говорим о свойстве (качестве) отношения, об отношении свойств и т. п. Виды же одного рода онтологически взаимно независимы.

СУЩНОСТЬ (*οὐσία*). Для обозначения понятия «сущность» в Из-

борнике 1073 года обычно употребляется слово *сущие* в различных вариациях, в том числе и как *сжитие* (л. 228а26—27, б20, 12), *соуштее* (л. 224в24, 227б19). Как видим, в исследуемом памятнике понятия «сущность» (*οὐσία*) и «сущее» (*τὸ ὄν*) терминологически различаются не всегда, что порой приводит и к коллизиям (см. выше).

Исторически термин «сущность» (*οὐσία*) применяется для обозначения д в у х разных понятий [6, с. 88; 7, 8; 9, с. 165 и далее]. Это получило отражение и в философских главах Изборника 1073 года. О м о н и м и я «сущности» восходит к практике античного словоупотребления в рамках различных философских школ или даже концепций внутри одной школы. В эклектических системах, будучи неосознанной, подобная омонимия бывала даже причиной шумных псевдоученых споров, за которыми обычно стояла элементарная терминологическая неоднозначность. Сказанное в известной мере относится и к так называемым тринитарным и христологическим спорам IV—V и последующих веков в христианстве.

Уже в сочинениях, в их совокупности связываемых с именем Аристотеля, термин *οὐσία* употребляется в двояком значении: во-первых, о чем уже говорилось, «в смысле существующего само по себе, а не как чужая принадлежность», и, во-вторых, «в смысле „сути чего-нибудь“» [7]. Соответственно этим термином обозначаются, с одной стороны, в родовом смысле та или иная *вещь* (*объект*), а с другой — *суть* вещи (*объекта*). В последующей латиноязычной философской традиции в аспекте разработки аристотелевской онтологии и логики эти два значения были терминологически разведены. Сущность как бытие само по себе (вещь, объект) преимущественно стала называться *substantia*, а сущность как суть вещи, как общее в вещах — *essentia*. Подобное словоупотребление встречается уже у Мариа Викторина, Илария Пуатьерского (Пиктавийского), Августина [9, с. 165 и далее]. Соотношение этих латинских терминов может быть представлено в формуле: каждая сущность-субстанция имеет свою сущность-эссенцию [6, с. 88].

В философских главах Изборника 1073 года отмеченные значения «сущности» *ф о р м а л ь н о*, быть может, и различаются, в частности, когда противопоставляются позиции в ее понимании со стороны христианских авторитетов и нехристианских философов («внешних»). Однако *п р а к т и ч е с к и* слово *сущие* используется здесь безразлично в обоих указанных смыслах. В главах, подчеркнем, безо всяких оговорок сводятся вместе несколько дефиниций *р а з н ы х* понятий сущности (л. 223г11—224а3). При этом предлагаемые примеры (л. 224а12—б8) могут быть соотнесены только с одной из них, последней. Это подтверждается и последующими рассуждениями (л. 224б8—25). Более того, иногда вслед за дефиницией сущности-эссенции приводятся примеры сущности-субстанции (л. 222г13—24). Во многих других случаях бессистемно чередуются фрагменты, в которых *сущие* употребляется то в одном, то в другом значении.

Различные дефиниции понятия «сущность», без указания на их нетождественность, сведены вместе в главе, надписанной именем Феодора, пресвитера Раифского (л. 223б29—224б25). Предшествующие им фрагменты почти целиком имеют соответствие, — будучи, по всей вероятности, заимствованы из него, — в упомянутом выше трактате, принадлежащем авторству того же древнего писателя (согласно публикации Ф. Дикампа): (л. 223в3—г4) = (Coisl. 120, л. 194б31 — 195а14) = (Дикамп, с. 200.23—201.10). Последующее изложение (л. 223г6—224б8, исключая промежуточный тезис) имеет параллель в «Диалектике» преп. Иоанна Дамаскина

(Migne, PG, t. 94, 537—540, примеч.) [10, с. 53]. Здесь, однако, отсутствуют именно две первые из упомянутых дефиниций (л. 223r11—25), при компиляции некорректно инкорпорированные в оригинальный текст. Нет этих дефиниций, безусловно, и в соответствующем месте трактата Феодора Раифского.

Обратимся к последнему из определений сущности в философских главах Изборника 1073 года: определению сущности как с у б с т а н ц и и. Оно включает в себя противопоставление субстанции и акциденции. Согласно этому определению, «сущность есть вещь самобытная (самостоятельная), не нуждающаяся для своего существования в чем-либо другом, то есть существующая в себе, а не в ином, как случайное. Случайное же есть то, что не может существовать в себе, но имеет бытие в другом» (л. 223r26—224a7).

Что касается примеров, то в «Диалектике» преп. Иоанна Дамаскина и в Cod. Coisl. 120 приводятся следующие: тело (субстанция) и цвет его (акциденция), душа (субстанция) и мудрость (акциденция). В Изборнике же 1073 года вместо цвета говорится о форме тела.

Далее следует фрагмент, почти полностью имеющий соответствие в трактате Феодора Раифского: (л. 224b8—25) = (Coisl. 120, л. 195b9—15) = (Дикамп, с. 202,3—9). Здесь находится дефиниция сущности-субстанции в несколько отличной формулировке: сущностью называется все, что является самопостасным, т. е. «обладает собственной иностасью и в себе, а не в ином имеет бытие» (л. 224b8—13; ср. л. 224b22—27).

Затем речь идет о логическом делении (объема) понятия «сущность»: «Сущности же бывают или телесные, или бестелесные (бесплотные). Телесные (сущности) — это земля, вода, воздух, огонь и то, что составлено из них: камень, растение, одушевленное тело. Бесплотные же (сущности) — ангел, разумная душа. И все это, как сказано, называется сущностями. Творец же сих — Бог» (л. 224b13—25).

В данном случае в сокращенной форме воспроизведено так называемое «древо Порфирия» [11], в графическом изображении представленное Воейдем. Пространный вариант дан ниже (л. 227a6—618). При этом приводимая схема деления «сущности» возводится к «внешним мудрецам», т. е. нехристианским философам.

Согласно последним, как уже говорилось, «„сущность“ является наивысшим родом» (л. 227b18—20; см.: 626—28, г17—19), т. е. «представляет собой род для всех родов» (629—v1) и поставляется «прежде всех видов и родов» (a7—10). Исходя отсюда, деление (объема) понятия «сущность» производится следующим образом: «Сущность, говорят, бывает или телесная, или бестелесная (бесплотная); телесная (сущность) — или одушевленная, или неодушевленная; одушевленная (сущность) — или животная, или живоотно-растительная; ...животная же (сущность), далее, бывает или разумная, или неразумная; разумная (сущность) — или смертная, или бессмертная. Животное разумное — это человек...» Видовое понятие «человек» разделяется на индивиды (единичные понятия) (л. 229a12 — 618).

В аспекте логического деления «сущности»-«субстанции» может быть прослежена и сопутствующая терминология: «род» (*родъ*), «вид» (*видъ*), «низший вид» (*своитъный видъ*), «неделимое», «индивид» (*нераздробляемое, непрѣрзаемое, неотързаемое, нерастаемое*) и др.

«„Сущность“, тем самым, — продолжим цитацию из Изборника 1073 года, — называется наивысшим родом. Родом же именуется то, что может сказываться о различных видах. Вид же есть то, что подчинено роду.

Наивысшим из родов является сущность, которая представляет собой род для всех родов. Это и есть наивысший род» (л. 227618 — в2).

Если род «разделяется на виды» (в 14—15), то вид — на индивиды, неделимые, но именно низший вид. «Неделимым называется то, что не подлежит разбиению на множество. Например, Петр, будучи единичным, не заключает в себе множества петров и не может созерцаться во множестве. Таким образом, наивысший род, то есть сущность, есть общее, иначе говоря, сказывается обще о многом. Неделимое же есть частное (*σвоιτῆνο, ἴδιον*), то есть то, что замыкается в себе и сказываться о многом не может... Тогда как общее сказывается о многом, частное не сказывается вообще ни о чем (л. 227г8—228а6). Неделимое, отметим, называется также особью, ипостасью (*σοβῆστω, ὑπόστασις*) или лицом (*лице, πρόσωπον*) (л. 228а23—25). Соответственно, возвратимся несколько назад, низшим видом именуется «то, что ближайшим и непосредственным образом сказывается о неделимых» (а 15—18). «Таково, — заключает Изборник 1073 года, — разделение согласно внешним (философам)» (а 6—7).

Что касается параллельных мест, изложенное в исследуемом памятнике находит довольно близкое соответствие в «Диалектике» преп. Иоанна Дамаскина (Migne, PG, t. 94, 564, 617—620) [10, с. 67—68, 91].

Обратимся к рассмотрению определений сущности как э с с е н ц и и. Согласно Изборнику 1073 года, «„сущность“ есть имя общее и неопределенное, равным образом относящееся ко всем находящимся под ним ипостасям и соименно сказывающееся о них. И (еще): „сущность“ есть то, что сказывается о подлежащих ипостасях и умосозерцается во всех них равным и одинаковым образом» (л. 223г13—25).

В данном случае, как видим, речь идет о реалии, которая умосозерцается в другом, в индивиде и как таковая не является самостоятельной, существующей само по себе, а не в другом, т. е. не является субстанцией. «Следует заметить, — пишет преп. Иоанн Дамаскин, — что ни сущность (эссенция. — Ю. А.) не существует сама по себе без вида, ни существенная разность, ни вид, ни акциденция, по одни только ипостаси. или индивиды» (Migne, PG, t. 94, 612) [10, с. 89].

В первой из приведенных дефиниций, как можно заметить, имеется в виду сущность как общее в вещах, но общее самой высокой степени абстракции, лишенное всякой качественной определенности и заключающее в себе только лишь идею существования, бытия как такового, которое сообщается каждой из универсального множества вещей вследствие причастности их этой сущности, сущности, по Иоанну Дамаскину, п р о с т о й. По его словам, «простая сущность созерцается одинаково во всех ипостасях: в неодушевленных и одушевленных, в разумных и неразумных, в смертных и бессмертных» (Migne, t. 94, 612) [10, с. 89, 90].

В данном случае в качестве параллели можно напомнить об основном принципе стоической онтологии. Согласно последнему, субстрат каждой вещи в универсуме образует действительно существующая безвидная и бескачественная мировая материя (мировой огонь или эфир). Сама по себе эта безобразная первоматерия не придает вещи качественной определенности, но она есть «ее внутренняя сущность, или основа ее бытия, в силу которой данная вещь существует» [12]. Безусловно, здесь можно говорить лишь об аналогии, ибо в аспекте исследуемых памятников (простая) сущность не идентифицируется с какой-либо онтологической реальностью, как это делается в Стое.

В Лексиконе Свиды, отметим, под рубрикой "Ὀὐσία" с достаточной адекватностью воспроизведены все три анализируемые определения сущ-

ности, в том числе и определение сущности как субстанции. Однако непосредственно за последней дефиницией следует такое заключение: «Итак, сущность есть бытие сущих вообще». В латинской параллели данной статьи, добавим, греческий термин *οὐσία* во всех случаях передается как *essentia*, тогда как термин *substantia* используется для передачи греч. *ὑπόστασις*.

Собственно говоря, у Свиды воспроизведена значительная часть написанной именем Феодора Раифского главы, вошедшей в греческий протограф Изборника 1073 года и включающей упомянутые определения сущности (л. 223в3—224а3; Coisl. 120, л. 195а1—24). Начальные фрагменты этой главы, как уже говорилось, имеют адекватное соответствие в трактате Феодора Раифского: (л. 223в3—г4) = (Coisl. 120, л. 195а1—14) = (Дикамп, с. 200.23—201.10). Вероятно, в частности, на этом основании Ф. Дикамп и говорит о зависимости Лексикона Свиды от названного трактата [4, с. 181]. Однако в данном случае эта зависимость, со всей очевидностью, носит по крайней мере не непосредственный характер.

Обратимся ко второму определению сущности как эссенции в Изборнике 1073 года: «сущность есть то, что сказывается о подлежащих ипостасях и умосозерцается во всех них равным и одинаковым образом» (л. 223г20—25). Приведенное определение, как можно предположить, имеет широкий спектр и может охватывать и сущность как бытие вообще, простую сущность, и «сущность, посредством существенных различий окачествованную до уровня вида (*существование в виде творено*) и соединяющую с бытием вообще (*уже просто быти*) качественно определенное бытие (*како бытие*): разумное или неразумное, смертное или бессмертное» (л. 224г9—18).

В отличие от сущности-эссенции как бытия вообще сущность, окачествованную до уровня низшего вида и непосредственно «охватывающую ипостаси», внешние философы, по свидетельству Изборника 1073 года, называли природой, естеством (*нестъство*) (л. 225а22 и далее; см. также главу «Максим: о различии сущности и естества согласно внешним философам», л. 222г10—223б28, и специальную главу «О естестве», л. 224б26—225г25).

Однако церковные учителя, богومудрецы (*богомудръци, θεολογοί*: л. 227а3—4; Coisl. 120, л. 197б17—18), по Изборнику 1073 года, пренебрегли подобными дистинкциями и «использовали эти слова безразлично» (л. 223б22 и далее): «Святые же отцы, оставив многие эти словопрепия, общее и о многом высказываемое, то есть низший вид, именовали и сущностью, и естеством, и формой (*образъ*), например, (выражаемое в понятии) „ангел“, или „человек“, или „лошадь“, или „собака“ и тому подобное» (л. 225а27—б9; в тексте неточность: *нестъствьнь образъ* — вместо: *нестъство и образъ*; ср.: Coisl. 120, л. 196а25: *φύσιν καὶ μορφήν*).

Несколько слов о структуре главы «О естестве» в Изборнике 1073 года. Начальные ее фрагменты с достаточной полнотой воспроизводят текст из главы трактата Феодора Раифского «О сущности и естестве», за исключением этимологического экскурса: (л. 224б27—в16, 17—22) = (Coisl. 120, л. 195б16—24, 25—28) = (Дикамп, с. 202.10—18, 202.22—203.4). Затем следуют дефиниции сущности (как субстанции) и естества: «Сущность, как было сказано, определяют (следующим образом): все, что существует само по себе и для своего бытия не нуждается ни в чем другом. Естество же есть начало существенного движения и покоя каждого из сущих» (л. 224в22—г3); Coisl. 120, л. 195б29—196а1). Последние дефиниции,

по смыслу соответствующие предыдущему тексту, отсутствуют в трактате Феодора Раифского. Отсутствуют они и в «Диалектике» преп. Иоанна Дамаскина, хотя отсюда (Migne, PG, t. 94, 589—593) [10, с. 81—82], по-видимому, заимствована — местами в свободном переложении — следующая часть главы «О естестве» (л. 224г3—225б29; Coisl. 120, л. 196а1—65). И если в предыдущих фрагментах речь шла о сущности как субстанции, то здесь, вопреки этому, уже говорится о сущности как эссенции (простой и окачественной), которая как общее существует в единичном (неделимом, индивидуе, особи, ипостаси).

В качестве иллюстрации приведем замыкающее эту часть главы рассуждение по поводу ипостаси (особи, индивидуа): «Ипостась необходимо имеет с у щ н о с т ь (в совокупности) со случайными свойствами, существует сама по себе и воспринимается посредством ощущения, или актуально» (л. 225б23—29; разрядка наша. — Ю. А.). Как видим, в приведенном примере говорится о том, что сама по себе существует ипостась, тогда как сущность (т. е. эссенция), которая ей присуща, имеет бытие не непосредственное, а опосредованное, существуя в ипостаси и через ипостась.

Еще более иллюстративен в этом отношении Cod. Coisl. 120 (сам или по крайней мере имеющийся в нашем распоряжении список с него). В кодексе приведенным выше рассуждениям предшествует обрывок фразы: «Ипостась же, то есть частная (единичная) сущность со случайными свойствами» (л. 196б1—2). Здесь, безусловно, имеется в виду сущность как субстанция (вопреки, подчеркнем, общему контексту), ибо ипостась и есть единичная с у б с т а н ц и я, которой действительно присущи различные акциденции (об этом — ниже).

Закljučается, доведем мысль до конца, глава «О естестве» фрагментом, который, по всей вероятности, представляет собой сокращение соответствующего места в трактате Феодора Раифского (Дикамп, с. 203.1—22).

ИПОСТАСЬ (ἰποστάσις). Термин «ипостась» является одним из основных онтологических терминов позднеантичной философии и теологии. Поскольку в течение веков вокруг этого термина кипели ожесточенные споры и поскольку до самого последнего времени в нашей литературе отсутствовала адекватная и четкая позиция в его трактовке (пожалуй, вплоть до появления соответствующей статьи в «Философском энциклопедическом словаре» [13, с. 220]), мы позволим себе несколько пространнее остановиться на его истории и развитии.

Слово ἰποστάσις встречается уже в V веке до н. э. и фиксируется в трагедиях Софокла (в значении «засада») и естественнонаучных трудах Гиппократов (в значении «опора»), позднее — в естественнонаучных же сочинениях Аристотеля и Теофраста, в комедиях Менаандра (главным образом в значении «осадок», «отстой»). В греческом библейском переводе LXX-ти толковников (Септуагинте) оно используется в широкой смысловой палитре примерно в двадцати случаях в качестве эквивалента 12 древнееврейских слов и выступает в значении опоры, надежды, уверенности, постоянства, засады, передового отряда, боевого стана, имущества и т. д. [14]. В Новом Завете оно наблюдается в пяти местах в посланиях апостола Павла.

Специфически философское применение слово «ипостась» получило в стоической онтологии, откуда позднее вошло и в общенаучный лексикон. У ранних стоиков (Хрисипп) используются лишь соответствующие глагольные формы для обозначения процесса объективации единой и вечной первоосновы мирового бытия — аморфной, бескачественной праматерии,

в аспекте которого последняя в собственном смысле гипотезируется, т. е. переходит из латентного состояния в актуальное, эмпирическое, проявляясь во множестве конкретных, качественно определенных и чувственно воспринимаемых единичных вещей.

Дальнейшее терминологическое развитие связано с именем Посидония (ок. 135 — 51 г. до н. э.), который вводит в философский обиход сам термин «ипостась» в значении действительного и субстанциального эмпирического бытия (конкретная единичная вещь), — в противопоставление бытию кажущемуся (ἐμφανίσι), кое реально, но акцидентально, и мыслимому (ἐπίνοια), не обладающему свойством объективности и актуальности.

Именно в значении единичного субстанциального бытия термин «ипостась» в последующее время и получил преимущественное общепhilosophическое распространение. В перипатетической традиции «ипостась» стала синонимом «первой сущности» (πρώτη οὐσία, substantia prima) атрибутируемых Аристотелю «Категорий». В неоплатонизме (Порфирий) в этом аспекте различались ипостаси совершенные (триада начальных ипостасей Плотина) и несовершенные (множество эмпирических вещей).

В христианскую грекоязычную патристику термин «ипостась» вошел также в значении единичного субстанциального бытия как посетителя общего (сущности-эссенции) и особенного (случайных свойств, акциденций). Это получило отражение и в Изборнике 1073 года, где слово *ипостась* передается как *собъство*.

Этимологически (готовословлено), — отмечается здесь, — слово „ипостась“ происходит от (слов) „самостоятельное бытие“ и „существование“ (л. 226а14—17); в древнерусском переводе *готовословлено* является калькой греч. ἐτοιμολογεῖται (Coisl. 197а3); в современных словарях древнегреческого языка такого слова нет; правильное было бы ἐτιμολογῆται, как это дано у Дикампа (Дикамп, с. 204.5); интересно отметить, что в «Повести о Варлааме и Иоасафе» [текст подготовлен к публикации И. Н. Лебедевой (Л., 1985)] встречается лексема *готовословия* в качестве неточного эквивалента греч. ἐτοιμολογίας (см. с. 170, 272, ср. с. 277, примеч. к л. 222об), но эквивалента, полагаем, осмысленного, ибо ἐτοιμος означает «готовый»; у Срезневского приведена форма *готовословлено* без расшифровки значения).

«Ипостась, — продолжим цитацию, — необходимо имеет сущность (эссенцию. — Ю. А.) (в совокупности) со случайными свойствами, существует сама по себе и воспринимается посредством ощущения, или актуально» (л. 225б23—29). Отсюда и определение ипостаси: «Ипостась есть вещь самобытная и субстанциальная, в которой, как в некоем подлежащем, объективно и актуально существует совокупность случайных свойств» (л. 225г27—226а5).

В данном случае в древнеславянском переводе не совсем адекватно отражена мысль греческого оригинала, заключенная в следующих словах: ἐν ἐνὶ ὁμοειμένῳ πράγματι καὶ ἐνεργείᾳ (Coisl. 120, л. 196б29—30). В Изборнике 1073 года имеем: «въ единой подълежитици вешти и дѣйствиѣ». Должно же было бы быть: «въ единомъ подълежащиимъ вештыж и дѣйствиѣмъ» (ср. л. 229в18—19, 26—27; Coisl. 199б15, 18; Дикамп, с. 215.20, 22). Дело в том, что слово πράγματι, означающее «объективно», в греческом тексте случайно оказалось рядом со словом ὁμοειμένῳ, при этом случайно же совпадая с ним в падежной форме. Подобная коллизия, по всей вероятности, и могла привести к ошибке в переводе.

Как видим, в определение «ипостаси» входит признак самобытного,

самостоятельного существования, как, заметим, и в определении сущности-субстанции. Более того, ипостась прямо трактуется как с у б с т а н ц и а л ь н о е бытие. Поэтому вполне правомерен вопрос о соотношении понятий «ипостась» и «субстанция». В Изборнике 1073 года мы находим следующий на него ответ: «Ипостась, или лицо, есть частная сущность (*сжитие частно; οὐσία μερικῆ*)». Поскольку ипостась есть не общее, но единичное, в то же время представляя собой, подобно субстанции, нечто субстанциальное, она и называется единичной субстанцией. «Например, Петр есть ипостась, но (одновременно) и некая сущность (*сжитие некто; οὐσία τις*), ибо он — человек определенный, или отдельный, а не человек вообще. Тем самым, ипостась есть сущность, но сущность некая (*сжитие некую*)» (л. 228a25-616).

Термин «единичная сущность» («единичная субстанция») в значении ипостаси, неделимого, индивида можно встретить, в частности, и в «Диалектике» преп. Иоанна Дамаскина (Migne, PG, t. 94, 560, 572) [10, с. 66—72]. Согласно последнему, ипостасями как раз и называются индивиды категории «субстанция» (там же, 632) [10, с. 98]. Однако, отметим, использование этого термина в христианской теологии не вполне правомерно, поскольку это противоречит приводившемуся ранее утверждению о том, что, вопреки внешним философам, церковные учителя применяли термин «сущность» (как и «природа») для обозначения того, что является общим во множестве вещей и соответственно предикцируется о них в качестве высшего вида (там же, 592—593) [10, с. 82] и что в западной традиции преимущественно именовалось эссенцией (в отличие от сущности-субстанции).

Что же касается соотношения понятий «ипостась» и «сущность-эссенция», то оно показано выше: каждая ипостась, каждая единичная субстанция имеет свою эссенцию (в совокупности со случайными свойствами, акциденциями). В данном случае мы приходим к известной формуле: единичное включает в себя общее (вместе с особенным). В подтверждение этого в Изборнике 1073 года неоднократно приводится мнение «великого Василия», согласно которому «сущность имеет то же отличие от ипостаси, что и общее — от частного (единичного)» (л. 226г21—27; 227г25—228a2; 228a15—21).

Заключивая этим рассмотрение проблемы понятия «ипостась» (*сѡбѣство*), отметим, что определение «ипостаси», запечатленное в Изборнике 1073 года (л. 225г27—226a5), кроме трактата Феодора Раифского (Диками, с. 205.15—17), имеет параллель и в соответствующей статье в Лексиконе Свиды. Интересно то, что Г. Дёрри в последнем случае был склонен видеть «единственную попытку дефиниции» «ипостаси, дефиниции, которая к тому же квалифицирована им как такая, что «вряд ли может рассматриваться как корректная в философском смысле» [14, с. 36]. Справедливости ради подчеркнем, что приведенная у Свиды дефиниция со стороны ее критика осталась совершенно не понятой, хотя она несколько даже и расширена за счет начальной фразы: «Ипостась: в собственном смысле — само по себе, самостоятельно существующее...»

ЛИЦО (*лице, πρόσωπο*). Ко времени появления трактата Феодора Раифского, «Диалектики» преп. Иоанна Дамаскина и, соответственно, греческого компилятивного протографа Изборника 1073 года термин «лицо» уже употреблялся в качестве синонима «ипостаси», «индивида», «особи» применительно к обозначению духовно-разумных существ, личностей. Первоначально же он использовался в значении совокупности несущественных, случайных свойств, акциденций [13, 220]. В Изборнике

1073 года, как и в предшествующих ему памятниках, «лицо» определяется следующим образом: «Лицо есть то, что посредством своих действий и свойств конкретным и определенным образом выделяется относительно одноприродных ему (существ)» (л. 226в18—23; см. соответственно: Coisl. 120, л. 197а30—62; Дикамп, с. 206.5—7; Migne, PG, t. 94. 613). Приводимые далее примеры (архангел Гавриил, апостол Павел с их специфическими деяниями) имеют соответствие в «Диалектике» преп. Иоанна Дамаскина, но отличаются от таковых в трактате Феодора Раифского (спор архангела Михаила с дьяволом о теле Моисеевом), к которому восходит, однако, последующий фрагмент, коего нет в «Диалектике». «Поскольку,— говорится здесь,— знание о чем-либо мы приобретаем через посредство его действий, лицом поэтому называется именно то, что производит действие (действующее)» (л. 226г10—15; Coisl. 120, л. 196б9—11; Дикамп, с. 206.10—11).

По содержанию рассматриваемая часть Изборника 1073 года является вполне ортодоксальной. Об этом может свидетельствовать хотя бы то обстоятельство, что она имеет соответствие в вполне корректной проповедке Иоанна Дамаскина. И поэтому не могут не вызывать удивления пространные рассуждения Б. Пейчева о том, будто бы в ней проводится «мысль ... о „единой воле и действии“ Иисуса Христа», которая якобы вызвала «критическую оценку Максима Исповедника» [1, с. 51]. Не имея возможности подробнее остановиться на этом моменте, в данном случае ограничимся только одним, но, полагаем, избыточным аргументом «против»: в начальных фрагментах главы «О лице», имеющих отношение к вопросу, в о б щ е не говорится ни об Иисусе Христе, ни о его воле и действии.

В структурном плане в Изборнике 1073 года глава «О лице» не имеет формального завершения и непосредственно переходит в пространный экскурс, главным образом, по вопросу о соотношении понятий «сущности» и «ипостаси» (л. 226г15—229г4), который, по всей вероятности, имеет фрагментарное соответствие в главе «О других различиях этих (понятий)» трактата Феодора Раифского (Дикамп, с. 207. 1—216.4), следующей за главой «Определение (понятия) „лицо“». «Шов» в данном случае очевиден: здесь совмещаются два разнородных фрагмента, имеющих соответствие в различных главах трактата Феодора Раифского. В одном из них говорится о соотношении понятий «лицо» и «ипостась» (л. 226г15—20; Coisl. 120, л. 197г11—12; Дикамп, с. 206.18—19), а в другом — понятий «сущность» и «ипостась», со ссылкой на авторитет Василия Великого (л. 226г20—27; Coisl. 120, л. 197г12—15; Дикамп, с. 207.6 и далее).

Этим и ограничим настоящие размышления над древнейшим памятником отечественной письменности, философско-терминологические главы которого находились у истоков становления и развития философского мышления на Руси. В заключение хотелось бы выразить надежду на то, что названные главы Изборника 1073 года, как и сам этот древний кодекс, привлекут более серьезное внимание исследователей и займут подобающее им место в аспекте реконструкции и осмысления дошедшего до нас из глубины веков культурного и научного наследия нашего народа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пейчев Б. Философский трактат в Симеоновом сборнике. Киев, 1983.
2. Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. Ч. II. Т. 2. М., 1859. С. 385.
3. Сидоров А. И. Некоторые замечания по поводу изучения «Изборника Святослава

- 1073 г.» // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1985/Отв. ред. Новосельцев А. П. М., 1986. С. 197.
4. *Diekamp Fr.* *Analecta patristica. Texte und Abhandlungen zur griechischen Patristik.* Roma, 1938.
 5. *Камчатное А. М.* Текстология и лексическая вариативность в Изборнике Святослава 1073 г. и его списках (XI—XVII вв.); Дис: . . . уч. ст. канд. филол. наук. М., 1983. С. 148.
 6. *Арнл Г.* История античной философии. СПб., 1910.
 7. *Введенский А. И.* Лекции по истории древней философии. СПб., 1911—1912. С. 312.
 8. *Войшвилло Е. К.* Понятие. [М.], 1967. С. 141.
 9. *Майоров Г. Г.* Формирование средневековой философии (латинская патристика). М., 1979.
 10. Преп. Иоанн Дамаскин. Полное собрание творений. I. СПб., 1913.
 11. *Порфирий.* Введение к «Категориям» // Аристотель. Категории. М., 1939. С. 99.
 12. *Орлов А. П.* Тринитарные воззрения Илария Пиктавийского. Сергиев Посад, 1908. С. 14.
 13. Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 220.
 14. *Dörrie H.* *Υπόστασις. Wort- und Bedeutungsgeschichte* // *Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Ph.-h. Kl.* 1955. S. 45—46.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Перевод некоторых из философских глав Изборника 1073 года

Л. 223 б 29 — 224 б 25:

ФЕОДОР, ПРЕСВИТЕР РАИФСКИЙ: О ТЕХ ЖЕ (ПОНЯТИЯХ)

Слова «сущность», — имею в виду само слово и именование, — мы вовсе не обретаем в Божественном Писании. В обычном употреблении слово «сущность» используется для обозначения имущества. Если некто владеет домами, стадами и прочими вещами, то все это называется сущностью (имуществом) владельца. В этом же смысле в просторечии тех, кто имеет все это в изобилии, мы именуем богатыми, то есть многосущными. Потому же в Писании и народ называется избранным, то есть собственным: («Господь избрал...») Израиля в собственность Свою» (Пс. 134, 4), то есть в достояние и обладание¹.

В терминологическом же употреблении слово «сущность» производится от глагола «существовать». И сущностью называется именно (существующая) вещь. Ведь «сущее» есть общее имя для всего существующего. «Сущее» же разделяется на «сущность» и «случайное».

Определяют же «сущность» так: «сущность» есть имя общее и неопределенное, равным образом относящееся ко всем находящимся под ним ипостасям (индивидам) и соименно сказывающееся о них. И (еще): «сущность» есть то, что сказывается о подлежащих ипостасях и умозерцается во всех них равным и одинаковым образом. И (еще): сущность есть вещь самобытная, не нуждающаяся для своего существования в чем-либо другом, то есть существующая в себе, а не в ином, как случайное. Случайное же есть то, что не может существовать в себе, но имеет бытие в другом.

Сущность, тем самым, есть подлежащее, как бы материя вещей; случайное же созерцается в сущности. †

Скажем, имеется тело и форма его. И не тело находится в форме, но форма в теле, ибо тело есть сущность, а форма — случайное.

Подобно и в случае души и мудрости: не душа пребывает в мудрости, но мудрость — в душе. Поэтому и не говорится: тело формы и

¹ Приведенный экскурс имеет смысл лишь применительно к греческому языку.

душа мудрости, но: форма тела и мудрость души. Душа, тем самым, есть сущность, а мудрость — случайное.

При упразднении души упраздняется и мудрость, при упразднении же мудрости душа не упраздняется, ибо душа может быть и без мудрости.

Таким образом, все, что является самоипостасным и в себе, а не

в другом имеет бытие, есть сущность. Сущности же бывают или телесные, или бесплотные. Телесные сущности — это земля, вода, воздух, огонь и то, что составлено из них: камни, растения, одушевленное тело. Бесплотные же сущности — ангел, разумная душа. И все это, как сказано, называется сущностями. Творец же сих — Бог.

Л. 224 б 26—225 г 25:

О ЕСТЕСТВЕ

Естество (природа) есть начало движения и покоя каждого из сущих. В частности, земля обнаруживает движение, прозябая и животворя в плодоношении и пременяясь; покоится же в смысле прекращения от места к месту, оставаясь вовсе неподвижной и не перемещаясь. И вот начало такого движения и покоя, присущее земле существенно, или естественно, а не случайно (акцидентально), и называется природой. Не движение и покой (именуют природой), но начало, [то есть причину, по которой — не случайно, но существенно — сущности движутся и покоятся.

Сущность же, как было сказано, определяют (следующим образом): все, что существует само по себе и для своего бытия не нуждается ни в чем другом. Естество же есть начало существенного движения и покоя каждого из сущих.

Внешние философы говорили о различии сущности и естества. И сущностью они называли бытие вообще, естеством же — сущность, посредством существенных различий окачествованную до уровня вида и соединяющую с бытием вообще качественно определенное бытие: разумное или неразумное, смертное или бессмертное; то есть именно то, о чем идет речь: неизменное и непреложное начало, причину

и силу, вложенную в каждый вид Творцом и определяющую его движение. Ангелам (дарована способность) умозерцания и сообщения друг другу помышлений без помощи изреченного слова; человек же (наделен даром) разума и мышления и сообщения друг другу сердечных помышлений посредством изреченного слова; бессловесным существам (сообщена) жизненная сила и функция ощущения и дыхания; растениям — способность питания, роста и размножения; камням же — возможность нагреваться и охлаждаться, а также инодвижное (пассивное) перемещение с места на место, почему они и называются бездушным естеством.

Таким образом, бытие вообще они (внешние философы) называли сущностью, а то, что (непосредственно) охватывает ипостаси, — естеством.

Святые же отцы, оставив многие сии словопрения, общее и многим высказываемое, то есть низший вид, именовали и сущностью, и естеством, и формой, например, (выражаемое в понятии) «ангел», или «человек», или «лошадь», или «собака» и тому подобное. Ибо и (слово) «сущность» образовано от (глагола) «существовать», и (слово) «естество» — от (глагола) «есть». Но (слова) «существовать» и «есть» означают одно и то же, ибо оба го-

ворят о бытии, существовании. Подобно и «форма» и «вид» означают то же, что и «естество».

Частное (единичное) же они именовали неделимым (индивидом), лицом и ипостасью; например: Петр и Павел.

Ипостась необходимо включает в себя сущность со случайными свойствами, существует сама по себе и воспринимается посредством ощущения, то есть актуально.

Слово «естество» более известно в Писании, где говорится: «...язычники, не имеющие закона, по природе законное делают...» (Рим. 2,14). И (еще): «...заменили естественное употребление противоестественным...» (Рим. 1, 26).

Когда же и еще говорится: «...и были по природе чадами гнева, как и прочие» (Еф. 2,3), то (слово) «естество» используется не в указанном значении. Ведь не таковы мы по природе и сущности, даже если и согрешаем. Но апостол по справедливо-

сти называет здесь естеством утвердившуюся склонность к пороку и застарелое злонаравие, передаваемое от отцов к детям и, можно сказать, по причине укоренения в нас как бы превратившееся в (нашу) природу.

Подобно же следует понимать и сказанное Соломоном: «Подлинно суетны, — говорит он, — по природе все люди, у которых не было ведения о Боге» (Прем. 13,1).

Когда же говорит он: «(Познал я все, и сокровенное и явное), ибо научила меня Премудрость, Художница всего... познать устройство мира и действие стихий, ... природу животных и свойства зверей» (Прем. 7,21. 17. 20), то показывает истинное значение (слова) «естество».

Подобно же глаголет и божественный Иаков: всякое естество бессловесных тварей укрощается естеством человеческим (Иак. 3,7). И Петр: да будете «причастниками Божеского естества» (2 Петр. 1,4).

Л. 225 г 26—226 в 16:

О ИПОСТАСИ

Ипостась есть вещь самобытная и субстанциальная, в которой, как в некоем подлежащем, объективно и актуально существует совокупность случайных свойств.

И слово «ипостась» некоторым образом более известно в (Божественном) Писании. Так, говорит (пророк) Иеремия: кто в совете Господа (Иер. 23, 18)? И апостол (Павел): «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его...» (Евр. 1,3).

Этимологически слово «ипостась» происходит от (слов) «самостоятельное бытие» и «существование».

Полагают, что «ипостась» и «сущность» означают одно и то же. Однако, по точному разумению, между обозначаемыми ими реальностями имеется принципиальное отличие одной по отношению к другой из них. Ведь «сущность» указывает

нечто общее, а «ипостась» — частное.

Например, всем вообще людям присуще общее бытие, ибо все одинаковым образом и «живем и движемся и существуем» (Деян. 17, 28). Однако каждому из нас свойственны некоторые особенности, коими отличаемся от других людей, в частности: место рождения, происхождение, профессия, занятие, обстоятельства жизни и прочее, что и называется случайными свойствами. Именно этим и отличается каждый из нас от прочих людей.

Говорим, например, что Павел — человек, как и все люди. И этим ни он не отличается от остальных людей, ни все иные люди — от него. Однако тем, что он — тарсянин (родом из Тарса), и из колена Вениаминова, и звался и Саул и Павел,

и (был) апостол (Христов), и всем ины, что подобно о нем сказано, этим отличается от других людей. И все это относится к (характеристике) ипостаси.

Одна и та же вещь, например, Павел, в случае, когда принимается во внимание лишь его бытие, назы-

вается сущностью, когда же (бытие) вместе с перечисленными выше (особенностями), тогда — и ипостасью.

Понятие сущности не включает в себя (понятия) ипостаси, понятие же ипостаси целиком включает в себя и (понятие) сущности.

Л. 226 в 17 — г 15:

С Л И Ц Е

Лицо есть то, что посредством своих действий и свойств ясным и определенным образом выделяется относительно одноприродных ему существ.

Например, Гавриил, беседовавший с Богородицей, был одним из ангелов. Будучи же единственно пришедшим туда и беседовавшим, он отличался от единосущных ему ангелов (именно) пришествием на место то и участием в беседе.

И Павел, [когда проповедовал, стоя на лестнице, был одним из множества людей, но своими свойствами и действиями он отличался от прочих людей.

Поскольку знание о чем-либо мы приобретаем через посредство его действий, лицом поэтому называется именно то, что производит действие (действующее).

ВЕРЕЩАГИН Е. М.

ТЕРМИНОТВОРЧЕСТВО КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Много ѡзыска еже обрѣсти словеса...

Среднеболгарский Сборник 1348 г. (Рукописн. отд. Гос. публ. биб-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, шифр F. I. 376), известный как Синодальный или Лаврентьевский, а недавно изданный под именем Сборника Ивана Александра [1], содержит в себе ряд самостоятельных произведений: он открывается пространным Житием Иоанна Милостивого, затем следуют повествования из патерика, после них помещены слова Нила Синайского о пороках, а далее, начиная с листа 93б, читается текст, который и станет предметом настоящего небольшого исследования.

Ниже помещены первые 25 строк этого текста¹; причина подключения греческого соответствия станет ясна из дальнейшего:

- л. 93б 1 Написание о правѣи вѣрѣ. изоу
 ценое костантиномъ блаженымъ фѣ
 лософомъ. оучителемъ о бѣзѣ словѣ
 нскому ꙗзыкоу: —
- 5 Въ имѣ оца и сна и стго дха. коста
 тинъ философъ правовѣрно о исти
 нѣмъ бѣзѣ. оучитель словѣнскыи
 исповѣдоуж подписания. вѣ
 Πιστεύομεν εἰς ἕνα θεόν πατέρα
 роуж бо оубо въ единого ба оца въ
 παντοκράτορα, πάντων ὀρωμένων
- 10 седръжителѣ. вѣлѣмъ видимымъ
 καὶ ἀοράτων ποιητήν τε καὶ κύριον,
 и невидимымъ. творца же и га. бе
 ἄναρχον, ἀράτον, ἀκατάληπτον,
 значална. невидима. неодръжи
 ἀαλλοίωτον, ἀτελεύτητον. Καὶ εἰς
 ма. неизмѣнна. бесконечна. и въ
 ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ,
 единого га ну ха сна едиnorodна.
 ἀνάρχως καὶ ἀχρόνως καὶ πρὸ

¹ При воспроизведении текста предприняты (несущественные для лексикологических разысканий) упрощения: устранены дублетные буквы; не воспроизводится диакритика, хотя титла удержаны; выносные буквы внесены в строку и заключены в круглые скобки, хотя пропущенные под титлами буквы не восстановлены; ѣ, помечаемый уголком, вносится в строку (в круглых скобках); предлог ѿ передается как отъ. В словоделении опираемся на греческий источник.

15 безначално и безврѣменно. и прѣжд(е)
 πάντων τῶν αἰώνων τῆς πατρικῆς οὐσίας ἐκλάμψαντα.
 всѣхъ вѣкѣ. от̄ оца сѣшества всна
 καὶ εἰς ἕν πνεῦμα ἅγιον,
 вина. и въ единъ дхъ стын. исхода
 ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς προῦν, καὶ πατρὶ καὶ υἱῷ
 шъ отъ ба̄ оца единого. и съ оцемъ и сно
 συνθεολογούμενόν τε καὶ συνδοξαζόμενον, ὡς
 мь бгословимыи же и славимы. тако
 συμφρῆς καὶ συναΐδιον.

- 20 съестъствныма и съ нима прѣбываѣ.
 Τριάδα μὲν δοξάζοντες ἰποστάσειν ἦτοι
 тр(о)ицъ оубо славла ипостасми. сирѣ
 προσώποις, καὶ ἐκάστῳ τῶν εἰρημένων
 чь лица. и которагож(д)е отъ реченыхъ.
 ἀμιγῆς καὶ ἀσυγχύτους τηρούντες
 несмѣсна. ниразмѣсна. блюдаи ра
 τὰς ἀφοριστικὰς ιδιότητας, ὡς οὐδαμῶς
 змѣснаа свойства. тако никакоже
 μεταμιπτόσας ἢ κινουμένας. Πατρὶ μὲν

25 прѣлагаемъ и движемъ. ὄчее оубо

Всего в рассматриваемом произведении 374 строки². Текст, исполнен ный чеким уставом,³ хорошо сохранился, — неразборчивых букв немного, и они без труда восстанавливаются.

Драгоценный источник — *Написание о правки вѣрѣ. изоуценое костантиномъ* — дважды указывает на своего автора: в начальном надписании (где Константин-Кирилл назван и Философом, и учителем славянского народа) и в заключении; ср.:

л. 1016 362

сиче азъ
 свож вѣрж исповѣдаж. и съ присным
 моимъ братомъ меоидимъ и пос
 пѣшникомъ въ бжии слоужбѣ.
 въ сеп бо есть спсенье и оупование.
 и сиж прѣдаевѣ своимъ оученикомъ(ъ).

368 да сиче вѣроужче спсѣт сѧ.

Здесь, как видим, поименован второй славянский первоучитель — Мефодий, ближе названный и братом, и поспешником, а также засвидетельствовано наличие общих учеников.

Недвусмысленная связь произведения (представляющего собой по жанру исповедание веры) со звучными именами Кирилла и Мефодия привлекла к нему пристальное внимание палеославистов. Со времени издания (пусть во фрагментах) «Написания» К. Ф. Калайдовичем (в 1824 г. [2]) вышло в свет немало посвященных ему исследований.

Сложилось и закрепилось убеждение, что целый ряд выводов, добытых в ходе полуторавековой научной работы, имеет неколебимый харак-

² К сожалению, в наборном воспроизведении текста К. Кусым [1, с. 178] пропущены три слова (*истинныа помощниця нашеа*), в результате чего с 350 строки начинается неправильный счет, приводящий, естественно, и к неточному общему итогу.

тер, — «... ряд вопросов, связанных с ним (имеется в виду „Написание“ — В. Е.) уже разрешен: вопрос авторства, вопрос древности языка памятника, его содержания, источников, которыми пользовался автор, и др.» [1, с. 141].

Для Куева, как, впрочем, и для Г. А. Ильинского или Ю. Трифонова, «вопрос авторства» безусловно ясен: перед нами подлинный и, самое главное, оригинальный, вполне самостоятельный труд Кирилла. Аналогично высказывается С. Б. Бернштейн: доводы Ильинского и Трифонова, по его мнению, «окончательно решают вопрос в пользу Константина Философа» [3]. Голоса ученых, сомневавшихся в принадлежности «Написания» Кириллу, постепенно стихли. Например, даже принадлежащий к числу скептиков В. Ткадльчик, в отличие от очевидных «отрицателей» А. Воронова и В. Грюмеля, в общем-то признает авторство первоучителя, хотя и с оговорками: первоначальный текст был написан не по-славянски, а по-гречески, да и составлен не на другом месте, а с привлечением обширных выписок из творений патриарха Фотия и его ученика Никиты [4]. Таким образом, хотя и продолжается дискуссия в связи с языком памятника и возможностью компиляции, все же во всех суждениях творческий характер источника, его оригинальность принимаются за аксиому.

Между тем сейчас именно переводной характер «Написания» установлен безусловно. В начале 1986 г. советскому исследователю А. И. Юрченко посчастливилось найти в необъятном море византийской патристической литературы исповедание веры, которое настолько соответствует «Написанию», что происхождение последнего путем точного перевода стало очевидным для каждого. Вот теперь «вопрос авторства» решен окончательно: перед нами перевод символа веры Никифора, патриарха Константинопольского (ок. 758—829), несгибаемого полемиста, сторонника иконопочитания, который получил при своей (очень скорой) канонизации (847) как раз атрибут Исповедника³.

Символ Никифора, переведенный в «Написании» Константина-Кирилла, представляет собой сравнительно большой фрагмент (главы 18—23) пространного сочинения, которое известно под именем *Apologeticus (pro sacris imaginibus)*. В греческой Патрологии Мина [9, т. 100] интересующая нас часть занимает колонки 580 (начиная с литеры D), 581, 584, 585, 588 и 589 (кончая опять-таки литерой D). Выше, воспроизводя по фотокопии 25 строк «Написания», мы над имеющими соответствие строками поместили греческий источник; точно таким же образом А. И. Юрченко и автор настоящей статьи подготовили к изданию и все «Написание».

Теперь прославленное в славистике произведение, несомненно восходящее к переводческой деятельности Кирилла (и Мефодия), стало доступным для сопоставительного (греко-славянского) исследования.

Следующие ниже разыскания посвящены лишь одной из множества возможных сопоставительных тем — практике создания первоучителями славянской научной терминологии. Тема представляется важной и актуальной.

³ Что касается личности и литературного наследия Никифора Исповедника, то см. [5, 6], а также монографию П. Александра [7] и второй раздел в публикации П. С. Чичурова [8]. Прославление Никифора имело место уже во время деятельности славянских первоучителей, так что не зная о Никифоре они не могли; следовательно, нет препятствий, чтобы с доверием отнестись к определенному свидетельству «Написания»: славянский перевод был выполнен Константином-Кириллом. Произведенное А. И. Юрченко отождествление ничуть не снижает ценности источника.

Ее важность мы усматриваем в том, что проникновение в структуру и семантику начальной славянской терминологии позволяет понять и оценить вновь созданный великими солунскими братьями книжно-письменный язык с точки зрения прогресса просвещения и культуры в славянских странах.

Ее актуальность, по нашему мнению, состоит в том, что две конкретных кирилло-мефодиевских традиции терминотворчества, непосредственно рассматриваемые далее, сыграли существенную роль в истории русского литературного языка и продолжают жить в наши дни.

Нам уже приходилось писать, что создание славянской терминологической номенклатуры, адекватно выражающей развитие и уточненные понятия византийской учености, стало едва ли не основной задачей солунской двоицы, причем прямо в момент перевода самой первой фразы. Поскольку славянская терминология создавалась, если выразиться по-современному, в массовых масштабах, Кирилл и Мефодий не могли не выработать ряд повторяющихся приемов терминотворчества. Эти общие приемы — транспозиция, заимствование, калькирование и ментализация — описаны в других работах [10, 11], в том числе и в статье автора, опубликованной «Вопросами языкознания» [12]. Не имея в виду повторений, мы тем не менее укажем на место двух конкретных традиций терминотворчества, к рассмотрению которых переходим, в совокупности общих приемов: они суть частные реализации калькирования⁴.

Итак, сначала рассмотрим обширную группу терминов отрицательной семантики. И без подсчетов легко заметно, что в греческом исходном тексте и соответственно в славянском «Написании» весьма много терминов, выражающих не присутствие какого-либо определенного качества, а как раз его отсутствие. В пределах фрагмента, выписанного нами, встретились: *ὁ πάντων ὁρωμένων καὶ ἀόρατων ποιητής* — *всѣмъ видимымъ и невидимымъ творецъ* (11); *ἄναρχος* — *безначальнъ* (12); второй раз *ἀόρατος* — *невидимъ* (12); *ἀκαταήκτως* — *неодержимъ*; *ἀναλλοίωτος* — *неизмѣннъ*⁵ (13); *ἄτελεύτητος* — *бесконечнъ* (13); *ἄναρχος* — *безначально* (15); *ἀχρόνως* — *безвѣрменно* (15); *ἀμύγη* — *несмѣсьнъ* (23) и, наконец, *ἀσύγχετος* — *неразмѣсьнъ*⁶ (23). Надо к этому прибавить еще и перифрастическое выражение негации: *ὅς οὐδαμῶς μετακλιπούσας ἢ κινουμένας* — *такъ никакоже прѣлагаемъ и движемъ* (24—25). На протяжении всего своего Credo Никифор упорно и настойчиво прибегает к изложению утонченной византийской теологической спекуляции с помощью отрицаний, и славянский переводчик нигде не отстает от него. Напротив, он успешно за ним поспевает, в изобилии создает негативные термины, регулярно обращаясь к приему калькирования. Всего нам удалось наблюдать четыре способа создания славянских терминов негативной семантики.

Во-первых, греческой приставке *ἀ-* в соответствие ставится славянская приставка *не-*: *ἀγενής* — *нерожденъ* (51); *ἀγέννησις* — *нерождение* (26); *ἄγνωστος* — *неизвѣдомъ* (325); *ἀσιαιρέτος* — *нераздѣльнъ* (59); *ἀλιάσπασ-*

⁴ Отсылки к «Написанию» производятся путем указания на строку, номер которой в скобках помещается после славянского термина. Исходные формы слов восстанавливаем обычным способом. Для прилагательных даем ради единообразия краткие формы, хотя в источнике распространены и полные. Вся греческая терминология сверена по Патристическому словарю Лампе [13].

⁵ В исходе краткой формы прилагательных ради единообразия даем *-нъ*, хотя встречаются и написания *-ень*. И в других случаях предпочитаем орфограммы с *ъ* и *ь*.

⁶ Конъектура. В источнике погрешно: *ниразмѣсьнъ*. В другом месте «Написания» (260) *ἀσύγχετος* соответствует *неразмѣсьнъ*.

τος — *неразжпньнъ* (37); ἀκατάληπτος — *неодръжимъ* (12); ἀμερής — *нераздѣльнъ* (37, 48); ἀμετάβλητος — *непрѣложеньнъ* (182); ἀμιγής — *несмѣсьнъ* (23); ἀμόμητος — *непороченьнъ* (107); ἀκαλλοίωτος — *неизмѣньнъ* (13, 138, 214); ἀναμαρτήσια — *несъгрѣшение* (142); ἀνελλιπής — *нескѣдньнъ* (249); ἀνισότης — *неравенство* (79); ἀνόητος — *несъмысленьнъ* (317); ἀόρατος — *невидимъ* (11, 12, 43, 151); ἀπαράλλακτος — *неизмѣньнъ* (114); ἀπαρτρέπος — *неисповръжньнъ* (181); ἀπεριγραπτός — *неописанъ* (217); ἀπεριττός — *неизре(ч) [ь] нъ* ⁷ (109); ἀρρητος — *неизглаголанъ* (325); ἀσέβεια — *нечистъ* ⁸ (94); ἀσεβής — *нечьстеньнъ* (267); ἀόγγυτος — *неразмѣсьнъ* (23, 260); ἀσύμφυτος — *нераздѣльнъ* (261); ἀτελής — *несъврѣшьнъ* (73); ἀτιμητος — *нераздѣление* (55); ἀτρέπος — *непрѣложеньнъ* (139, 212); ἀφρασία — *неистѣхние* (146); ἀφρατος — *неистѣхньнъ* (216); неплѣньнъ (150); ἀφραστός — *неизглаголанъ* (169), *неизре(ч) [ь] нъ* (118, 353). Хотя в большинстве случаев устанавливается одно-однословное соответствие (греческому термину соответствует определенный, и только один, славянский), все же бывает, когда одно и то же греческое слово переводится двумя славянскими (например, ἀφραστός — *неизглаголанъ* и *неизречьнъ*) или же, напротив, когда два греческих слова получают в соответствие одно и то же славянское: ἀκαλλοίωτος и ἀπαράλλακτος — *неизмѣньнъ*, ἀπεριττός и ἀφραστός — *неизречьнъ*, ἀμερής и ἀσύμφυτος — *нераздѣльнъ* и, наконец, ἀτρέπος и ἀμετάβλητος — *непрѣложеньнъ*.

Второй способ создания славянских негативных терминов состоит в использовании приставки *без-/бес-*: ἀθάνατος — *бес[с]ѣмрътньнъ* (217); ἀθεότης — *безбожие* (71); ἀκέφαλος — *безглавьнъ* (265); ἀναρχος — *безначальнъ* (11, 15); ἀτελεύτητος — *бесконеченьнъ* (13) и ἄλρονος — *безвѣрчменьнъ* (15). В «Написании» встречается и еще один термин, входящий в перечисленный ряд, — *бесчлѣтньнъ*, — для которого в греческом источнике не отыскивается соответствия, хотя его в силу широкой известности легко восполнить (ἄσαρκος).

Третий способ заключается в передаче греческой приставки славянским предлогом *безъ* (встречаются написания без *ь*: *без*): ἀνάρχως — *безначала* (197); ἀμήτωρ — *безм[а]тере* (197, 198); ἀνεθέλητος — *безъ хотѣнѣнѣ* (283, 321); ἀνεέργητος — *безъ дѣлѣнѣ* (283, 322); ἀπάτωρ — *безъ [о]тѣца* (198); ἀσπόρος — *безсѣмене* (353). Как видим, этот способ применяется преимущественно (но не исключительно) по отношению к наречиям исходного текста, хотя и отмечается вариативность: ἀνάρχως — *безначально* (15) и *безначала* (197).

Наконец, к четвертой группе терминов мы отнесли те (по механизмам разнородные) случаи, когда греческий термин в славянском тексте получает или описательную передачу, или передается через осмысление или экспликацию, т. е. с переменами в семантике. Ср.: ἀπαθής μὲν ὁ αὐτὸς κατὰ τὴν θεότητα — *не приемлѣ стр(с)ти по бж(с)твоу* (214), здесь ἀπαθής вместо ожидаемого *бесстрастьнѣ* переводится как *не приемлѣ страсти*. Надо признать, что перифрастическое выражение имеет большую определенность, чем калькированный термин, поскольку в нем указано, что имеются в виду извне испытываемые страдания. Аналогичное прояснение смысла (по сравнению даже с греческим источником) наблюдаем еще в одном случае появления в славянском отрицательного описательного оборота: говорится о деве Марии, τῆς κατὰ σάρκα τὸν κύριον ἡμῶν ... ὑπερφῶς τεκο-

⁷ В квадратные скобки заключены восстановленные буквы, в том числе в словах с титлом.

⁸ Греческому существительному соответствует славянское прилагательное.

ὄψης, — *рождьшѣ* по *пльти га ис га ба* нашего ...*безъ всего примышления* (352—354). Обычно ὄψης переводится как *паче естества* (215), но здесь *безъ всего примышления* отчетливо несет на себе отзвуки полемички, возражений тех людей (надо думать: новообращенных), которые не могут вместиť мысль о бесеменном зачатии. К четвертой группе следует, наконец, отнести и славянские переводы способом отрицания греческих терминов, звучащих вполне позитивно, — ἐμμανής — *неистовъ* (318); λῶσα и μαγία — *неистовство* (86, 93); φρενοβλάβος — *безоумьнъ* (255).

Большое количество негативных терминов с Credo Никифора не должно удивлять: византийская теология и философия его времени не только принимала, но и ставила на первое место именно апофатический, отрицательный метод познания, согласно которому непостижимость предмета познания, т. е. божества, предполагает принципиальный отказ от оперирования «земными», человеческими понятиями. Однако, по мнению византийских ученых, если неизбежна ошибка, когда божеству приписываются позитивные качества, то в утверждениях свойств, которые ему не присущи, действительно излагается истина. И при этом нанизывание негативных терминов-определений считается полезным делом, потому что таким образом преодолевается идолопоклонство и — парадокс! — расчищается пространство для конечного положительного познания. Не станем подробнее входить в обсуждение апофатического метода (см. [14, 15]), но все же подчеркнем, что он сопрягается не только с именами (Псевдо-)Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника, Симеона Нового Божослова и Григория Паламы (т. е. сравнительно поздних мыслителей), но и с каппадокийскими отцами. Так, именно Василию Великому (ок. 330—379) приписывается троицная молитва, содержащая апофатическое мышление в наиболее развитом виде: Ἄγραντε, ἀμίαντε, ἀναρ/ε, ἀόρατε, ἀκατάληπτε, ἀνεξιχνίαστε, ἀναλλοίωτε, ἀνυπερέβλητε, ἀμετρητε, ἀνεξιμήκῃ κήριε· ὁ μόνος ἐχων ἀθανασία, φῶς οὐκ ὄντων ἀπόρουτον, т. е. (цитируем по синодальному переводу) «пречисте, нескверне, безначальне, невидиме, непостижиме, неизследиме, непременно, непобедиме, неизчетне, незлобиве господи, един имейи безсмертие, во свете живый непреступном» (12 негативных определений!). Если сравнить терминологию Василия Великого с Credo Никифора, то она в определенной части совпадает. В этом нет ничего удивительного: если истоки апофатического мышления усматривать у Платона, то ко времени Никифора терминологической традиции было более тысячи лет.

На славянской же почве к моменту начала деятельности Кирилла и Мефодия пласта негативных терминов отвлеченной семантики, можно уверенно считать, еще не было. Так, адъективная словообразовательная модель с приставкой *bez-*, безусловно, восходит к праславянскому языковому состоянию, однако при ее помощи возникали производные слова конкретно-бытовой семантики: *bezbordъ* «безбородый», *bezdomъnъ* «бездомный», *bezdzъdzъ* «бездождье» [16], а относительно слов типа *bezdušъnъ* можно предполагать уже старославянскую, а стало быть, и греческую основу. В результате переноса на славянскую почву апофатического метода познания, — а «Написание» свидетельствует нам, что перенос такой начали сами Кирилл и Мефодий, — сложился и закрепился обширный пласт книжных негативных терминов абстрактно-отвлеченного значения.

Следует принять во внимание, что первоучители действовали в духе славянского языка, и они сохранили приставку *bez-*, во-первых, в тех случаях, когда слово уже имелось и могло быть из устной речи привне-

сено в нормированный книжно-письменный язык: ср. *безглавьнѣ*. О внимательности солунских братьев к наличным языковым средствам можно судить хотя бы на примере того, что они в качестве соответствия *φρηγοζ-λαζος* дали *безоумьнѣ* (слово фиксируется для праславянского фонда [16, с. 49]) и не стали выполнять калькирования. Во-вторых, приставка *без-* как исключительно применяемая даже и при калькировании была применена в тех случаях, когда лексическая основа представляла собой существительное: *бессѣмртньнѣ*, *безбожие*, *безначальнѣ*, *бесконечнѣ* и *безвѣкъмьнѣ*. Хотя эти лексемы и отсутствуют в [16], все же можно допустить их бытование и в докирилло-мефодиевское время.

Что касается приставки *не-*, то она по преимуществу участвовала в словопроизводстве от глагольных основ, хотя имеются также случаи отыменного производства: *нечьстьнѣ*.

Пока мы ограничивали себя одним «Написанием». Между тем негативные термины-неологизмы абстрактно-отвлеченной семантики присутствуют и в двух книгах, над которыми Кирилл и Мефодий потрудились в самом начале своей переводческой деятельности, — в Евангелии и в Псалтыри: *безаконие*, *безвѣстьнѣ*, *безгодие*, *безоумьнѣ*, *беспечальнѣ*, *бесчестии*, *бесчьстьнѣ*, *невола*, *невъзблагодатьнѣ*, *невъвозможьнѣ*, *невѣдомѣ*, *невѣрѣе*, *невѣрънѣ*, *недостойнѣ*, *незълоба*, *незълобивѣ*, *нежлочимѣ*, *непорочьнѣ*, *неправда*, *неправдѣнникѣ*, *неправдѣнѣ*, *непрѣподобьнѣ*, *непрѣходьнѣ*, *неразоумивѣ*, *неразоумьнѣ*, *нерѣкотворенѣ*, *нестроение*, *несѣмысльнѣ*, *нечтание*, *нечистота*, *нечьстивѣ*, *нечьстие*, — см. [17]. Конечно, в обеих начальных книгах интересующий нас вид терминов не нашел столь широкого распространения, как в «Написании». И тем не менее его истоки надо усматривать именно в евангельских и псалтырных переводах.

Заложенная Кириллом и Мефодием традиция терминотворчества, впитавшая в себя прогрессивный для их эпохи гносеологический метод, не прерывалась на протяжении 1100 лет и вполне жизнеспособна в наши дни. Нам придется пропустить промежуточные звенья и обратиться прямо к современности. Ниже наудачу приведены некоторые термины, выписанные из пятитомной «Философской энциклопедии» [18], из тематических словарей по эстетике и этике, а также из массового «Атеистического словаря» [19], — безобразное, безусловный (рефлекс), бесконечность, беспредельность, бессмертие, бессмысленное, бессознательное, небытие, независимость, необратимость, необходимость, непогрешимость, непосредственное (знание), сопротивление, непротиворечивость, неразрешимость, несовместимость, несравнимость, нестяжательство, нетерпимость, неявное (определение)... Перед нами (это свидетельствуется источниками отбора) яркие образцы негативных терминов отвлеченного смысла. Мы выписали и привели только заголовочные слова, а негативная терминология, извлеченная из самих словарных статей, а также из словников наших общезыковых словарей, должна пока остаться в картотеке автора, — в рамках журнальной статьи воспроизвести ее невозможно. Рассматриваемая модель словопроизводства весьма продуктивна, она реализуется ежедневно (ср. [20]): бездуховность, безыскусность, неоднозначность, непереносимость, неподдающийся, непредсказуемость, несуетность и т. д.

Конечно, было бы недопустимой натяжкой видеть прямую связь между прилагательными и причастиями «Написания» (*нераздѣльнѣ*, *непрѣложьнѣ*, *неизмѣннѣ*, *несѣврѣшьнѣ*, *бессѣмртньнѣ*, *бесконечьнѣ*...) и современными *нераздельный* (*нераздельность*), *непреложный*, *неизменный*, *несовершенный*, *бессмертный*, *бесконечный*. Семантические различия ис-

ключают любые грубые отождествления. И столь же нетерпимым упрощенчеством было бы не замечать между ними никакой связи. Кирилл и Мефодий, — и это несомненно, — создали не только великое множество конкретных слов для нового книжно-письменного языка, но и ряд традиций терминотворчества. Одну из них — модель префиксального производства негативных терминов абстрактно-отвлеченной смысловой сферы — мы рассмотрели.

Переходим ко второй модели, последней.

В *Credo* Никифора широко используется знаменитый философский термин, известный с античности, — *οὐσία*. Уже и в 25-строчном фрагменте мы его находим: *τῆς πατρικῆς οὐσίας ἐκλόμφαντα* — *отъ оца сщцства въсиавша* (16). В дальнейшем *οὐσία* и ее производные встречаются очень часто (34, 46, 50, 85, 92, 100 и т. д.), а в славянском переводе за ними закрепляются *сщцство* (в значении современного термина) *сущность*, входящего в пару «сущность и явление»), *сщцнѣ*, *сщцествѣнѣ*. Термин является ключевым, поскольку Никифор, в согласии с диктатом жанра, настойчиво и обстоятельно обсуждает природу (= сущность) в целом непознаваемого и все же в меру доступного познанию божества.

Не удивительно, что при этом дискутируются фундаментальные (в том числе и для современной науки) гносеологические вопросы. Так, Никифор излагает взгляд на двуприродность Христа: естественно, он считает, что вторая ипостась Троицы единосущна (*ὁμοούσιος*) первой⁹ и что, следовательно, должно признавать за ней как божественную, так и человеческую природу. Как раз здесь появляется важное гносеологическое различие-уточнение: двуприродность — двуестество Никифор объясняет предельно полной, *κατὰ τὴν τὴν νοούμενον καὶ τὸ φαινόμενον* — *по разумуваемому и по видимому* (209—210). Затем Никифор дает изумительную, особенно с точки зрения филигранной симметрии, характеристику обеих природ, и Кирилл в своем «Написании» проявил себя во всем достойным предшественника. Делом опровергая «триязычников», которые отказывали славянскому языку в способности выразить высокое содержание, он выполнил такой перевод, который ни синтаксически, ни терминологически не хуже византийского оригинала-образца.

Обратим, однако, внимание на другое: на почве «привыкшего к философствованию» греческого языка противопоставление видимого, слышимого, вообще данного в чувствах и понятного, постигаемого, данного только в умозрении уже давно (начиная с Платона, 427—347) сложилось и закрепилось в устоявшихся терминах *τὸ φαινόμενον* и *τὸ νοούμενον*: в славянской же бытовой речи первоучители, конечно, не могли найти адекватных аналогов. Возможно, в «Написании» мы и наблюдаем первый опыт передать по-славянски то гносеологически сверхважное различие, которое и по сей день стоит в центре философской проблематики (как антиномия «сущность и явление») и которому обязаны возникновением немало школ (например, ноуменализм Канта или феноменализм Гуссерля).

В греческом *φαινόμενος* и *νοούμενος* — регулярные причастия (*parti-*

⁹ Напомним о страстной полемике вокруг одной йоты в терминах *ὁμοούσιος* (*подобносщцнѣ*) и *ἰσοούσιος* (*единосщцнѣ*), развернувшейся на I Вселенском соборе (325), когда при содействии императора Константина был принят и введен в обязательный Символ веры второй термин. IV век в патристической науке — время пристального внимания к тончайшим смысловым различиям и соответственно создания весьма дифференцированной терминологической номенклатуры.

сірія) от глаголов φαίνω «быть доступным чувствам» и νοέω «думать, размышлять». В научном (философско-теологическом) языке сложилась модель перевода обиденных причастий в терминированные: для этого причастие, во-первых, вводилось в абсолютное употребление (т. е. переставало требовать после себя определяемое слово, обозначающее предмет — носитель качества); во-вторых, субстантивировалось путем придания артикля; в-третьих, с помощью флексии переводилось в средний род. Например, в словосочетании ὁ φαυλόμενος κόσμος представлено регулярное отглагольное имя в адъективной функции, в то время как τὸ φαυλόμενον — это субстантив. способный во фразе и к самостоятельной роли.

Первоучители полностью перенесли в книжный славянский язык описанную модель, причем отсутствие артикля «компенсируется» использованием полной (и только такой) формы причастия: отсюда два причастия от глагола *видѣти*, из которых *видимо* не субстантивируется и не терминируется, а *видимое* претерпевает и то, и другое. Точно так же образован и парный термин: от *разоумѣвати* — пассивное причастие среднего рода полной формы *разоумѣваемое*.

Случаев реализации той же модели в «Написании» немного, но продуктивности она не идет ни в какое сравнение с моделью производства негативной терминологии. Тем не менее ср.: *ὡς ἐξ αὐτοῦ τοῦ πατρὸς τὸ τε γεννυόμενον καὶ τὸ ἐκπορευόμενον — тако отъ оца едино, раждаемое же и истодимое* (28—29); *τὸ δὲ ἡνωμένον τῇ οὐσίᾳ καὶ θεότητι — съвѣжоупленное сжищствомъ и бж(с)твомъ* (100). В целом же даже при наличии в исходном тексте толчка для субстантивации причастия иногда используются наличествующие средства: *τὸ διακρίμενον ἐνοῦνται τοῦ ἰδιώζοντος — разлжчение примѣшающе къ своиственному* (57—58). Здесь в первом случае вместо ожидаемого *разлжченное* наблюдаем (если только это не порча текста) существительное *разлжчение*, но во втором случае все же дается термин-причастие: *своиствное*¹⁰.

Несомненно, мы видим само создание и начальное функционирование словопронзводной модели, реализация которой в дальнейшем привела к сложению в русском языке математических, логических, грамматических терминов: вычитаемое, слагаемое, умножаемое, делимое; искомое, доказываемое, выводимое; сказуемое, подлежащее, прилагательное, числительное и т. д. Опять-таки высказав предостережение против прямых отождествлений, все же не станем сомневаться: перед нами истоки многих однородных философских, психологических, искусствоведческих, литературоведческих и других научных терминов: безобразное, бесконечное, вероятное, вещественное, внешнее (внутреннее, возвышенное, всеобщее), единичное (особенное, необходимое), случайное, низменное, первичное/вторичное, прекрасное, сверхъестественное, художественное, типическое, комическое, героическое и т. д. и т. д.

Такова вторая модель, рассмотренная на материале «Написания», —

¹⁰ Не следует удивляться тому, что в нашем анализе оказался материал конфессионального свойства. Классики показали, что в эпоху средневековья «во всех областях умственной деятельности» закономерно отмечается «господство богословия» [21], распространявшееся как на светскую литературу, так и на светскую науку. «...церковная догма являлась исходным пунктом и основой всякого мышления. Юриспруденция, естествознание, философия — все содержание этих наук приводилось в соответствие с учением церкви» [22]. Конфессиональное содержание, к счастью, не препятствовало глубокой разработке гносеологических проблем, и тонкая по дифференциации терминологическая номенклатура заимствовалась светской наукой — без малейшего ущерба для нее, но с большой пользой.

модель производства терминов (обозначающих качества) благодаря субстантивации пассивных причастий в полной форме¹¹.

Остается напомнить, что настоящие разыскания стали возможны лишь при наличии греческого текста. Значение отысканного греческого источника «Написания о праѣ вѣркѣ» действительно невозможно переоценить.

«Написание» — это не просто текстологический памятник. Это одновременно памятник-монумент, непреложно свидетельствующий об огромных и вдохновенных трудах по созданию таких славянских средств выражения, которые поставили бы вновь созданный книжно-письменный язык в один ряд с греческим и латынью. И Кирилл, и Мефодий могли бы по праву обратиться к себе сердечный вздох Екклезиаста: *Много възска еже обрѣсти словеса.*

ЛИТЕРАТУРА

1. *Кувев К.* Иван Александровият сборник от 1348 г. София, 1981.
2. Иоанн, ексарх Болгарский. Исследование, объясняющее историю словенского языка и литературы IX—X столетий. Написано Кошетавтином Калайдовичем. М., 1824. С. 87—88.
3. *Бернштейн С. Б.* Константин-Философ и Мефодий. Начальные главы из истории славянской письменности. [М.], 1984. С. 102.
4. *Tkadlčik V.* Das Napisanije o pravěj věrě, seine ursprüngliche Fassung und sein Autor // *Das östliche Christentum. Neue Folge.* Hf. 22. Würzburg, 1969.
5. The Oxford dictionary of the Christian Church / Ed. by Cross F. L. and Livingstone E. A. L., 1974. P. 968—969.
6. *Beck H.-G.* Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München, 1977. S. 489—491.
7. *Alexander P. J.* The Patriarch Nicephorus of Constantinople. Ecclesiastical policy and image worship in the Byzantine Empire. Oxford, 1958.
8. *Чичуров И. С.* Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. М., 1980. С. 145.
9. *Migne J. P.* Patrologia Graeca. P., 1857—1866.
10. *Верещагин Е. М.* Великоморавский этап развития первого литературного языка славян: становление терминологической лексики // Великая Моравия, ее историческое и культурное значение / Отв. ред. Санчук Г. Э., Поулик Й. М., 1985.
11. *Верещагин Е. М.* К дальнейшему изучению переводческого искусства Кирилла и Мефодия и их последователей: Доклад на IX Международном съезде славистов. М., 1982. С. 22.
12. *Верещагин Е. М.* У истоков славянской философской терминологии: ментализация как прием терминотворчества // ВЯ. 1982, № 6.
13. A Patristic Greek lexicon / Ed. by Lampe G. W. H. Oxford, 1976.
14. Культура Византии. IV — первая половина VII в. / Отв. ред. Удальцова З. В. М., 1984. С. 11.
15. *Meijendorff J.* Byzantine theology. Historical trends and doctrinal themes. N. Y., 1979. P. 74.
16. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 2 / Под ред. Трубачева О. Н. М., 1975.
17. *Slovník jazyka staroslověnského.* Praha, 1958.—
18. Философская энциклопедия. Т. 1—5 / Гл. ред. Константинов Ф. В. М., 1960—1970.
19. Атеистический словарь. 2-е изд. / Под общ. ред. Новикова М. П. М., 1985.
20. Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов / Под ред. Котеловой Н. З. М., 1984.
21. *Энгельс Ф.* Крестьянская война в Германии // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 360.
22. *Энгельс Ф.* Юридический социализм // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 495.

¹¹ К этой модели примыкает также субстантивация прилагательных и причастий во множественном числе, причем и здесь терминирующая функция греческого артикля среднего рода *τὰ* восполняется в славянском полной формой. Ср.: *ἀποκατάλλαξις τὰ ἐποικίοντα τοῖς ἐπιγεῖοις* — сѣмьрь ꙗвѣнаа съ земными (229); *τὰ ἀντίθετα* — противнаа (94); *τὰ φυσικά* — своиственнаа (ср. выше ед. число: *своиственное*) (275). Эта модель соотносит термины единственного числа с формами множественного.

КОСЕК Н. В.

К ВОПРОСУ О ТЕКСТОЛОГИИ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИХ ПЕРЕВОДОВ

Исследование проблем славянского перевода евангельских текстов имеет в славистике долгую и плодотворную историю, однако, как показано в сравнительно недавних работах О. Неделькович [1], Р. М. Цейтлин [2], Е. М. Верещагина [3], Л. П. Жуковской [4], А. А. Алексеева [5], в изучении языка и текстологии славянского перевода Евангелия еще немало лакун.

В результате кропотливой и грандиозной работы славистов установлено четыре типа редакции славянского Евангелия [6—7], что значительно упорядочило дальнейшие текстологические исследования, однако не приблизило решения главной задачи — определения характерных черт кирилло-мефодиевского архетипа.

Представления о древнейшей основе текста традиционно связывали с наиболее ранними из дошедших до нас памятников. Однако, как отмечает А. А. Алексеев со ссылкой на А. В. Горского и К. И. Невоструева и в согласии с текстологической концепцией Э. Колвелла [8], в истории славянского евангельского текста мы сталкиваемся с движением текста от меньшей стабильности к большей, и именно это является естественным историческим развитием извода: «лучшие, типичные представители извода образуются через несколько поколений рукописной традиции, а это значит, что самые ранние представители его, так же, как и поздние, отстоят от центра дальше, чем рукописи, находящиеся в хронологической середине традиции» [8, с. 87]. Думается, что для выявления характерных черт архетипа следует обратить особенно пристальное внимание именно на эти типичные изводы, т. е. на евангельские тексты XI—XIII вв., которые дошли до нас в значительном числе списков. Важнейшей задачей при их исследовании является выделение среди массы списков извода отдельных групп текстов, более тесно связанных между собой. Выделение таких групп, на которые естественно распадаются рассматриваемые памятники, даст возможность изучать каждый отдельный текст как элемент текстологической группы [9, с. 20—21].

Известно, что одной из фундаментальных трудностей изучения текстологии славянского Евангелия является отсутствие устойчивых текстологических примет, что характерно для всех памятников с контролируемой текстологической традицией [8, с. 86]. В этой ситуации трудно переоценить значение статистико-текстологического метода, предложенного Э. Колвеллом [9, с. 56—62] и оригинально примененного А. А. Алексеевым к изучению списков славянского перевода «Песни песней» [8, с. 88—90].

Нами сделана попытка применить метод Колвелла для исследования текстологии и языка среднеболгарских евангелий XII—XIV вв.: Врачанского, евангелия Кохно, Добромира, Добрейшева, Тырновского, Ивана Александра, Шафарикова, Одесского 1/98. Для решения текстологических

задач в целях сопоставления мы привлекли к рассмотрению ранние старославянские памятники: Мариинское, Зографское, Ассеманиево евангелия, Саввину книгу, Остромирово евангелие (русский список 1056—1057 гг.); русский полный апракос Мстиславова евангелие; русские церковнославянские тексты: Одесское четвероевангелие 1/88 и Острожскую библию, а также два сербских текста: Никольское и Вуканово евангелия¹. В тексте Банишского евангелия отсутствуют стихи Иоанн 11. 1—24, поэтому мы не могли привлечь к анализу этот интересный среднеболгарский памятник.

Такой отбор материала позволил охватить евангельские тексты основных типов (тетр, краткий и полный апракосы), включив в рассмотрение как важнейшие кодексы старославянского языка, так и памятники русского и сербского изводов.

По методу Колвелла [9, с. 56—62] мы подсчитали число общих чтений для каждой пары текстов на материале 100 узлов разночтений², полученных из чтения на Лазареву субботу (Иоанн 11.1—45). Отрывок И 11.1—45 выбран нами потому, что он сохранился в текстах абсолютного большинства исследуемых евангелий (за исключением Банишского). Отдавая себе отчет в том, что рассмотрение столь ограниченного отрывка в 45 стихов не может быть исчерпывающим для полного текстологического анализа евангельских текстов, мы, однако, считаем, что приведенные нами разночтения, полученные на материале исследуемых памятников, достаточны для достоверных текстологических выводов (см. [8, с. 89]).

На материале отобранных нами 18 памятников выделилось 100 узлов разночтений. Если, например, между двумя евангелиями — Кох и Ник — зафиксировано 22 случая текстологических расхождений (Кох И 11.2: *муромъ*, Ник: *мастию*; Кох И 11.25: *рече же еи ись*, Ник: *рече же ись* и др. под.), то это значит, что между текстами Кох и Ник 78% близости. Подобным образом определялось процентное соотношение текстологической близости между каждой парой исследуемых памятников (цифровые данные представлены в таблице).

Интерпретация полученных статистических данных сводится к следующему.

1. Невысокие в общем числовые показатели количества общих чтений являются признаком сводных (смешанных) редакций большинства рассматриваемых евангельских текстов.

2. Большую текстологическую близость среди исследуемых памятников обнаруживают древнейшие кодексы старославянского языка: Мар, Зогр и Остр, несмотря на естественные различия между ними, связанные с особенностями языка апракоса-тетра [10].

3. Мариинское евангелие стоит в текстологическом отношении довольно изолированно. Кроме отмеченной выше связи с Зогр и Остр кодексами, к нему примыкает древнейший апракос Сав и Ник — сербский тетр XIV в., известный архаичностью своего языка.

¹ В данной статье приняты следующие сокращения: Ас — Ассеманиево евангелие; Врач — Врачанское евангелие; Вук — Вуканово евангелие; Дбрм — Добромирово евангелие; Дбш — Добрейшево евангелие; Зогр — Зографское евангелие; Кох — евангелие Кохио; ИА — евангелие Ивана Александра; Мст — Мстиславова евангелие; Ник — Никольское евангелие; 1/98 — Одесское четвероевангелие болг. ред.; 1/88 — Одесское четвероевангелие русск. ред.; О. б. — Острожская библия; Остр — Остромирово евангелие; Сав — Саввина книга; Три — Тырновское евангелие; Шф — Шафариково евангелие.

² Места расхождения текстов Э. Колвелл называет variation-units, что А. А. Алексеев предлагает перевести словосочетанием «узлы разночтений» [8, с. 88].

8	Мар I	Зогр 2	Остр 3	Ас 4	Кох 5	Ник 6	Мст 7	Сав 8	Врач 9	Вук 10	Шф 11	1/96 12	1/88 13	О. б. 14	Дбш 15	ИА 16	Трн 17	Дбрм 18
I	.	80	72	60	53	67	57	69	51	64	61	60	61	60	42	58	61	45
2	80	.	75	73	67	83	66	63	60	67	67	69	67	68	69	60	67	50
3	72	75	.	60	67	59	71	70	69	68	74	71	74	70	61	68	68	53
4	60	73	60	.	71	72	56	52	47	62	51	40	42	41	47	63	69	61
5	53	67	67	71	.	78	62	57	46	68	53	51	53	50	41	62	43	59
6	67	83	59	72	78	.	59	60	60	58	60	50	48	50	58	58	66	60
7	57	66	71	56	62	59	.	56	62	60	62	56	56	56	50	63	60	35
8	69	68	70	52	57	60	56	.	58	60	57	56	55	55	57	51	57	57
9	51	60	69	47	46	60	62	58	.	56	51	54	55	53	55	54	55	45
10	64	67	68	62	68	58	60	60	56	.	67	67	69	70	70	67	62	48
11	61	67	74	51	53	60	62	57	51	67	.	96	97	97	67	70	63	56
12	60	69	71	40	51	50	56	54	54	67	96	.	97	96	71	70	63	49
13	61	67	74	42	53	48	56	55	55	70	97	97	.	96	69	71	61	50
14	60	68	70	41	50	50	56	55	53	70	97	96	96	.	70	70	61	50
15	42	69	61	47	41	58	49	57	55	70	67	71	69	70	.	45	62	39
16	58	60	68	63	62	58	63	51	54	67	70	70	71	70	45	.	59	50
17	61	67	68	39	43	68	60	57	55	62	63	63	61	61	62	59	.	36
18	45	50	56	61	59	60	35	57	45	48	56	49	50	50	39	50	36	.

Примечание. По столбцам и по строкам расположены данные памятников в одном и том же порядке. Цифры показывают количество общих членений в процентах. Прямые и пунктирные линии обозначают близкие текстовые группы.

4. Ас оказывается текстологически тесно связанным с Зогр и Ник, а также с Кох. Таким образом, среднеболгарский краткий апракос XIII в. — Кох — и сербский тетр Ник сближаются с двумя древнейшими памятниками кирилло-мефодиевского перевода: Ас и Зогр, несмотря на различия их редакций и типов текста.

5. Текст Зогр является связующим звеном между древнейшими старославянскими кодексами Мар, Ас, Остр и Кох, а также Ник, с одной стороны, с другой — явственно прослеживается его связь с большинством поздних тетров: Трн, Дбш, Шф, 1/98, 1/88, О. б.

6. Как видно из таблицы, Остр текстологически насквозь пронизывает почти все рассматриваемые памятники — от древнейших старославянских кодексов до Врач, Трн и ИА, а также поздних тетров, удивительным образом обнаруживая значительную близость с такими далекими друг от друга текстами, как Сав, Мст, Вук и Врач. Только два среднеболгарских тетра — Дбрм и Дбш — оказались исключенными из орбиты влияния Остр, восходя, очевидно, к иной группе текстов.

7. Тексты Трн и ИА сближаются друг с другом, одинаково тяготея к Остр.

8. Почти полное текстологическое совпадение обнаружили поздние тетры Шф, 1/98, 1/88, О. б. (96% — 98%), сближаясь с текстами Трн, ИА и Вук.

9. Поскольку наибольшую текстологическую близость к рассматриваемым евангельским текстам обнаружили Ас, Зогр, Остр, вероятно, именно они (или аналогичные им списки) являются протографами большинства евангелий позднего средневековья, в частности, среднеболгарских евангелий.

10. Данные текстологического анализа, проведенного по методу

Э. Колвелла, показывают, что различие редакций не оказывает существенного влияния на текстологические отношения между памятниками, и, следовательно, не они были решающими при формировании текстового типа того или иного евангелия.

Проведенный статистический — количественный — анализ вскрывает характер текстологических отношений между исследуемыми евангелиями. При всей важности выяснения этих отношений необходимо дополнить полученные цифровые данные содержательным анализом, который должен, с одной стороны, согласоваться с результатами, полученными по методу Колвелла, а с другой — подкрепляться итогами исследования евангелия, имеющего двухсотлетнюю историю.

В частности, любопытной и непредсказуемой оказалась нам отмеченная выше текстологическая близость Остр к среднеболгарским евангелиям. Если учесть, однако, что текстологическую основу дошедшего до нас русского списка Остр составляет старославянский текст, то такая близость кажется вполне оправданной. Кроме того, Остр составлено в значительной степени на основе тетра. Оно, как известно, содержит не только дополнительные чтения по сравнению с Ас, но и имеет много синтаксических оборотов и лексических вариантов перевода тетра [11].

Итоги текстологического анализа иногда могут полностью повторять результаты чисто лексикологических исследований. Так, Фр. Славский, рассматривая лексику четырех древнейших евангельских текстов, восходящих к кирилло-мефодиевскому переводу: Мар, Зогр, Ас, Сав, замечает, что из общего количества 3300 выражений этих четырех памятников почти половину (1542) образуют выражения, общие для всех текстов [12, с. 207]. При этом, если наиболее близкие тетра — Мар и Зогр — имеют 464 общих лексемы, то подключение к ним Ас не влияет существенно на это число — 448 общих лексем [12, с. 208]. Это свидетельствует в пользу исключительной близости трех древнейших евангельских текстов, что подтвердил и статистический текстологический анализ, проведенный нами по методу Э. Колвелла. Кроме того, подключение к этому анализу среднеболгарских евангелий показало, что большинство из них восходит текстологически к этим древнейшим памятникам кирилло-мефодиевского перевода, несмотря на бытование их в качестве текстов с контролируемой традицией, подвергавшихся неоднократно редактированию и «выравниванию» в соответствии с различными греческими рукописями [5, с. 13—15].

Малоисследованный памятник XIII в. — Кох — при применении статистического метода Колвелла обнаружил большую близость к Ас (71%), Зогр (67%), Остр (67%), полностью продемонстрировав, таким образом, свою зависимость от трех памятников, текстологически близких большинству среднеболгарских евангелий. Заметим, что его близость к тексту Ас, а также к Ник была обнаружена еще ранее исключительно на основе анализа лексических различий [13].

Это, с одной стороны, подтверждает достоверность результатов, полученных по методу Колвелла, с другой — реабилитирует многочисленные текстологические исследования, основанные на изучении только лексической стороны евангельских текстов, несмотря на неоднократно высказываемые критические замечания в адрес такого рода исследований.

Богомилское Ник (сербск. ред.) известно своей архаичностью. В его тексте мы находим, с одной стороны, древнейшие лексемы типа *едро* И 11.31, *въ испрь* И 11.41, строевые элементы (частицы, союзы, порядок слов), совпадающие текстологически с Ас (ср. [14]). С другой стороны, в нем имеются лексические инновации, известные и другим средневеко-

вым евангелиям: *мастию* И 11.2, уникальные варианты: *кириѣми* вм. *пукроими* И 11.44, *судариемь* вм. *оуброусомъ* И 11.44 — подобно Дбрм о Кох в отличие от всех остальных. В текстах Кох и Ник находим в Мт 6.30 словосочетание *сѣно зеленое* (так и Банишское ев.) в отличие от более распространенного варианта *сѣно сельное*. Наличие таких общих раритетов при большой текстологической близости (78%) может свидетельствовать как о близких протографах для Кох и Ник, тесно связанных, в свою очередь, с Ас и Зогр, так и о сверке обоих евангелий с одним и тем же памятником, близким к Ас и Зогр. Учитывая принадлежность Кох и Ник, соответственно, к болгарскому и сербскому изводам, можно предположить их правку по одному из евангельских текстов, имевшему хождение в южнославянских странах.

На фоне соотношения большинства анализируемых памятников, максимальная близость между текстами которых не превышает 80% — 83% (Мар — Зогр, Зогр — Ник), ярко выделяются показатели 96% — 98%, характеризующие необычно тесную близость текстов евангелий 1/98 и 1/88 между собой и к тексту Шф, к которым примыкает О. б.

Шф, 1/98 и 1/88 — поздние тетры, относящиеся к XIV—XV вв., Шф и 1/98 болгарской, а 1/88 — русской редакции. Четвероевангелия 1/98 и 1/88 хранятся в Отделе редких книг и рукописей Одесской государственной научной библиотеки им. М. Горького, представлены в обзоре М. М. Кошлыенко и М. В. Рапопорт [15]. Описание Шф дано Г. Поливкой [16]. Текстологически эти три тетра сближает и наличие Предисловий Феофилакта Болгарского, разумеется, с купюрами и некоторыми неизбежными изменениями, не нарушающими, однако, идентичности текста. Как отмечает Г. А. Воскресенский, многие прибавления и отступления от древнейшего текста сделаны в славянских евангелиях по толкованию Феофилакта Болгарского [6, с. 279]. Г. А. Воскресенский подчеркивает большую текстологическую роль толкований Феофилакта Болгарского для евангелий III и IV редакции, замечая: «Как первоначальный славянский перевод Евангелия принесен к нам из южных славянских стран, так с юга же появились в конце XIV и в XV веке исправленные и более однообразные списки Евангелия в его полном виде...» [6, с. 300].

Одним из таких списков и является, без сомнения, рукопись русской редакции 1/88, а ее ранними болгарскими прототипами — Шф и рукопись 1/98, на что однозначно указал статистический анализ по методу Э. Колвелла. Неестественно высокий для евангелий процент текстологической близости (96% — 98%) как нельзя точнее выражает отмечаемую Г. А. Воскресенским о д н о о б р а з н о с т ь списков тетраевангелия. Именно этот тип текста лег в основу печатных изданий, он же представлен в Геннадиевской библии (Синод. — 915) и в известной степени отражен в О. б.

Проведенный нами текстологический анализ показал также, что два памятника — Дбрм и Врач — стоят особняком среди остальных среднеболгарских евангельских текстов. Своеобразие Дбрм и его соотношение с древнейшими старославянскими памятниками подробно описано И. В. Ягичем [17]. Врач, как видно из таблицы, текстологически сближается только с Остр. Близость Врач — Остр частично может быть отнесена за счет общих восточнославянских вкраплений в оба текста. Уместно вспомнить высказывание Б. Цонева о том, что Врач «прошел через русские руки» [18]. Текст Врач — один из среднеболгарских кратких апракосов, который носит на себе следы второй редакции. Известно своеобразие Врач среди всех остальных среднеболгарских евангелий; это же подтвердил и текстологический анализ, выполненный по методу Э. Колвелла.

Рассмотрение ряда текстовых и лексических вариантов Врач убеждает в том, что этот памятник обязан своей уникальностью сверке с какой-либо неканонической греческой рукописью. Так, только, в тексте Врач мы находим вариант *ни рини хлѣба* в Л 9.3, в отличие от *ни пиры. ни хлѣба* Мар Зоґр Ас Остр Ник Сав. В Мст представлен вариант с начальным спирантом: *ни спиры. ни хлѣба*, в Вук: *ни мѣшица*, в Дбрм и Бан: *ни вѣтшица. ни хлѣба*, ИА: *ни пиры*, Трн: *мѣха*, все поздние тетры — *пиры* (как Мар — Зоґр). На славянской почве найти объяснение для выражения *ни рини* не удалось; оставалось предположить его греческое происхождение. Действительно, словарь Лиддела дает для греч. $\rho\acute{\iota}\nu\omicron\varsigma$ под номером 4 значение «кожаная перевязь через плечо» [19], что текстуально вполне соответствует стиху Л 9.3, где речь идет о кожанной суме пилигримов (ср. и семантику приведенных разночтений по евангельским текстам). Таким образом, уникальный вариант Врач: *ни рини хлѣба*. . . (с опущенным *ни*), по-видимому, объясняется обращением к такой версии греческого текста, где в Л 9.3 вм. $\pi\acute{\iota}\rho\alpha$, известного по каноническим греческим текстам, находилась лексема $\rho\acute{\iota}\nu\omicron\varsigma$ с аналогичным значением.

Косвенным аргументом, подтверждающим объяснение варианта *ни рини* прямым греческим заимствованием, может служить и употребление в тексте Врач другого грецизма — *дидаскаль* II 11.28, тоже не известного остальным среднеболгарским евангелиям, но широко употребительного в более поздние периоды, в языке дамаскинов.

Сверка Врач с нетрадиционным греческим текстом легко объясняет также большое количество мелких текстологических несовпадений с другими среднеболгарскими евангелиями, опусок, ошибок и иных отклонений. Так, только в первых шестнадцати стихах из чтения на Лазареву субботу находим следующие индивидуальные варианты текста Врач: *Марѡи* (1), *гла имь* вм. *оученикомь* (7), *искааха тебе иудеи ѡбити* — порядок слов (8), вставка союза *и* перед: *не потѣкнетъ са* (9), отсутствие *ѣко* в (13), вставка *оубо* после *тогда* в (14), вставка *ѣко* после *васъ ради* (15), предложноименная группа *съ оучкы* (16). Всего в проанализированном материале текста Врач находим 12 индивидуальных разночтений.

Индивидуальные разночтения не учитываются в методике Э. Колвелла при общем подсчете узлов, так как они ничего не говорят об отношениях между рукописями; однако при последующем анализе на содержательном уровне они могут оказаться весьма показательными для характеристики обследуемых памятников. В частности, большое количество индивидуальных чтений Врач прекрасно демонстрирует текстологическое несовпадение с другими среднеболгарскими памятниками. Кроме Врач, обилием индивидуальных чтений отличающа следующие тексты: Дбрм — 15, Трн — 12, Сав — 9; обычно же их насчитывается до пяти: Мст — 5, Кох — 4, Мар и Вук — 3, Шф — 2, в поздних тетрах — 1—2.

Отсутствие индивидуальных чтений, уникализмов, естественно, должно рассматриваться как признак выравнивания, редактирования с целью преднамеренной стабилизации текста, что мы и находим в поздних тетрах, «однообразных», по выражению Г. А. Воскресенского.

Более интересно такое отсутствие или очень малое количество текстологических уникализмов в древнейших старославянских тетрах: в Мар, Зоґр, а также в Ас (в отличие от Сав). Это свидетельствует о том, что именно эти или аналогичные, не дошедшие до нас памятники и послужили текстологической основой для большинства исследуемых евангельских текстов или же этими текстами пользовались при редакторской сверке. Толь-

ко Сав из древнейших старославянских памятников дает до вольно много индивидуальных текстовых и лексических вариантов — 9, что легко объясняется ее частично гомилитической основой.

Наибольшее количество индивидуальных чтений находим в тексте Дбрм (15). Это вполне согласуется с результатами текстологического анализа, проведенного И. Добревым [20], давая, таким образом, количественное подтверждение разнотипности текстологической основы этого памятника. О безразличности текста Дбрм к остальным памятникам свидетельствует низкий процент общих чтений с другими текстами, колеблющийся в пределах от 35 до 60. Текстологическая неоднородность Дбрм отмечена И. Добревым [20] и А. А. Алексеевым [21].

Кроме собственно индивидуальных чтений, на наш взгляд, показательным является наличие общих текстовых вариантов, объединяющих два — три памятника на фоне отличных вариантов во всех остальных. Так, текст Дбрм по своим «индивидуально-групповым» различиям совпадает то с архаичным текстом Ник, то с Врач, то с Кох, то с Вук: *видѣвъше же (марч И 11.31 (Дбрм Врач), паде на погоу его И 11.32 (Дбрм Вук), видиши в. оузриши) И 11.40, соударимъ в. оуброусомъ И 11.44 (Дбрм Ник Кох).*

В тексте обследуемых стихов И 11.1—45 мы встретили одно слитное чтение — в Трн: *горѣ въ испрь И 11.41 при въ испрь* Ас Мар Зогр Ник, (*на н̄бо Вук*) и *горѣ Сав Остр Мст Дбрм Дбш Кох ИА Шф 1/98 1/88*. Это является одним из признаков смешанного текста [8, с. 85], что, в частности, неоднократно отмечалось исследователями именно в отношении Трн [17, с. 21].

Следует отметить также, что повторному редактированию мы часто обязаны появлением уникальных текстовых и лексических вариантов. Так, наряду с распространенными вариантами II редакции: *етерь — нѣкто (нѣкыи), муо — масть* и мн. др. в определенных чтениях, мы находим единичные случайные варианты: *въ жидовскоую Мст И 11.7* вместо *въ иудеоу* всех остальных памятников (Трн: *въ ЮдеискѣА*); *вскоре Дбрм И 11.29, скоро Ас Зогр, ѡдро(едро) Мар Ник, бръзо Трн; ѡръ жидовскѣ Вук Л 23.37* вместо *ѡръ* всех остальных; *мѣсто лобное Л 23.33* вместо обычного: *крани-ево* в русском четвероевангелии 1/88 (как и мн. др. русские тексты); *цвѣтъ Трн Мт 6.28, Вук: цвѣтъць, Кох: кринь* с припиской на полях: *цвѣтъць* на месте первоначального варианта *кринь*. Поэтому привлечение к рассмотрению индивидуальных чтений может оказаться особенно важным при решении вопроса о редакции.

Рассмотрение этого фрагмента переводческого наследия славянского евангелия методом, предложенным Э. Колвеллом, привело к следующим выводам.

1. Статистико-текстологический метод Колвелла, построенный на строгом учете количества о б щ и х чтений различных текстов, позволяет выделить естественные текстологические группы среди многочисленных списков памятников, различных по типу и редакциям, что исключительно важно для восстановления истории славянского перевода евангельского текста.

2. Этот метод, однозначно определяя текстологический каркас памятника, помогает при исследовании языка каждого конкретного текста отделить чуждые ему, внешние напластования, проникшие за долгую историю его бытования в результате сверки с различными греческими и славянскими рукописями, редактирования и возможного постредактирования, естественной порчи текста и т. д., устанавливая, таким образом, арсенал

присущих именно ему специфических языковых средств, которые затем легко поддаются системному изучению.

3. Поскольку применение метода Колвелла дает возможность выявить основные текстологические группы Евангелия и их соотношение с остальными текстами, можно предположительно назвать 'памятники, в которых с большей вероятностью следует искать характерные черты кирилло-мефодиевского архетипа.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Недель Ковий О.* Редакције старословенског јеванђеља и старословенска синонимика // Кирил Солунски: Симпозиум 1100-годишнина од смртта на Кирил Солунски. Кн. 2. Скопје, 1970. С. 269—279.
2. *Цейтлин Р. М.* Лексика старославянског јазыка. М., 1977.
3. *Верещанин Е. М.* Из истории возникновения первого литературного языка славян. Кн. 1. М., 1971; Кн. 2. М., 1972.
4. *Жуковская Л. П.* Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976.
5. *Алексеев А. А.* Греческий лекционарий и славянский апракос // *Litterae slavicae mediae aevi.* München, 1985. S. 12.
6. *Воскресенский Г. А.* Характеристические черты четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка. М., 1896.
7. *Сперанский М. П.* Рецензия на труды Г. А. Воскресенского (Отчет о тридцать девятом присуждении наград гр. Уварова) // Зап. Им. АН 1899. Т. III. № 5.
8. *Алексеев А. А.* Проект текстологического исследования кирилло-мефодиевского перевода Евангелия // Советское славяноведение. 1985. № 1.
9. *Colwell E. C.* Studies in methodology in textual criticism of the New Testament. Leiden, 1969.
10. *Horálek K.* Evangeliaře a četveroevangelia. Praha, 1954.
11. *Nedeljković O.* Vukanovo jevanđelje i problem punog aprakosa. Zagreb, 1969. S. 46.
12. *Stawski Fr.* Uwagi o słownictwie Księgi Sawy // *Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr Sławiński.* Warszawa, 1963.
13. *Косец П. В.* Мястото на Коховното евангелие сред другите евангелиски текстове // *Език и литература*, 1983. Кн. 3. С. 21—27.
14. *Jagić V.* Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. 2-te Ausg. Berlin, 1913.
15. *Копыленко М. М., Рапопорт М. В.* Славяно-русские рукописи Одесской государственной научной библиотеки имени А. М. Горького // ТОДРЛ. 1960. XVI.
16. *Polívka Gj.* Bugarsko četverojevangjelje u biblioteci českog muzeja u Pragu // *Starine.* Кн. XIX. Zagreb, 1887.
17. *Jagić V.* Evangelium Dobromiri. II. Lexicalisch-kritischer Theil. Wien, 1898.
18. *Цонев Б.* Врачанско Евангелие // Български старини. Кн. IV. София. 1914. С. 2.
19. *Liddell H. G., Scott R.* A Greek-English Lexicon. T. 1—II. Oxford, 1940. P. 1571.
20. *Добрев Н.* Текстът на Добромировото евангелие и втората редакция на старобългарските служебни книги // Български език. 1979. № 1.
21. *Алексеев А. А.* Опыт текстологического анализа славянского Евангелия (по спискам из библиотек Болгарии) // *Palaeobulgarica.* 1986. № 3.

ГРИНБАУМ Н. С.

ЯЗЫК ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ХОРОВОЙ ЛИРИКИ (к итогом исследования)

Дешифровка крито-микенских надписей XV—XIII вв. до н. э., осуществленная более тридцати лет тому назад английским исследователем М. Вептрисом, позволила ввести в научный оборот новый архаический письменный памятник древнегреческого языка [1]. Это открытие, знаменательное само по себе [2, с. 42], оказало и продолжает оказывать благоприятное влияние как на развитие греческого языкознания, так и литературоведения [3, с. 200—206]. Основной «удар» пришелся по Гомеру, его поэмы оказались на 500—700 лет моложе крито-микенских писем [4, с. 91]. И хотя крито-микенские надписи — не поэтические сочинения, а образец прозаического канцелярского стиля [4, с. 87], близкого к разговорной греческой речи [5, с. 7—28], их открытие означало, что многовековое монопольное положение произведений Гомера как наиболее древних греческих текстов оказалось поколебленным. Ученые и раньше не сомневались, что существовали поэты и до Гомера, однако это была все же гипотеза, не подтвержденная конкретными доказательствами.

После прочтения крито-микенских надписей ситуация коренным образом изменилась. Дело не только в том, что в них было обнаружено несколько десятков слов, встречающихся позднее у Гомера [6, с. 116—122]. Дешифровка убедительно подтвердила, что за несколько столетий до появления его поэм существовала греческая культура со своей письменностью и, что не менее важно, по-видимому, и со своей поэзией [4, с. 102]. Получила ли она уже тогда свое письменное оформление, что остается сомнительным, или культивировалась в фольклорном, устном исполнении, — не столь уже важно. А коль скоро она существовала, то, во-первых, у эпической поэзии могли быть и, несомненно, были свои предшественники и, во-вторых, равным образом могли быть представлены, наряду с эпикой, и другие виды поэтического творчества.

Появились в печати работы, авторы которых стремятся обнаружить в крито-микенских текстах истоки эпической традиции [7—9]. Некоторые исследователи склонны пересмотреть вопрос о безусловной зависимости и ряда других литературных жанров греческой литературы от Гомера. В частности, хоровая лирика могла восходить не непосредственно к гомеровской, а к догомеровской поэтической традиции [10, с. 9—10]. В последнее время к этой же мысли пришли ученые, занимающиеся ранней лирикой¹, трагедией [12, с. 15], историей эпитафий². В то же время продолжают

¹ В. Н. Ярхо указывает на самостоятельность раннегреческой лирики и ее независимость от эпоса [11, с. 30].

² «В то же время, — отмечает Н. А. Чистякова, — при первом знакомстве с ранними метрическими надписями VII—III вв. до н. э. в них обнаруживались следы некоего общепозитического наддиалектного языка, уводящего за гомеровскую поэзию» [13, с. 197].

встречаться высказывания, резко отрицающие всякие попытки «умалить» роль и значение Гомера как основного источника всей позднейшей греческой литературы. А. И. Зайцев, например, считает попытку вывести гомеровский язык и язык хоровой лирики к общему источнику микенской или домикенской эпохи «ошибочной». «Мы полагаем, — пишет он, — что ошибочными являются все попытки преуменьшить значение гомеровской поэзии для формирования греческой лирики и искать ее корни в какой-то иной фольклорной традиции» [14, с. 168].

В этих условиях представляется целесообразным еще раз вернуться к рассмотрению проблемы языка древнегреческой хоровой лирики, суммируя как ранее высказанные соображения, так и результаты последующих изысканий. Такое рассмотрение важно с точки зрения оценки поступивших в наше распоряжение новых научных данных и в плане определения их методологической значимости.

Хотя хоровая лирика как литературный жанр появляется в Древней Греции в послегомеровский период (примерно в VII—VI вв. до н. э.), а достигает расцвета в V в., нет сомнения, что хоровые песни относились к древнейшему виду народного поэтического творчества. На это указывают три обстоятельства. Во-первых, их теснейшая связь с культом и обрядом, потребности которых ими главным образом и обслуживались [15, с. 89]. Во-вторых, коллективный характер исполнения хоровых песен, сопровождаемый ритуальной пляской и сочетающий слово с музыкой. В-третьих, неоднократное упоминание Гомером отдельных видов хоровой лирики, исполнявшихся ахейцами, троянцами и феакийцами. Четырежды описывается им «плач»: Фетида и Нереиды, Ахилл и его люди оплакивают смерть Патрокла (Ил. 18.50—51; 314—316), троянцы — смерть Гектора (Ил. 24.723), Музы — смерть Ахилла (Од. 24.60). Молодые ахейцы поют гимн Аполлону (Ил. 1.472—474), исполняют пеан после гибели Гектора (Ил. 22.391). На щите Ахилла изображена сцена исполнения гимenea (Ил. 18.493). Песня феакийских девушек (Од. 6.101) напоминает позднейший парфений.

По вопросу о том, на каком диалекте сочинялись древнегреческие хоровые песни, высказывались различные, нередко противоположные точки зрения. Одни полагали, что в его основе лежит эпический диалект, т. е. язык Гомера. Это мнение, высказанное впервые в начале XIX в. К. Германном [16, с. 247], продолжало поддерживаться некоторыми исследователями еще совсем недавно [17, с. 89]. Другие утверждают, вслед за Г. Аренсом [18, с. 40], что хоровая лирика создана дорийцами и дорийский диалект составляет его базу [19, с. 163]. Однако верх взяло мнение, в соответствии с которым диалект хоровой лирики неоднороден и состоит из трех составных частей: дорийской, эпической и эолийской [20, с. 4]. И здесь выявились два подхода. Первый провозглашал эту диалектную смесь искусственной, созданной самими поэтами [21, с. 385]. Второй объявил смешение диалектов в хоровых песнях отражением объективно сложившегося процесса [22, с. 343].

Предпринятое нами изучение фонетико-морфологической структуры языка хоровых лириков дает основание утверждать, что мы имеем дело со своеобразным наддиалектом, не совпадающим ни с одним из известных нам греческих территориальных говоров [23, с. 266—274].

Процесс создания поэтических жанров древнегреческой литературы и их языков был тесно связан с историческим развитием Греции на разных его этапах, с одной стороны, и с диалектными, географическими и демографическими условиями, с другой [24, с. 110—111]. В итоге их взаимодействия и взаимодействия возникли разные типы наддиалектных образова-

ний, представлявших базу формирования жанровых литературных языков. Первый из них связан с островным и малоазиатским ареалом и представлен эпической поэзией, лесбосской меликой и ионийской лирикой. Второй имеет отношение к Аттике и Сицилии и представлен драматическим жанром трагедии и комедии. И лишь у хоровой лирики нет особых связей ни с одним центром Древней Греции, а ее представители мы находим на всей греческой территории. Не увенчались успехом попытки увязать ее происхождение со Спартой [25, с. 7], с Беотией [26, с. 49—60].

Предпринятое мною вслед за обстоятельным анализом языка Пиндара изучение в сопоставительном плане языка других видных представителей греческой хоровой лирики, а именно Алкмана, Стесихора, Симонида и Вакхилида, выявило общую диалектную базу при второстепенных расхождениях [27]. В частности, встречающиеся у Алкмана отклонения в виде дорийских и лаконских элементов являются отражением местной диалектной среды. У Виламович высказал мнение, что, несмотря на определенные индивидуальные отличия, язык хоровой лирики представлял собой единое целое [28, с. 96]. Основные фонетико-морфологические модели совпадают у всех хоровых лириков и были несомненно унаследованы ими по традиции. Трудно согласиться с утверждением В. Нестле о паличии доризирующей тенденции в хоровой поэзии [29, с. 59]. Предпочтительнее определить эту тенденцию как архаизирующую и видеть в ней стремление поэтов воспользоваться кое-где старинными формами, вышедшими из обиходного употребления [30, с. 37]. А. Мейе писал: «Что касается хоровой лирики, которую принято считать дорийской, то хотя она создавалась для дорийцев, она не была их творением» [31, с. 148]. Добавим от себя, что хоровые песни создавались не для одних дорийцев, они исполнялись в материковой Греции и на греческом Западе для участников всегреческих и местных празднеств во всех уголках страны. У нас есть все основания предположить, что базой языка хоровой лирики была эолийско-протоионийская койне с западногреческой прослойкой [32, с. 29].

Язык греческой хоровой лирики, как и сам этот архаический поэтический вид песнопений, сложился задолго до Гомера еще в дорийскую, надо полагать, эпоху [33, с. 4]. Он возник на базе реально существовавшего и исторически сформировавшегося языка микенского периода так же закономерно, как впоследствии, хотя и при других обстоятельствах, это случилось с языком гомеровского эпоса [34, с. 9]. Некоторое представление об этом древнейшем языке дают нам в настоящее время крито-микенские тексты. Они были написаны на южной разновидности микенской койне [35, с. 173—187], в основе которой лежали ахейско-протоионийские явления с определенной прослойкой аркадско-кипрского и местного субстрата Пелопоннеса и Крита [36, с. 78—86]. «Микенский» как наддиалектное образование не оставил после себя прямых «наследников» в позднейший период и исчез вместе с исчезновением микенского общества.

Однако в микенскую эпоху существовала также и поэтическая койне, возвышавшаяся в качестве наддиалектного образования над обиходными диалектами того времени [4, с. 101]. Можно предположить, что именно она, сохранившись на греческом Западе, стала основой эпических и хоровых песен Стесихора [37, с. 302]. «Додорийская Греция с ее „ахейскими“ государствами, — писал И. М. Троицкий, — была едина и в экономическом, и в культурном отношении, и единому наддиалекту хозяйственных записей Кносса и Пилоса, Микен и Фив соответствовал, вероятно, несколько особый, но столь же единый наддиалект устной поэзии» [4, с. 131]. Отмечая, что поэтическая разновидность греческого языка микенской эпохи может

быть восстановлена только гипотетически. И. М. Тронский подчеркивал, что «гипотеза эта является основополагающей для истолкования всего последующего процесса развития греческих литературных языков, начиная с гомеровского» [4, с. 133].

Поэтический диалект микенской эпохи отличался значительно большим, по сравнению с отраженным в крито-микенских надписях, богатством и разнообразием выразительных средств, закрепленных многовековой традицией. Он был связан, как показали наши исследования, не с южным, как крито-микенские тексты, а с северо-восточным ареалом архаической Греции, прежде всего с Фессалией и островом Лесбос³. Лишь в надписях этого региона нам удалось обнаружить в совокупности такие характерные для хоровой лирики и эпической поэзии языковые явления, как окончания род. падежа ед. числа-οιο, -οο и мн. числа -ου, -οων; дат. падеж на -οοσι, глагольные формы 3-го л. мн. числа на -ουσι и -οισι, причастие жен. рода на -οισα и перфектное причастие на -ου, атематические инфинитивы на -μεν и -εμεν, инфинитив εμμεσι, личное местоимение εμμε и др. [10, с. 147—157, 276—278]. Диалектную базу поэтической микенской койнэ составляет, надо полагать, ахейско-протоионийский, с одной стороны, и эолийский, с другой⁴. Именно эти диалекты с соответствующими, разумеется, модификациями лежат в основе языка послемикенской поэзии, и прежде всего ее двух ведущих ответвлений — хоровой лирики и эпоса [39, с. 221].

Вторжение в конце II тысячелетия до н. э. дорийских племен в центральную и южную Грецию оттеснило ее прежних жителей с насиженных мест и привело к изменению языковой ситуации на ее территории [40, с. 50—51]. Было нарушено создавшееся веками общественно-политическое и культурно-религиозное единство и резко сузилась сфера употребления архаического греческого языка в его устном наддиалектном варианте. Он продолжал тем не менее еще долго сохраняться в живом употреблении во многих древних, прежде всего культовых центрах.

Вместе с тем получили свое дальнейшее развитие хоровые песни, сложившиеся на базе поэтического наддиалекта микенской эпохи. Хоровая лирика, превращаясь в литературный жанр, продолжала пользоваться унаследованной от прошлого общепоэтической языковой основой.

Впоследствии, в классический период, эти древние связи языка хоровой лирики с микенским поэтическим наддиалектом были полностью забыты. А так как дорийский диалект сохранил столь заметный признак архаического вокализма, как долгая α ряд языковых архаизмов, а также в связи с тем, что хоровые песни пользовались у дорийцев особым вниманием, греческие комментаторы и грамматисты стали определять их язык как дорийский. Эта версия продержалась, как отмечалось выше, вплоть до наших дней [41, с. 26].

Предположение о реальном существовании в ранней Греции языковой среды, послужившей основой для формировавшегося языка хоровой лирики, привело нас к поискам ее следов в эпиграфическом материале. Наши разыскания показали, что в прозаических надписях VI — III вв. до н. э. ряда древнейших центров материковой Греции, а также на окраинах греческого мира сохранились языковые элементы, характерные и для языка хоровой лирики, в том числе и не встречающиеся у Гомера. Выяснилось,

³ Аналогичной точки зрения придерживается итальянский исследователь В. Павезе [38, с. 164].

⁴ В. Шмид и О. Штелин отмечают, что возникновение греческой литературы связано с эолийской и ионийской областью заселения [30, с. 39].

что общие языковые явления представлены, с одной стороны, в областях Греции, не подвергшихся дорийскому вторжению (Аттика, Аркадия, Пеллагиотида — на материке, М. Азия и Египет — на окраине), и, с другой, на территориях, оккупированных дорийцами (Фокида, Арголида, Крит, Великая Греция): здесь они связаны с додорийским языковым слоем. Наиболее показательными являются в этом плане надписи городов Ларисы (Фессалия), Афин и Элевсина (Аттика), Тегей и Мантиней (Аркадия), Дельфов (Фокида), Аргоса и Эпидавра (Арголида), Гортины (Крит); Теоса, Милета и Эфеса (М. Азия); Гераклеи (Великая Греция) [42, с. 24—43]. Приведенные выше данные говорят не в пользу дорийской диалектной основы языка древнегреческой хоровой лирики. К сказанному можно добавить, что и само понятие дорийской диалектной базы трактуется исследователями по-разному. Одни видят в ней дорийский диалект Пеллопоннеса, другие — искусственный литературный диалект, на котором никто не говорил [43, с. 13]. Ни те, ни другие не подкрепляют своих гипотез убедительными доказательствами.

Заслуживает внимания отражение лексики хоровой лирики в надписях. В отличие от фонетико-морфологических элементов эта лексика явно преобладает в эпиграфическом материале центральной Греции — в Аттике, на Эвбее и в Арголиде, а также в окраинных областях греческого мира — в Египте, Малой Азии и Великой Греции. Можно предположить, что в центральной части греческого материка поэтический язык, принесенный сюда с севера, получил свое дальнейшее развитие. Здесь он мог значительно обогатиться за счет более развитой в лексическом отношении языковой среды. Что касается Египта, Малой Азии и Великой Греции, то сюда он был, по-видимому, занесен выходцами из греческого материка, потесненными надвигнувшимися на них пришельцами.

Наличие в ряде областей Греции прозаических надписей, в которых удалось обнаружить фонетико-морфологические и лексические особенности, свойственные языку хоровой лирики, показывает, что мы имеем дело с отражением в нем закономерностей, реально существовавших и объективно сложившихся в ходе исторического развития греческих диалектов, а не с плодом поэтической выдумки и личного творчества представителей рассматриваемого нами жанра.

На протяжении нескольких последних лет мною изучалось соотношение лексики хоровой лирики, и в частности у Пиндара, с лексикой других основных жанров греческой литературы. Меня интересовал вопрос, есть ли действительно основание для утверждения, что Гомер оказал на Пиндара решающее влияние. Был подвергнут анализу один из основных слоев поэтической лексики Пиндара — имена существительные. Выяснилось, что из общего числа рассмотренных слов, которое составило 1491 единицу, наибольшее их количество представлено в греческой трагедии (особенно в лирических партиях) — 948 — и наименьшее — 752 — в гомеровском эпосе. Для сравнения можно указать, что в ранней лирике обнаружено 809 общих слов, в исторической прозе — 767 и в философской — 754. Если в трагедии отсутствуют 243 слова, имеющиеся у Пиндара, то негомеровских слов насчитывается у него 439. Следует при этом заметить, что «гомеровские» слова обозначают наиболее обиходные и употребительные понятия. В то же время слов, представленных только у Гомера и Пиндара, — немного, всего 22, а у Пиндара и в трагедии — 36. Гапаксов насчитывается всего 72. Нельзя в связи с этим не присоединиться к словам В. Н. Ярхо: «Если какое-то слово, встречающееся впервые у Гомера, затем обнаруживается у Геродота и в эпиграфических документах, в аттической лите-

ратуре и в новозаветной прозе, то не значит ли это, что оно присутствовало в греческом языке на протяжении столетий и что послегомеровские авторы, как и Гомер, пользовались неким общим лексическим фондом, совершенно не нуждаясь в посредничестве эпоса?» [44, с. 30].

Сравнение произведений Гомера и Пиндара в плане употребления общих композитов, проведенное нами раньше, показало, что из 802 встречающихся у Пиндара композитов представлены у Гомера — 123 (15%), а в трагедии, особенно в хоровых партиях — 222 (28%). Пиндаровских гапаксов насчитывается при этом 273 (34%). По числу общих композитов наиболее близкими к Пиндару оказались также Еврипид (125) и Эсхил (121).

Сопоставление пиндаровских композитов-гапаксов с соответствующими гомеровскими и крито-микенскими именами также подтверждает, что у языка хоровой лирики могла быть и своя собственная поэтическая традиция, более древняя, чем гомеровская. Доказательством тому служит, как нам представляется, наличие у Пиндара композитов с первыми составляющими *πλα-*, *πεισι-*, *ῥσι-*, встречающимися у Гомера лишь в собственных именах, и композитов с отсутствующими у Гомера, но представленными у Пиндара и в крито-микенских текстах глагольными основами *ἀαξι-*, *ἀεξι-*, *μυσι-*, *ῆρασι-*, *ἀγῆσι-*, *φιλῆσι-* [45, с. 75—86].

Рассмотрение 615 пиндаровских имен на *-τηρ*, *-μα*, *-υα* и др. показало, что наибольшее их число встречается у Еврипида (280), Гомера (271) и Эсхила (247), в том числе сложных: 52 у Еврипида, 48 — у Гомера и 45 — у Эсхила. Отсюда вытекает, что нет оснований говорить в этом плане об особом месте Гомера. Показательно, что в процентном отношении число пиндаровских простых имен, встречающихся уже у Гомера, значительно больше, чем число сложных имен (свыше 50% в первом и около 25% — во втором случае). Вряд ли может идти речь и в этой группе слов о заимствовании.

Примерно такая же картина вырисовывается при анализе 534 пиндаровских глаголов на гласные (*-αω*, *-εω*, *-οω* [46, с. 68—80] и согласные (*-ξω*, *-υω*) основы. Общих для Гомера и Пиндара глаголов оказалось 334, для Пиндара и Еврипида — 331. Новыми по сравнению с Гомером оказались 200 глаголов. По числу простых глаголов Гомер (238) находится на уровне трагиков Еврипида (234) и Софокла (230), по числу сложных глаголов — на первом месте находится Геродот (общих глаголов с Пиндаром — 108), за ним следуют Еврипид (97) и Гомер (96).

Подводя итог сопоставительного изучения лексики хоровой лирики (Пиндар) с лексикой других жанров греческой литературы, мы должны констатировать преимущественную близость Пиндара к трагедии (хоровые партии). Это подтверждает не только их жанровую общность, но и, по-видимому, общность происхождения. Вместе с тем мы должны отметить, что приписывать Гомеру главную и особую роль в воздвигении на хоровую лирику и в лексическом плане у нас нет никаких оснований⁵.

В заключение можно сформулировать следующее.

1) Язык хоровой лирики выделился из поэтического наддиалекта микенской эпохи и продолжал свое дальнейшее существование как самостоятельно, так и в греческой трагедии. 2) Диалектной базой этого языка была эолийско-протоионийская койнэ. 3) В развитии хоровой лирики продолжалась собственная многовековая традиция, независимая от эпичес-

⁵ Высказанное А. И. Зайцевым утверждение о «колоссальном» влиянии эпоса «на греческую литературу» [14, с. 169] следует признать явно преувеличенным.

кой. 4) Лексическая общность хоровой лирики и гомеровского эпоса является не следствием заимствования, а восхождения обоих жанров к общему архаическому источнику додорийской эпохи.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ventris M., Chadwick J.* Documents in Mycenaean Greek. Cambridge, 1973.
2. *Лурье С. Я.* Язык и культура микенской Греции. М. — Л., 1957.
3. *Гринбаум Н. С.* Микенологические исследования (1973—1977) // ВДИ. 1982. № 2.
4. *Тронский И. М.* Вопросы языкового развития в античном обществе. Л., 1973.
5. *Risch E.* Il miceneo nella storia della lingua greca // Quaderni Urbinati di cultura classica. 1976. № 23.
6. *Chadwick J.* Mycenaean elements in the Homeric dialect // Minoica. Festschrift Sundwall. Berlin, 1958.
7. *Ruijgh C. J.* L'élément achéen dans la langue épique. Assen, 1957.
8. *Webster T. B. L.* From Mycenae to Homer. L., 1958.
9. *Durante M.* Sulla preistoria della tradizione poetica greca. Roma, 1971.
10. *Гринбаум Н. С.* Язык древнегреческой хоровой лирики (Пиндар). Кишинев, 1973.
11. *Flöte und Harfe, göttlicher Widerhall.* Frühgriechische Lyrik / Hrsg. von Jarcho V. Leipzig, 1985.
12. *Ярхо В. Н.* Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М., 1978.
13. *Чистякова Н. А.* Греческая эпиграмма VIII—III вв. до н. э. Л., 1983.
14. *Зайцев А. И.* Культурный переворот в Древней Греции VIII—V вв. до н. э. Л., 1985.
15. *Тронский И. М.* История античной литературы М., 1983.
16. *Hermannus C.* Opuscula. V. I. Lipsiae, 1827.
17. Античная литература / Под ред. Тахо-Годи А. А. М., 1986.
18. *Ahrens H. L.* De Graecae linguae dialectis. V. II. Cotingae, 1843.
19. *Радциг С. И.* История древнегреческой литературы. М., 1977.
20. *Audouin E.* Etude sommaire des dialectes grecs littéraires. P., 1891.
21. *Croiset A.* La poésie de Pindare et les lois du lyrisme grec. P., 1895.
22. *Sinko T.* Literatura grecka T. I. Kraków, 1931.
23. *Гринбаум Н. С.* Дialeктная база языка Пиндара // Античное общество. М., 1967.
24. *Гринбаум Н. С.* Ранние формы литературного языка (Древнегреческий). Л., 1984.
25. *Bowra C. M.* Greek lyric poetry. Oxford, 1936.
26. *Führer A.* Der böotische Dialekt Pindars // Philologus. 1885. V. 44.
27. *Гринбаум Н. С.* Язык древнегреческой хоровой лирики (Алкмац, Стесихор, Спмонид, Вакхилид). Тбилиси, 1986.
28. *Wilamowitz-Moellendorf U. von.* Pindaros. Berlin, 1922.
29. *Nestle W.* Geschichte der griechischen Literatur. Bd. I. Berlin, 1942.
30. *Schmid W., Stählin O.* Geschichte der griechischen Literatur. Bd. I. München, 1959.
31. *Meillet A.* Aperçu d'une histoire de la langue grecque. P., 1965.
32. *Гринбаум Н. С.* Язык Пиндара (Фонетико-грамматический анализ и проблема диалектно-территориальной базы): Автореф. дис. . . . докт. филол. наук. М., 1969.
33. *Zarncke E.* Die Entstehung der griechischen Literatursprachen. Leipzig, 1890.
34. *Robert F.* La littérature grecque. P., 1958.
35. *Robert F.* La poésie créto-mycénienne // Etudes mycéniennes. P., 1956.
36. *Гринбаум Н. С.* Крито-микенские тексты и древнегреческие диалекты // ВЯ. 1959. № 6.
37. *West M. L.* Stesichorus // The Classical Quarterly. 1971. V. XXI. No 2.
38. *Pavese C. O.* La lingua della poesia corale come lingua d'una tradizione poetica settentrionale // Glotta. 1967. V. 45.
39. *Vjörck G. B.* Das alpha impurum und die tragische Kunstsprache. Uppsala, 1950.
40. *Блаватская Т. В.* Греческое общество второго тысячелетия до новой эры и его культура. М., 1976.
41. *Широков О. С.* История греческого языка. М., 1983.
42. *Гринбаум Н. С.* Язык древнегреческой хоровой лирики как исторический источник // ВДИ. 1974. № 4.
43. *Buck C. D.* The Greek dialects. Chicago, 1955.
44. *Ярхо В. Н.* О некоторых так называемых гомеризмах в древнегреческом языке // ВДИ. 1973. № 3.
45. *Гринбаум Н. С.* Крито-микенские тексты и язык древнегреческой хоровой лирики (Пиндар) // Studia Mycenaea. Brno, 1968.
46. *Grinbaum N. S.* Pindars Lexik. Die α-, ε-, ω- Verben // Aischylos und Pindar. Berlin, 1981.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ ОБЗОРЫ

С 31 июля по 7 августа 1987 г. в Таллине проходил XI Международный конгресс фонетических наук (*International Congress of Phonetik Sciences*), наиболее представительное собрание, которое объединяет специалистов, изучающих звуковые средства языка¹. Инициативный орган организации конгрессов — Постоянный совет, президентом которого является П. Л а д е ф о г е д (США). Совет включает специалистов из разных стран (всего 38 членов, из них четыре — Т. В. Гамкрелидзе, Т. М. Николаева, М. Н. Реммель, Л. А. Чистович — из СССР). Члены совета являются одновременно и членами одного (или обоих) из двух международных фонетических объединений — Международной фонетической ассоциации (IPhA) и Международного общества фонетических наук (ISPhS), что обеспечивает связь между всеми тремя международными объединениями.

Для организации очередного конгресса в каждой из стран-«хозяев» был создан Организационный комитет. В СССР этот комитет возглавил Т. В. Г а м к р е л и д з е, председатель Комиссии по фонетике и фонологии при ОЛЯ АН СССР. В комитет вошли многие из членов этой Комиссии, а также эстонские коллеги, взявшие на себя нелегкий труд по подготовке и организации конгресса, в работе которого участвовало более семисот человек (из них советских ученых — около 200).

Открывая конгресс, президент Оргкомитета Т. В. Г а м к р е л и д з е сказал:

Уважаемые коллеги, участники XI Международного конгресса фонетических наук, дамы и господа!

Для меня как для президента этого конгресса является большим удовольствием и высокой честью объявить об открытии XI Международного конгресса фонетических наук в Таллине.

Впервые со времени своего создания Международный конгресс фонетических наук проводится в Советском Союзе, являясь наиболее крупным и важным международным форумом лингвистов, когда-либо проводившимся в нашей стране. Этот конгресс является также более значительным, чем все его предшественники, объединяя весьма широкий спектр дисциплин, связанных с исследованием речи. Особенное удовольствие и удовлетворение доставляет нам то, что это важное международное событие проходит в Таллине, столице Советской Эстонии, известной своими большими научными традициями. То, что конгресс проходит в СССР, предоставляет большому числу советских лингвистов и фонетистов весьма благоприятную возможность встречи со своими коллегами и оппонентами со всех концов света, а также возможность совместного обсуждения интересующих их научных проблем, способствуя тем самым развитию нашей науки.

Первый международный форум подобного рода под названием, которое мы сохраняем до сегодняшнего дня — «Международный конгресс фонетических наук», — состоялся в Амстердаме в 1932 г. 55 лет минуло с той поры, и исследование речи за этот более чем полувековой период достигло впечатляющих успехов и важных дости-

¹ Предшествующие конгрессы: Амстердам — 1932, Лондон — 1935, Гент — 1938, Хельсинки — 1961, Мюнстер — 1964, Прага — 1967, Монреаль — 1971, Лидс — 1975, Копенгаген — 1979, Утрехт — 1983.

жений. Этот период в истории фонетических наук характеризовался возникновением и становлением фонологии как функционального изучения звуков речи, противопоставленного изучению их как физических явлений.

После чередующихся периодов господства различных направлений в области исследования речи сегодня каждый согласится, что междисциплинарный антагонизм должен быть преодолен и звуки речи должны изучаться как с материальной, так и с функциональной точек зрения. Тем не менее признание взаимодополнительности обоих подходов к изучению звуков речи пока не привело к гармоническому сотрудничеству между сторонниками этих различных точек зрения. По-прежнему сохраняются резкие границы между фонетикой и фонологией, что особенно было характерно для 40-х и 50-х годов нашего столетия. Наш конгресс стремится к примирению этих различных подходов к исследованию речи, объединяя противоположные течения в синтетической и унифицированной теории звуковой системы языка. В отличие от последнего, X Международного конгресса фонетических наук в Утрехте в 1983 г., в работе которого участие фонологов резко уменьшилось, наш конгресс пытается ликвидировать этот разрыв и установить разумный баланс между фонетикой и фонологией, делая особенный акцент на тех аспектах фонологии, которые тесно связаны с фонетикой.

Эли Фишер-Йоргенсен в ее обращении на открытии конгресса в Утрехте отмечала, что фонетисту, описывающему конкретный язык, не требуется знать тонкости различных фонологических теорий, достаточно знания по крайней мере основных их принципов. Несомненные лингвистические способности необходимы особенно при описании фактов просодии. Фонетист, который хочет объяснить что-либо, должен также достаточно хорошо разбираться в лингвистической типологии. С другой стороны, фонология нуждается в фонетике не только для идентификации звуков, но также и в объяснительных целях.

Фонологическая типология и языковые универсаллы, как синхронные, так и диахронно-исторические, а также и другие направления и течения в современной фонологической теории представлены на настоящем конгрессе достаточно хорошо.

Многие западные лингвисты, особенно те, которые интересуются фонетическими и фонологическими универсалиями, извлекут пользу из изучения той работы, которая осуществлялась в нашей стране по исследованию звуковых систем и классификации языков национальных меньшинств СССР. Эта тема является, так сказать, традиционной для нашей науки.

Другой разрыв, который необходимо преодолеть на этом конгрессе, — это разрыв между классической фонетикой и стремительно развивающейся звуковой технологией. Одной из важных «растущих областей» в фонетической науке является так называемая «связь человек — машина», т. е. синтез и автоматическое распознавание речи, как и другие области прикладного исследования звуков речи. Теоретически рассуждая, успех в этой области мог быть достигнут прежде всего на основе тех обширных знаний о звуках речи, которые фонетисты традиционно накапливали в течение продолжительного периода времени и которые в последние годы обогатились новым пониманием структуры производства и восприятия речи. И тем не менее имеющиеся в настоящее время приборы для распознавания и синтеза речи менее обязаны вкладу фонетистов, чем ученых — специалистов по компьютерной технике и физиков, которые говорят по существу на разных языках и имеют различные подходы к этой проблеме. Исследование проблемы «связь человек — машина» значительно выигрывает, если и этот разрыв будет также преодолен нахождением общего языка и демонстрацией того, как фонетическое исследование может быть применено к области «связь человек — машина». С другой стороны, было бы важно поставить на службу инженерам и ученым — специалистам по компьютерам сведения, добытые фонетистами, которые незаменимы при создании совершенных звуковых устройств. Мы сочли бы большим достижением, если бы наш конгресс смог способствовать продвижению в этом направлении, более тесно сближая классическую фонетику и фонологию со стремительно развивающейся областью прикладных аспектов исследования речи.

Я хочу завершить свои предварительные замечания к XI Международному конгрессу фонетических наук приветствием ко всем его участникам, от научных докладов и дискуссий которых целиком зависит судьба нашего конгресса.

Я горячо надеюсь на успех конгресса и выражаю нашу самую искреннюю благодарность всем тем, кто так или иначе способствовал нелегкой задаче организации этого конгресса, кто преданно сотрудничал с нами, поддерживал нас и помогал нам.

Большое спасибо.

Ежедневно читались пленарные доклады (всего было прослушано 10 докладов, подготовленных по заказу Постоянного совета и Оргкомитета конгресса), затем проходили секционные заседания (их было 104, и на

каждом в среднем было прочитано 4—5 докладов); были организованы стендовые доклады (на четырех таких сессиях было представлено около 60 докладов). В рамках конгресса было также организовано 6 симпозиумов, на которых прочитано около 40 докладов. Таковы чисто количественные данные, свидетельствующие о напряженной работе конгресса.

Известно, что фонетика как наука занимает особое место, привлекая к себе интерес специалистов самых разных областей знаний: лингвистов, психологов, физиологов, акустиков, инженеров-связистов, врачей, специалистов в области распознавания, синтеза речи и в области создания систем искусственного интеллекта. Можно сказать, что доклады, прочитанные на конгрессе, в полной мере отразили сложность предмета и объекта фонетических исследований. Об этом свидетельствует и их проблематика, и содержание конкретных докладов.

Пленарные доклады охватывали самые разнообразные проблемы — от моделирования слуховой обработки речевых сигналов (М. Карьялайнен, Финляндия) до соотношения фонетических и фонологических процессов в исторических звуковых изменениях (А. Ээк, и Т. Хелп, СССР). Казалось бы, трудно найти что-то общее в докладах, касающихся таких разных вопросов. Однако есть несколько тем, которые обязательно затрагивались почти всеми авторами. Первая — это обсуждение тех трудностей, с которыми сталкивается исследователь, желающий использовать экспериментально-фонетические данные для интерпретации фонологических явлений. Об этом говорилось и в докладе Л. В. Бондарко (СССР), и в докладе Б. Реппа (США), и в докладе Б. Лидблома (Швеция); в том или другом виде эта тема представлена и в остальных пленарных докладах. Вторая общая почти для всех докладов тема — рассмотрение уровневой организации речи, определяемой системой языка, и стремление к моделированию речевой деятельности человека с учетом взаимовлияния разных уровней. Необходимо специально отметить то обстоятельство, что ведущие специалисты в области фонетики практически не ставят под сомнение необходимость учитывать тесную связь фонетических и фонологических явлений. При самых разных толкованиях причин разрыва, существующего между фонетическими данными и фонологическими теориями, все докладчики в основном соглашались в необходимости большего внимания к тем процессам, которые характеризуют деятельность говорящего и слушающего человека. Даже при построении устройств, работающих с речевыми сигналами в специальных целях («речевая технология») явления фонетической вариативности обсуждаются очень интенсивно (Х. Фуджисаки, Япония).

Достаточно последовательно почти во всех пленарных докладах обсуждались и современные возможности компьютерного представления данных — от моделирования работы слуховой системы (М. Карьялайнен) или процессов речеобразования (В. Н. Сорokin, СССР) до использования компьютерного представления о фонетических и фонологических свойствах звуковой системы в теоретических и прикладных исследованиях (Л. В. Бондарко, СССР, О. Фуджимура, США). Наконец, большое внимание уделялось и методике выявления фонологически релевантных признаков путем анализа речевого поведения носителей различных по своей фонетической структуре языков (И. Лехисте, США).

«Технологический» подход к фонетическим явлениям, обусловленный интенсивным развитием систем, позволяющих человеку общаться с различными устройствами наиболее естественным для него образом (т. е. при

помощи речи), обсуждался в докладах Дж. Лэвора (Великобритания) и М. Карьялайнена.

Учитывая количество докладов, здесь абсолютно не представляется возможным говорить об отдельных секционных докладах, даже и очень интересных. Целесообразно остановиться лишь на представленной проблематике. Секционные заседания, в соответствии со сложившейся традицией, были сгруппированы следующим образом: речеобразованье — методы исследования, управления артикуляторными движениями, коартикуляция, управление голосовыми связками, отношения между голосовым трактом и акустикой; акустика речи — методы анализа речевого сигнала, кодирование речи, моделирование акустических явлений, акустика речи, продуцируемой в специальных условиях, акустические признаки, анализ и синтез просодических контуров; восприятие речи — методы исследования, модели восприятия речи, центральные механизмы восприятия, уровни обработки в восприятии речи, периферический анализ, производство речи и ее восприятие, акустические признаки как перцептивные ключи, восприятие формант и спектральных максимумов, восприятие темпа: влияние контекста и порядка следования на восприятие; речевая технология — синтез речи, синтез «текст — речь», артикуляторный синтез, естественность и разборчивость синтезированной речи, экспертные системы и обработка речевых сигналов, синтез и распознавание, системы распознавания речи, алгоритмы распознавания речи, распознавание речи, независимое от диктора, распознавание диктора и нормализация, распознавание звуков, слов, связной речи, сегментация и категоризация, фонетические базы данных; лингвистические аспекты — дескриптивная фонетика, фонемные классы и подклассы, фонотактика, фонотактика и универсалии, признаки и универсалии, микропросодика вариаций основной частоты, контуры основной частоты, проблемы слога, временная организация, просодия слова, словесное ударение, слоговые аспекты, просодия слова и фразы, модальность и интонация, длительность как компонент фразовой просодии, эмоциональная вариативность фразовой просодии, спонтанная речь, нормативная фонетика и фоностилистика, общие проблемы фонологии, фонология и морфонология, изменение фонологического типа, историческая фонетика и фонология, история фонетики, сопоставительные исследования, социофонетика, интерференция, типология и универсалии, фонетическая изобразительность; дефекты речи и обучение — речевые нарушения, дизартрия, афазия, заикание, дефекты голоса, производство и восприятие речи у людей с ослабленным слухом, помощь слабослышащим, детская речь, обучение, технические средства в обучении фонетике, пение. Такая же тематика была представлена и в стендовых докладах.

По инициативе ведущих специалистов и под их председательством были проведены следующие симпозиумы: интонация (председатель — Т. М. Николеева, СССР), отношения между фонетикой и естественной фонологией (председатель — В. Дресслер, Австрия), феномен взаимодействия при моделировании речеобразования (председатель — Г. Фант, Швеция), модели слуха (председатель — М. Шрёдер, ФРГ), Роман Якобсон и современная фонология (председатель — В. Я. В. С. Иванов, СССР), ритм и метрика (председатель — А. М. Антипова, СССР).

Даже простое перечисление проблем, рассматривавшихся на конгрессе, дает достаточно полное представление не только о содержании его

работы, но и о том значительном месте, которое занимает фонетика во всей совокупности ее направлений в современной науке. Здесь нет, разумеется, возможности сколько-нибудь подробно осветить даже содержание собственно лингвистических докладов, тем более что все они опубликованы и составляют шесть объемистых томов трудов конгресса («Proceedings of the XI International Congress of Phonetic Sciences». V. 1—6. Tallinn, 1987). Однако можно установить некоторые общие тенденции, характеризующие поступательное движение фонетики как науки от конгресса к конгрессу. Новая модель речеобразования, предложенная В. Н. Сорокиным, заставила крупнейших специалистов в этой области признать необходимость пересмотра старых представлений. Возрос интерес к созданию фонетических баз данных, которые могут использоваться для распознавания, синтеза и обучения. Исследования механизмов восприятия позволили вплотную приступить к реализации электронного протезирования, основанного на сведениях о свойствах центральной слуховой системы. Все больше теоретических исследований базируется на данных, полученных при анализе процессов речепроизводства и восприятия речи. В наиболее интересных докладах, посвященных интонации, учитывалось взаимодействие просодических и лексических средств, а также и закономерности семантической организации текста.

К сожалению, некоторые сугубо фонологические доклады, прозвучавшие на конгрессе, не свидетельствовали о каком-либо сближении теоретических постулатов с потенциальными возможностями того основного звена, которое пользуется фонологической системой, — говорящего и слушающего человека. Если для представителей фонетики — во всех ее разновидностях — учет высших языковых уровней представляется совершенно необходимым, то для фонологов, к сожалению, фонетические сведения все еще кажутся ненужными.

Как показали дискуссии, проходившие на конгрессе, важной задачей современной фонетики является построение общей теории и общего мета-языка этой отрасли языкознания. Конгресс подтвердил, что отсутствие единого языка интерпретации у фонетистов наблюдается во все более явном виде при переходе от простейших к все более сложным структурам. Так, в описании отдельных звуков больше единства, чем в описании и индексации единиц фразовой просодии, где на данном этапе насущные потребности науки никак не обеспечиваются концептуальным единством. Некоторое своеобразие XI Конгресса по сравнению с предшествующим конгрессом определяется относительным увеличением числа докладов, посвященных собственно лингвистическим проблемам.

Впервые в истории подобных конгрессов внимание было уделено исследованию диахронического аспекта фонетики и фонологии. Этой проблематике были посвящены четыре секционных заседания под общим названием «Историческая фонетика и фонология» и доклады, прочитанные на секции «Типология и универсалии: изменение фонологического типа». Вопросы диахронии рассматривались также в докладах секции «Балтийские акценты» и др. и в отдельных пленарных докладах, где они затрагивались иногда наряду с проблемами синхронного состояния языков. Например, выяснилось, что ведущая роль в диахронических исследованиях принадлежит советским лингвистам — в этой области они имели большое преимущество как в количестве докладов и участии в обсуждениях, так и, что особенно важно, — в уровне разработанности самой проблематики.

Рассматривалось также соотношение развития сегментных фонем и тоновых контуров в диахронии, соотношение тонов с резонансными яв-

лениями типа фарингализации, ларингализации и т. п., разные механизмы возникновения тоновых оппозиций; динамика разных акцентных систем в разных языках мира; перерастание тоновых оппозиций в иные просодические и другие языковые элементы. Анализировались и более частные проблемы этого круга, например, изменение фонемной парадигматики и синтагматики в конкретных языках в связи с акцентной организацией слова в прошлом; длительность гласного и слога в целом и закономерности ударения и др.

Нельзя не отметить и того, что вопросы интонационной организации речи, проблемы просодических характеристик занимали значительное место в программе работы конгресса. Движущим стимулом к увеличению интереса к интонации — и вообще к смысловому аспекту фонетики — является все более осознаваемая потребность адекватности в коммуникации, необходимость интерпретировать с абсолютной точностью все смысловые коннотации, передаваемые в высказывании. Роль просодико-интонационных средств при этом трудно переоценить.

Нужно признать, что с методической точки зрения работы наших зарубежных коллег значительно опережают советские исследования. Речь идет об использовании компьютерной техники как в эксперименте, так и при моделировании, а особенно при создании фонетических баз данных. Ясно, что развитие компьютерной методики при исследовании речи должно проводиться в нашей стране более быстрыми темпами. В теоретическом плане, однако, многие советские доклады не только не уступали «компьютеризованным» докладам наших иностранных коллег, но и значительно превосходили их. Наибольшее внимание было уделено соотношению фонемной парадигматики, синтагматики и просодики в языковом развитии в связи со структурой слога (в ряде докладов также — структурой слова в целом) или последовательностей типа CV, CVC и т. п. в слогосчитающих и моросчитающих языках. Рассматривались изменения фонемной парадигматики и синтагматики, обусловленные на разных этапах истории языка структурой слога (или звуковых последовательностей) либо наличием в прошлом тоновых оппозиций или иных признаков, свойственных слогу или последовательности фонем в целом. Тем более необходимо создать соответствующее материальное обеспечение, если мы хотим действительного обогащения лингвистических фонологических концепций сведениями о реальных речевых процессах.

В целом атмосфера на конгрессе была деловой, живой и непринужденной, чему весьма способствовала хорошая организация: к моменту начала конгресса труды его уже были опубликованы, информация о заседаниях и возникающих изменениях в программе оперативно сообщалась всем участникам. Для советских фонетистов этот конгресс был прекрасной возможностью познакомиться с крупнейшими зарубежными специалистами, поскольку на предыдущих конгрессах число советских участников было чрезвычайно малым.

Закрывая конгресс, Т. В. Г а м к р е л и д з е сказал:

Дамы и господа!

XI Международный конгресс фонетических наук в Таллине подходит к своему завершению.

Я полагаю, что наш конгресс явился большим успехом, и я буду счастлив, если все его участники разделяют это мнение. Как президент, а точнее, уже экс-президент Международного конгресса фонетических наук, я бы хотел выразить свою признатель-

ность и искреннюю благодарность всем вам за ваше доброе сотрудничество в деле успешного проведения этого конгресса.

Около 500 докладов, представленных на конгрессе, затрагивали важнейшие аспекты фонетики и фонологии, и я должен признать, они внесли весомый вклад в дальнейшее развитие современной фонетической науки, или, чтобы быть точнее, в разнообразные фонетические дисциплины, как теоретические, так и прикладные. Большое удовольствие доставляло нам присутствие здесь и выступление многих выдающихся современных ученых, от которых мы многое узнали и которые внесли важный вклад в работу нашего конгресса.

Проф. Ладефогед в своем выступлении, открывшем дискуссию на этом конгрессе, охарактеризовал наш статус как просто «фонетисты». Да, все мы равны, и все мы являемся фонетистами *par excellence*. Но некоторые из нас также «лингвисты» и в более широком смысле, и с этой точки зрения я склонен видеть в фонетических науках неотъемлемую часть многоликой лингвистической науки, лингвистики в целом. Именно поэтому настоящий конгресс был столь ограничен во времени, чтобы дать возможность фонетистам, участвующим в Международном конгрессе фонетических наук, сразу же отправиться на Международный лингвистический конгресс в Берлине, где, кроме того, состоится заседание Европейского лингвистического общества (*Societas Linguisticae Europae*) и где также будут обсуждаться фонология и фонетика.

Как бы то ни было, независимо от того, считаем ли мы себя фонетистами или же лингвистами в более широком смысле, все мы согласимся, что являемся одной большой семьей, имеющей общую цель — лепить наше единственное и любимое дитя, называемое языком. Я бы отнес к этому большому содружеству заинтересованных людей великодушный лозунг, исполненный пока только шахматистами, которые тоже называют себя, и весьма обоснованно, одной большой семьей: «*Gens una sumus*».

Да, мы одна большая семья людей, имеющих свои особые интересы, и давайте станем ближе друг к другу, давайте более тесно сотрудничать и взаимодействовать, вместе размышлять над темами, представляющими взаимный интерес.

Несмотря на ощутимые результаты, достигнутые на настоящем конгрессе, благодаря прежде всего вашему, дорогие коллеги, участию, многие важные вопросы нашей науки все еще предстоит исследовать. В перспективе перед нами но-прежнему широкая область неразрешенных проблем и, следовательно, кое-что остается и для будущих фонетических конгрессов.

Я желаю вам, дорогие коллеги, большого успеха в вашей деятельности в этом направлении.

Позвольте мне еще раз поблагодарить всех участников этого конгресса, которые сделали его столь успешным и информативным. И, наконец, наша самая искренняя благодарность — группе очень преданных, увлеченных и весьма опытных лингвистов, членов Оргкомитета, и особенно нашим эстонским коллегам, которые сыграли решающую роль в организации этого конгресса. Без их энтузиазма, преданности и самопожертвования мы бы не достигли столь весомых результатов на нашем конгрессе. Могу ли я попросить вас поаплодировать им?

Спасибо и до свидания. XI Международный конгресс фонетических наук в Таллине объявляется закрытым.

На заключительном заседании было решено провести XII Конгресс фонетических наук в г. Экс-ан-Прованс (Франция). В состав Постоянного совета введена А. М. Антипова.

Прошедший конгресс еще раз продемонстрировал важность науки о звуковом строе языка. Хотелось бы видеть у нас в стране специальное издание, посвященное проблемам фонетики и фонологии.

Бондарко Л. В. (Ленинград), *Эдельман Д. И.* (Москва),
Николаева Т. М. (Москва)

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ОТКРЫТИИ XI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ФОНЕТИЧЕСКИХ НАУК (Таллин, 1987)

ФИШЕР-ЙОРГЕНСЕН Э.

Прежде всего мне хочется поблагодарить Оргкомитет конгресса за приглашение участвовать в этой дискуссии. Я рада находиться в этом прекрасном городе, чье имя, как некоторым из вас, возможно, известно, означает «Датский замок». В начале XIII в. датский король и его армия пытались христианизировать эстонцев — боюсь, главным образом путем их уничтожения. В решающей битве, согласно мифу, с небес упал флаг, который помог нам одержать победу и стал с тех пор датским флагом. Этот миф до сих пор рассказывают в датских школах, так что все мы знаем, что наш национальный символ зародился в Эстонии.

Нас всех попросили на этой дискуссии поговорить о «фонетике, ее прошлом и будущем». Однако поскольку это же было темой моего вступительного слова на открытии предыдущего конгресса, я выбрала более специфический аспект этой проблемы, а именно, связи между Востоком и Западом. Под «Востоком» я не имею в виду Дальний Восток. Лишь попутно упомяну, что в течение многих лет между японскими и западными фонетистами поддерживалось очень тесное и плодотворное сотрудничество. Под «Востоком» в данном случае я имею в виду Восточную Европу и особенно Советский Союз.

В 1900-х гг. и до середины 30-х гг. нашего столетия фонетистов было очень немного, все они знали друг друга, а поскольку университетские преподаватели не были столь перегружены административными функциями, как сейчас, у них было время, чтобы писать письма. И почтовая служба тогда работала лучше. Поэтому Соссюр и Бодуэн де Куртене могли поддерживать плодотворную для обоих переписку, точно так же, как позднее Сэпир и представители Пражского кружка.

Путешествие тогда отнимало сравнительно больше времени, чем сейчас, но зато было меньше бюрократических препон, так что Щерба мог заниматься в Париже с Пасси и Руссло, Титус Бенни смог отправиться в Лондон, где он поведал Джоунсу о русской теории фонемы, а Трубецкой мог учиться в Лейпциге, где он встретился с Блумфилдом. До первой мировой войны не нужен был даже паспорт; и не далее как в тридцатых годах один из моих сокурсников проехал всю Западную Европу без паспорта. Он просто предъявлял свое свидетельство о зачислении в вуз — в то время внушительный документ на латинском языке, который никто не мог читать и перед которым потому открывались все границы.

Конечно же, лингвисты и фонетисты имели также возможность читать книги друг друга, и работы ученых Востока были известны на Западе. Фирс написал статью о Крушевском, который оказал на него несомненное влияние. Ельмслев в своей первой книге упоминает о фортунатовской школе как об одном из источников своего вдохновения, а в статье от 1933 г. о лингвистических оппозициях он обсуждал теории Пешковского, Карцевского и Р. Якобсона и на этой основе развивал свои собственные идеи о партиципативных оппозициях. На каждом заседании Копенгагенского лингвистического кружка докладывались и обсуждались лингвистические и фонетические работы со всего света; у всех было ощущение принадлежности к большой международной рабочей группе.

Хорошо известно также, что Р. Якобсон и Трубецкой привезли русские идеи в Прагу, где они встретились с соссюррианским влиянием и местной чешской традицией, и что Пражская фонология в 30-е годы распространилась по всей Западной Европе.

Оккупация нацистами Чехословакии, вторая мировая война и последующая холодная война положили конец этому плодотворному обмену идей.

В сороковые и пятидесятые годы американский структурализм следовал своим собственным путем и большинство американских лингвистов проявляло очень мало интереса к европейской лингвистике и фонетике. Мне вспоминается встреча в Блумингтоне в 1952 г., где Хоккет (который действительно знал европейскую лингвистику) распространил тезисы, содержащие раздел о Соссюре, но этому разделу он считал необходимым предослать предупреждение: «Если не интересует, пропустите!».

Что же касается Европы, то она была разделена на Восток и Запад. Связи между Прагой и Западной Европой были, однако, слишком сильны, чтобы разорваться окончательно, а чешские и польские фонетисты часть своих работ писали на английском или немецком языках, так что мы по-прежнему имели возможность следить за научным развитием в этих странах, что можно сказать также и в отношении ценного вклада Эстонии в фонетические исследования.

Но между советскими и западноевропейскими лингвистами и фонетистами контактов было очень мало. Это было обусловлено главным образом полным неприятием западного структурализма советскими специалистами. Весьма парадоксально, что европейский структурализм, испытывавший столь глубокое влияние русских теорий, был тогда закреплён просто как буржуазный и капиталистический. Верно, что фонологические и лингвистические теории связаны с общими культурными тенденциями своего времени (например, с искусством, философией), но с тридцатых годов у нас на Западе было столько сменяющих друг друга теорий, что вряд ли, на мой взгляд, они могут иметь какую-либо особую связь с капитализмом. Что же касается фонетики, то она, к счастью, является очень аполитичной наукой. Довольно трудно, например, представить, как описание артикуляции [p] может различаться с марксистской или с буржуазной точек зрения.

В пятидесятые годы образ мысли на Востоке стал более гибким, а в начале шестидесятых годов на русский язык было переведено большое число западных структуралистских книг и статей и западные работы оценивались более позитивно и часто цитировались. С того времени западная лингвистика и фонетика стали хорошо известны в Советском Союзе и в других странах Центральной и Восточной Европы. На Западе, однако, знакомство с советской лингвистикой и фонетикой не улучшалось в той же мере, несмотря на различные попытки сделать их известными, как, например, регулярные обзоры статей из «Вопросов языкознания» во французском «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», ряд публикаций советских статей и обзоров советских книг в журнале «Phonetica», общие обзоры советской фонологии, предпринятые, например, Халле, Кортландом и мною (в моей книге «Направления в фонологической теории»), и несколько переводов русских работ, хотя число их было ограниченным, а переводы неодинакового качества. Эти переведенные работы цитируются в западных статьях, особенно работы Л. Чистович, но работы на русском языке цитируются очень редко, хотя многие из них содержат интересные исследования, например, в области анализа про-

изводства и восприятия речи (особенно работы группы Академии наук в Ленинграде), интонации и ритма (особенно в работах московской группы), морфофонемике и распознавания речи.

Основная причина неудовлетворительного знания этих достижений является не политической, а сугубо практической: почти все советские работы написаны на русском языке, а очень небольшое число западных ученых способно читать по-русски. Это весьма прискорбно, но по крайней мере частично объяснимо. В значительной степени это может быть объяснено европейской школьной традицией, в соответствии с которой в средней школе изучались четыре иностранных языка (латинский, французский, немецкий и — несколько позже — английский). Было довольно сложно добавить сюда еще и пятый язык. В самое последнее время многие школы предлагают свободный выбор большего числа языков, так что русский, например, может быть выбран вместо французского, но делают это не очень часто. В Дании, например, не более пяти процентов учащихся, а в некоторых других странах — еще меньше. Традиция, к несчастью, довольно сильная. И если позднее, в университете, студенты и преподаватели осознают, что им следовало бы уметь читать по-русски, они уже слишком немолоды, чтобы быстро изучить новый язык. Я знаю это по собственному опыту. Когда вы можете прочесть десять статей на английском языке за то время, которое потребуется вам для прочтения одной статьи на русском, слишком велик соблазн отдать предпочтение английским статьям, и таким образом вы так и не достигаете беглости чтения. Это порочный круг.

Боюсь, что нереалистично ожидать улучшения в этом деле. Общая тенденция такова, что молодое поколение стремится как раз в противоположном направлении. Сегодняшние студенты, по крайней мере в Дании, неохотно читают книги даже на французском и немецком языках, в то время как все они свободно читают на английском. Поэтому следует переводить на английский язык больше русских книг, и было бы разумным, если бы русские авторы писали некоторые из своих статей на английском. Полезны были бы и обзорные статьи в западных периодических изданиях.

Но намного важнее, чем переводы, являются более тесные личные контакты между фонетистами и фонологами Востока и Запада. Большие международные конгрессы предоставляют, конечно, хорошую возможность для встречи. Но общее число участников из Советского Союза на всех состоявшихся ранее Международных фонетических конгрессах, не считая конгресса в Праге, равнялось лишь двум, что меньше одного процента, а число участников из других социалистических стран равнялось приблизительно 15. Из этих последних стран в Праге в 1967 г. было более чем 200 участников, особенно, конечно, из Чехословакии, но опять-таки менее 50 участников из Советского Союза. Это и явилось причиной для решения о проведении данного конгресса в Советском Союзе, что действительно значительно увеличило число советских участников. Мы надеемся, что этот конгресс предоставит хорошую возможность для личных контактов и дискуссий, которые в некотором отношении более важны, чем заседания.

В будущем было бы полезным, если бы можно было организовать и менее крупные восточно-западноевропейские симпозиумы, взаимные визиты, а также временные обмены сотрудниками из институтов Востока и Запада. И я думаю, сейчас у вас есть все основания надеяться на улучшение связей. Хорошим примером положительного эффекта личных контактов является пребывание Л. Чистович в Институте Гуннара Фанта

в Стокгольме в 1966 г., что способствовало установлению тесного сотрудничества между двумя институтами, а также проведению двух очень интересных восточно-западноевропейских симпозиумов в 1966 и 1973 гг. в Ленинграде, внесших вклад в ознакомление Запада с русскими фонетическими исследованиями.

Улучшение контактов между Востоком и Западом способствует прогрессу не только в области фонетических исследований. Что намного более важно, это может содействовать также и лучшему пониманию между народами на Востоке и Западе. Все мы знаем, что технологический прогресс, который оказал такой огромный положительный эффект на развитие фонетики и многих других наук, дал миру также и страшный потенциал для самоуничтожения. К несчастью, прогресс в технологическом знании не сопровождался аналогичным прогрессом в области морали и здравого смысла. Увеличение контактов могло бы способствовать разрушению предрассудков и созданию большего доверия между Востоком и Западом и тем самым способствовать выживанию человечества. Будем же надеяться, что и данный конгресс окажет свое положительное воздействие на этот процесс.

Перевел с английского *Чиркба В. А.*

ФОНЕТИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ В ПЕРСПЕКТИВЕ

Пытаясь размышлять о прошлом, настоящем и будущем фонетики я вспоминаю, что этой теме было уделено достаточно много внимания на последнем Международном конгрессе фонетических наук в Утрехте четыре года назад. Я имею в виду выступление Э. Фишер-Йоргенсен, мое собственное выступление, посвященное фонетике и фонетической аппаратуре, а также прогнозы Дж. Фланагана и Д. Холмса по поводу совершенствования этой аппаратуры. Я не собираюсь дублировать эти и другие обзоры общего характера. Лучше я изложу свои собственные взгляды в свете указанной проблематики.

Прежде всего для нас совершенно очевидна тесная зависимость фонетики и фонетической аппаратуры. Фонетика является неотъемлемой частью исследования речи или, если угодно, наоборот. Фонетическая аппаратура необходима для достижения далеко идущих целей в области распознавания и синтеза речи, систем ввода независимой от диктора речи, многоязычного вывода типа «текст — речь» с необязательным диктором и даже с дикторо-адаптирующими характеристиками. Необходимы крупномасштабные капиталовложения в теоретические исследования в области речевой деятельности на всех уровнях, планирование исследований не на годы, а на десятилетия. Понимание необходимости такого подхода, первоначально ограниченное рамками специалистов, сейчас уже проникло в сферу финансирующей науку администрации.

Весьма многообещающей областью применения фонетической аппаратуры являются вспомогательные средства речевой коммуникации для людей, страдающих нарушениями в этой области. Для обеспечения высококачественных характеристик и адаптации к коммуникативным возможностям и нуждам потребителя необходима солидная база знаний в области фонетики и лингвистики. Неудивительно, что в программе нашего конгресса нашли свое место и доклады, посвященные системам ввода и вывода речи и вспомогательным средствам для больных с нарушением речевой деятельности.

Фонетика, в свою очередь, стала зависимой от фонетической аппаратуры, обеспечивающей анализ и синтез. Фонетисты стали сотрудничать при создании фонетической аппаратуры. Некоторые языковые факультеты даже ввели курсы по изучению фонетической аппаратуры. Весьма перспективной областью является автоматическая обработка текста. Тем не менее выражается некоторое беспокойство по поводу бурного развития технических средств, используемых в фонетике. Потеряет ли фонетика свой гуманитарный профиль и индивидуальность и сведется ли она лишь к обслуживанию технических достижений? Можно ли утверждать, что занимаясь изучением фонетической техники, Международный конгресс фонетических наук слишком расширил сферу своей компетенции? По моему мнению, эти опасения являются консервативными и игнорируют чистую выгоду. Дело на самом деле не в том, чтобы противопоставить фонетику звуковой технологии, а в том, чтобы учитывать развивающуюся область исследований производства и восприятия речи и языка безотносительно к сфере его использования. Прогресс в этой области предоставляет большие возможности гуманитариям для развития общей фонетики и способствует эффективности сравнительных исследований языков, диалектов и индивидуальных речевых навыков.

Мы можем ожидать, например, более эффективных методов обучения иностранным языкам, а также более быстрого овладения навыками чтения и письма у детей с замедленным или ослабленным языковым развитием. В этом заключены истинные гуманистические ценности.

В каком же направлении нам двигаться дальше? Чему мы научились и каковы перспективы на будущее? Фонетика или, если угодно, исследование речи являет собой взаимодействие индивидуумов, идей и техники. У большинства из нас различный багаж знаний, различные связи с прошлым и обязательства перед будущим. Но все мы преклоняемся перед теми перспективами, которые открываются по мере расширения нашего познания. Эти перспективы подобны прекрасному саду, в котором мы должны вырастить некие растения или же разгадать архитектурный замысел, великий план, заложенный создателем.

Некоторые из нас полны решимости закладывать свои собственные сады теорий и методик. Возможности нашего успеха больше зависят от наших знаний и опыта, чем от доступных книг по садоводству. Компьютерные справочники нельзя считать исчерпывающими. Требования, предъявляемые научным знанием, слишком разнообразны и тонки. Здесь важную роль играет опыт. Трудно структурировать и квантифицировать описания тонких оттенков тембра. Наглядным примером являются формальные описания оттенков индивидуального тембра голоса, стилей говорения и чтения.

Однако ситуация является еще более сложной. У нас нет хорошего учебника акустической фонетики какого-либо языка, достаточно исчерпывающего для использования его в качестве основы для создания правил программирования синтеза или распознавания речи независимо от диктора. Следовательно, вариабельность структуры должна быть одним из условий достижения более точных описаний инвариантных элементов. В моем докладе в Утрехте в 1983 г. я заметил, что доступные в настоящее время исходные данные и правила являются неполными и разбросаны по различным работам. Более полные системы правил заключены в средствах программирования систем синтеза типа «текст—речь». Обычно они не снабжены необходимой документацией, делающей их пригодными для общественного пользования, и нередко строятся на догадках, не имеющих достаточного обоснования, причем используются параметрические описания, пригодные лишь для данной системы.

В области распознавания речи мы еще более далеки от обобщающего фонетического подхода. Используемые здесь методы основаны либо на сравнении с образцом, либо на фонетической сегментации и квантификации, что слишком примитивно для того, чтобы уловить важные динамические сигналы. Для преодоления нашей неспособности проникнуть в сущность проблемы мы часто принимаем «экспертные системы», которые обеспечивают всего лишь ограниченную замену основательного знания, которым обладает независимый от диктора код. Компьютеры становятся все более эффективными и рассчитаны на языки программирования более высокого уровня. Но мы не можем полагаться на так называемых экспертов для решения всех наших проблем или переложить это бремя на компьютеры, чтобы обучиться коду. Компьютеры являются незаменимыми, но мы должны быть по крайней мере на несколько шагов впереди в обобщениях и четко определять стратегию в поисках речевого кода.

В настоящее время большая часть научно-технической интеллигенции, вовлеченной в фундаментальные долгосрочные исследования речи, принимает участие в работе национальных программ, подобных Darpa

в США, японскому пятому поколению компьютеров, британскому проекту Alvey и связанных с ними европейских совместных программ. Имеется определенный риск, что поток информации, когда он подойдет к стадии разработки обобщенных правил потенциальной оперативной мощности (например, по отношению к специфическим языкам, особенностям тембра голоса или разговорному стилю), будет замедлен. Допустив это, мы разрушим наше дело. Создание свободного потока информации является иногда исключительно важным даже в пределах группы научных работников или лаборатории определенного размера. Но суть дела здесь состоит именно в отсутствии времени и интереса для перекодирования наблюдаемых структур и создания единой акустико-фонетической терминологии и обобщенных правил, доступных банку знаний.

Здесь я подошел к ключевому моменту в своем сообщении. За банком данных должен последовать банк знаний. Если бы кто-либо смог обработать и преобразовать всю информацию, представленную здесь на конгрессе, получился бы поистине впечатляющий банк знаний.

Каким образом следует улучшать способность к познанию и совершенствованию исследовательских навыков? Здесь нет никакой альтернативы упорному труду, но движущей силой все же является вдохновение, которое посещает нас время от времени на критических этапах нашей работы, когда уже видны результаты. Возможно также вдохновение, рожденное в спорах с коллегами в маленьких или более крупных коллективах, подобно нынешнему конгрессу, или же вдохновение, вызванное чтением литературы. Таким стимулом может стать и открытие нового, неожиданного признака на спектрограмме. У всех нас свой личный опыт этих счастливых мгновенных озарения и открытия. Пожелаю же всем нам получить удовольствие от этой конференции, которая предоставила возможность ознакомиться с уникальным спектром советских работ и уникальный случай широких контактов с советскими коллегами.

Теперь, когда я заканчиваю свое сообщение, я понимаю, что оно не так уж и ново. Это вариация старой темы, старой мелодии. В качестве последней метафоры я позволю себе уподобить каждого из нас поющим птицам в очарованном саду фонетики. У всех нас свой голос и своя мелодия, и все мы ожидаем ответа. Мне вспоминаются слова английского поэта Джона Китса: «*Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter*».

Перевел с английского *Чурикова В. А.*

*

10—15 августа 1987 г. в Берлине состоялся очередной, XIV Международный конгресс лингвистов, собравший около 1800 участников более чем из 50 стран мира. Проведение конгресса стало крупнейшим событием в деятельности лингвистов: в повестку дня его заседаний были включены доклады, охватывающие широкий круг актуальных и важных проблем современной науки о языке, существенных как с теоретической, так и практической точки зрения. Конгресс был открыт краткими приветственными выступлениями председателя его организационного комитета директора Центрального института языкознания АН ГДР В. Банера

и первого зампреда Совета Министров ГДР В. К р о л и к о в с к и, пожелавших присутствующим успешной работы на благо мира и прогресса человечества.

Обращаясь к участникам конгресса, В. Б а н е р сказал:

Многоуважаемые дамы и господа, дорогие коллеги!

Подготовка к этому конгрессу началась в ноябре 1984 г., когда Исполнительный комитет Постоянного международного комитета лингвистов (CIRPL) принял решение поручить организацию XIV конгресса Национальному комитету по языкознанию Германской Демократической Республики. Решающая фаза подготовки началась осенью 1985 г. 12 и 13 сентября Исполнительный комитет CIRPL совместно с подготовительным комитетом ГДР обсудили основную целевую установку и темы XIV Всемирного конгресса лингвистов и достигли полного единодушия. При подготовке конгресса государство оказало нам большую поддержку. Мы очень благодарны и рады прежде всего тому, что Председатель Совета Министров Германской Демократической Республики Вилли Штоф принял нас под свое покровительство. Правительство нашего государства заботливо предоставило на проведение этого конгресса значительные финансовые средства и Дворец Республики для пленарных заседаний.

Я хотел бы сердечно поблагодарить руководство Академии наук ГДР и ректорат Университета им. Гумбольдта, с чьей стороны мы нашли понимание и помощь при решении проблем, возникавших во время подготовки конгресса.

Особенной благодарности заслуживают члены подготовительного и организационного комитета и многие лингвисты, работающие в системе высшей школы, народного образования и Академии наук Германской Демократической Республики, которые с энтузиазмом провели самую разностороннюю подготовку к конгрессу. Подобно уже проведенному XIII Международному конгрессу лингвистов в Токио, открывающийся сегодня XIV Международный конгресс лингвистов имеет очень обширную программу. Его главной темой является «Общее и различное в современном языкознании. Дисциплинарные и междисциплинарные подходы и результаты». Предусмотрено 6 пленарных заседаний, 19 секций и 19 заседаний круглого стола. Некоторые из 19 секций из-за большого числа присланных докладов были разделены на параллельно проводимые подсекции. Отборочный комитет не допускал никаких дальнейших сокращений количества докладов ни по научным, ни по научно-политическим мотивам. Мы просим понимания в тех случаях, когда многообразная программа конгресса по отдельным лингвистическим областям в некоторые дни затягивается из-за этого до вечера.

В этом конгрессе принимают участие приблизительно 1 600 языковедов, которые преподают и ведут исследования в 64 странах. И нас радует, что в Берлин приехали ученые со всех континентов.

Берлин может с гордостью ссылаться на замечательную языковедческую и филологическую традицию. Основанная в 1700 г. Академия наук, вдохновителем и первым президентом которой был философ и энциклопедист Г. Лейбниц, уже в XVIII в. ставила ключевые вопросы, связанные с языком. К тому же из соседних немецких земель в Академию присылалось много докладов по языкознанию на соискание наград. На философско-языковую мысль того времени, несомненно, огромное воздействие оказала выдвинутая на премию в 1769 г. тема «Могли ли люди, пользуясь собственными возможностями, изобрести язык» и представленное в связи с этим сочинение о происхождении языка И. Гердера, ставшего лауреатом. Для истории языкознания Берлин связан с многочисленными выдающимися личностями, которые работали как в Академии наук, так и в Университете им. В. Гумбольдта и своим авторитетом способствовали прогрессу познания. Здесь следовало бы назвать хотя бы Франца Бонпа, Якоба Гримма и Вильгельма фон Гумбольдта. Как известно, Франц Бонп основал сравнительное индоевропейское языкознание. Якоб Гримм создал своей «Немецкой грамматикой» первую исчерпывающую историческую грамматику одной из групп индоевропейских языков — германской, которая является моделью также и для сравнительно-исторического освещения других языковых групп, и проложил путь для диахронического языкознания. Вильгельм фон Гумбольдт внес большой вклад в создание основ общего языкознания и философского сознания, осмысления языка, которые частично и до настоящего времени сохранили свое значение. В практическом и теоретическом отношении он способствовал расширению лингвистического горизонта: он изучал не только языки Европы, но и структуру американских и азиатских языков.

Тот факт, что по желанию членов Постоянного международного комитета лингвистов первое пленарное заседание посвящено теме «Вильгельм фон Гумбольдт и современное языкознание», необходимо понимать как уважение к городу Берлину, как

дань лингвистов 750-летию города Берлина. Тем самым проложен мост между историей и современностью, от традиций к современной постановке проблем лингвистических исследований, в поле зрения лингвистов попадает диалектика преемственности и прерывности, историчности и актуальности в языковом исследовании.

Вильгельм фон Гумбольдт всегда пытался установить специфику единичного в универсальных законах. Свои исследовательские устремления он сформулировал в 1816 г. в автобиографических заметках «Понимание мира в его индивидуальности и всеобщности». Язык как средство самопознания и понимания других людей, его специфические связи с индивидуумом, с определенной языковой общностью и с человеческим родом вообще он понимал всегда в гуманистическом смысле и никогда в националистическом, как это позднее пытались трактовать некоторые повиннистически настроенные немецкие языковеды. По словам Вильгельма Гумбольдта, идея человечности состоит в устремлении «ликвидировать границы, созданные всякого рода предубеждениями и враждебностью между людьми, и рассматривать человечество без оглядки на религию, национальность, цвет кожи как большое, связанное братскими узлами племня, как единое целое, высшей целью которого является достижение свободного развития внутренних сил».

Научная работа с языком и различными языками в высшей степени способствует пониманию между народами в гуманистическом смысле. В настоящее время, когда защита мира, предотвращение атомного ада стали насущнейшими задачами для обеспечения дальнейшего развития человечества, участие в плодотворной совместной научной работе на широком международном уровне тем более является необходимой. И пусть в этом смысле XIV Международный конгресс лингвистов будет успешным.

В своем вступительном слове президент Постоянного международного комитета лингвистов Р. Р о б и н с (Великобритания) сказал:

Господин Вернер Кроликовски, господин профессор Банер, дамы и господа, леди и джентльмены!

На последнем Международном конгрессе лингвистов мы встречались в Токио, это была наша первая встреча на Дальнем Востоке. Со времени возобновления этих конгрессов после второй мировой войны мы встречались в Великобритании, Америке, в восточных и западных городах Европейского континента. Но это наш первый конгресс в немецком городе, и мы очень благодарны нашим друзьям и коллегам здесь, в Берлине, за прием, за гостеприимство и за академические планы, которые они подготовили. По поручению всех иностранных участников из всех стран я хотел бы выразить благодарность городским властям, Академии наук ГДР, Берлинскому университету им. В. Гумбольдта, подготовительному комитету и особенно его председателю, проф. Вернеру Банеру, и двум генеральным секретарям — проф. Иоахиму Шильдту и проф. Дитеру Фивегеру.

Наступила пора провести наш конгресс в немецком городе. В последнем столетии языковедение было почти исключительно продуктом немецкой учености и находилось под покровительством немецких университетов; немецкие лингвисты были нашими учителями и образцом для всех нас. Мы имеем в виду братьев Шлегелей, Якоба Гримма, Франца Боппа, Августа Потта, Августа Шлейхера. Следует воздать почести также младограмматикам, чья парадигма сравнительной грамматики не потеряла значимости еще и сегодня. И здесь, в этом городе, ведущим является Университет им. В. Гумбольдта, в котором будут проходить некоторые наши заседания, университет, носящий имя известного во всех областях общего языковедения ученого. Государственный деятель, дипломат, литератор, министр культуры: его языковедческие труды, особенно «О различии строения человеческих языков», принадлежат к наиболее влиятельным трудам нашей науки. Подготовительный комитет с полным правом посвятил лингвистической мысли Гумбольдта целое пленарное заседание.

Но есть еще одна важная причина для нашей встречи в этом городе. Берлин является частью Центральной Европы, в равной мере достижимой с Востока и Запада. Мы все знаем, насколько интересные исследования ведутся лингвистами социалистических стран. Из многочисленных примеров мне бы хотелось упомянуть интенсивные исследования языковой типологии в Москве и Ленинграде, в частности, работы проф. Лурье по афазологии, продолжающие лингвистические традиции представителей Пражской школы, достойных преемников Трубецкого и Якобсона; революционная переоценка индоевропейской протосистемы и локализации прародины индоевропейцев выдвинула вперед Гамкрелидзе и Иванова, чьи идеи уже вызвали живой интерес на Западе и не перестанут быть центром индоевропейских исследований на многие годы.

Мы напряженно ждем переводов книги «Индоевропейский язык и индоевропейцы». И здесь я возлагаю особую надежду на этот конгресс. Многие западные лингвисты знают слишком мало о работе наших друзей и коллег из социалистических стран. Это не имеет ничего общего с политикой, блоками держав и тому подобным, что не поддается контролю и влиянию лингвистов. Это просто следствие того, что многие из их работ, как и та книга, которую я только что упомянул, написана, совершенно естественно, на русском языке, языке, который несмотря на его политическое значение и огромное литературное наследие, в Западной Европе и в англоязычном мире изучают намного меньше, чем следовало бы. Постоянный международный комитет лингвистов (CIPL) выражает надежду, что этот конгресс предоставит нашим коллегам из социалистических стран возможность сделать более доступными для нас успехи и результаты своей работы на одном из наших собственных языков.

Желаю всем успешного конгресса.

Работа конгресса протекала в форме шести пленарных заседаний, а также заседаний 19 секций и 19 круглых столов. Пленарные заседания были посвящены темам: В. Гумбольдт и современное языкознание, Семантика и когнитивная психология, Социолингвистика, Типология, Лингвистика текста и Историческое языкознание.

На первом пленарном заседании обсуждались проблемы, связанные с влиянием лингвистического и лингвофилософского наследия В. фон Гумбольдта на последующее развитие науки о языке. Чтобы оценить по достоинству выдающуюся роль этого ученого, надо, по мнению Б. М а л ь м б е р г а (Швеция), выявить истоки его взглядов и лишь на этом фоне охарактеризовать основные положения развиваемой им теории языка. Среди этих положений надо особо выделить определения языка как носителя национальной специфики говорящего на нем народа, как деятельности, как формы, облеченной в определенную субстанцию и т. п. Докладчик отметил значение творчества В. фон Гумбольдта для формирования всей дальнейшей разносторонней программы лингвистических исследований, прежде всего — в области сравнения языков и их исторического изучения, которое неотъемлемо от исследования культуры и общества. В докладе В. Н о й м а н а (ГДР) было продемонстрировано, в постановке каких вопросов Гумбольдт предвосхитил проблематику современного языкознания и в выдвижении каких понятий он опережал будущее. Докладчик подчеркнул значительную роль ученого в постановке и решении проблем соотношения языка и мышления, в понимании языка как особого рода деятельности, объединяющей процессы разного рода. Автор стремился раскрыть органическое единство описания языков и их объяснения в трудах Гумбольдта. По его мнению, многие проблемы, поднятые выдающимся немецким ученым, еще ждут своего разрешения. Р. Р о б и н с (Великобритания) посвятил свой доклад проблеме творчества и креативности в работах Гумбольдта и остановился на сопоставлении взглядов Гумбольдта и представителей генеративной грамматики, отметив, что их различает, по крайней мере, два обстоятельства: творческое начало Гумбольдт видел не только в синтаксисе, но и в лексике, постоянно пополняющейся новыми единицами, в правилах словообразования и т. д.; более полным было у Гумбольдта и понимание «деятельности» языка и его порождения, поскольку охватывало не только синхронию, но и преимущественно — диахронию (деятельность по созданию самого языка). Таким образом, развивавшиеся впоследствии концепции языка уступали гумбольдтовским по разнообразию рассматривавшихся аспектов языка.

Структура значения как представления знания составила основную тематику обсуждения на втором пленарном заседании, посвященном соотношению семантики и когнитивной психологии. У. Ч е й ф (США)

продемонстрировал в этой связи роль повторной вербализации в организации человеческого знания. На базе результатов масштабного эксперимента он показал стабильность определенных содержательных единиц, повторяющихся при известных вариациях в пересказах содержания одного и того же текста или кинофильма. Несмотря на то, что об организации знания можно, несомненно, судить на основании особенностей его лингвистического отражения, увязывать жестко структуру знания и структуру языка не приходится. Ф. К л и к с (ГДР) в своем докладе о роли знания в восприятии текста (предложения) подчеркнул, что психологические эксперименты свидетельствуют о том, что при исследовании предложений надо принимать во внимание гораздо большее число факторов, чем это делали существующие компьютерные системы, и что человек при восприятии текста учитывает каким-то образом и некие исходные знания о мире. В докладе была предложена такая модель понимания, предложения, которая оперирует тремя видами концептов, «возбуждаемых» словом-стимулом: репрезентирующих классы объектов, классифицирующих события и объединяющих определенные последовательности событий. Доказывалось, соответственно, что модели восприятия текстов должны учитывать фоновые знания человека и его способности соотносить слова со стоящими за ними концептами разных типов. Р. В и л е н с к и (США) в докладе «Значение и представление знаний» предложил новую теорию представления знаний, созданную в результате интеграции достижений в области исследования семантических сетей, фреймов и сценариев, моделей искусственного интеллекта. Он показал значение предлагаемой им модели для теоретической семантики и роль понятия отношений как базовых единиц представления знания и основных единиц в понимании текстов. По его мнению, в основу создания систем искусственного интеллекта должны быть положены принципы, более близкие естественным языкам, чем это предполагали ранее.

Предметом рассмотрения на пленарном заседании по социолингвистике явилась проблема формирования и функционирования языковых норм. А. Б а м б о д ж е (Нигерия), охарактеризовав разное содержание, вкладываемое в понятие нормы разными исследователями, предложил свое рабочее определение нормы как стандартной формы языка, служащей точкой отсчета для всех других форм. Намеченные им этапы становления нормы и выделенные типы норм, разные по диапазону своего действия, были проиллюстрированы на богатом материале языка йоруба. В докладе Б. Ш л и б е н - Л а н г е (ФРГ) понятие нормы определялось в зависимости от тех аспектов речевой деятельности, к которым оно отнесено, и были продемонстрированы существенные различия норм, действующих в пределах устной или же письменной речи, а также значительное влияние этой последней на первую. Докладчица проанализировала специфику воздействия особенностей исторического развития общества на складывающуюся норму и ее оценку. А. Д. Ш в е й ц е р (СССР) трактовал понятие нормы как некоторого звена между системой и узусом и подчеркнул значительный вклад, внесенный советскими лингвистами в определение нормы. Он указал, что норма варьируется в двух плоскостях — исторической и социальной и что наличие нормы является неперенным условием функционирования не только относительно гомогенного языка, но и любой обслуживающей данный коллектив социально-коммуникативной системы, в том числе и существующей в условиях билингвизма и диглоссии. Далее А. Д. Швейцер указал на необходимость коренного пересмотра представлений о норме как исключительном атрибуте лите-

ратурного языка. Подробно остановился докладчик и на закономерностях распространения нормы в разных пространственных и социальных континуумах.

Объектом рассмотрения на пленарном заседании по типологии послужила проблема соотношения интегральной, холистической и парциальной, или частичной, типологии. Б. К о м р и (США), признав важность разработки такой схемы, которая могла бы дать целостную характеристику языкам, констатировал в то же время, что реальные предпосылки для решения этой проблемы пока еще весьма скромны. Пути продвижения на этом направлении он видит в выявлении конкретных параметров, которые характеризовали бы значительные пласты языковой структуры [возможность (невозможность) опущения местоимений или маркирования грамматическими признаками зависимого или главного члена конструкции и т. п.]. Г. А. К л и м о в (СССР), подчеркнувший особую значимость построения интегральной типологии, которая обладала бы большой объяснительной способностью, обратил внимание на резервы, имеющиеся в этом плане в рамках типологий фундаментальных отношений (т. е. в контенсивной типологии) и типологий порядка слов. Он указал на необходимость учета опыта других отраслей лингвистики, стремящихся, как и типология, к созданию определенных интегративных построений. Г.-Я. З а й л е р (ФРГ), исходивший из разработанной под его руководством концепции, пришел в своем докладе к выводу о том, что разработка интегральной схемы в типологии может составить программу исследований на будущее. Отметив важность раскрытия и установления принципов иерархической организации языковой системы, он в то же время признал нереальность мысли о возможности построения схемы, которая исчерпывающе представила бы все компоненты языковой структуры.

На пленарном заседании, где обсуждались проблемы лингвистики текста, речь шла о возникновении и развитии текстов в актах общения. Доклад Ф. Д а н е ш а (ЧССР) был посвящен роли эмоций в формировании текста и соотношению мыслительно-познавательных и эмоциональных аспектов самого текста. По мнению Данеша, никакое познание невозможно без эмоций, которые пронизывают собой все когнитивные процессы; с другой стороны, познание вызывает и возбуждает эмоции, оказываясь «эмоциогенным фактором». Следует различать выражение эмоций (вербальным или же невербальным путем) и описание эмоций, что требует их специального обозначения. С коммуникативной точки зрения необходимо различать информативную и каталитическую функции эмоций, часто совмещающиеся друг с другом в реальных актах речи. Автор отметил исключительную трудность классификации эмоций и их объективного анализа ввиду вариативности самих эмоций и субъективности их восприятия и оценки. И хотя исследование эмоций в тексте часто выводит исследователя за пределы изучения непосредственно данного текста, на настоящем этапе состояния лингвистики текста более целесообразно разделять «экспансионистские», по образному выражению Н. Энквиста, взгляды с тем, чтобы не упустить из виду тех аспектов текста, исследование которых потребует, возможно, междисциплинарного подхода. В докладе Я. П е т ё ф и (ФРГ) рассматривались некоторые аспекты организации значения текста с точки зрения его восприятия и понимания. Текст определялся в докладе семиотически как сложный языковой знак со сложно структурированным означаемым и означающим. Значение текста оказывается, по мнению докладчика, неким конструктом, возникаю-

щим при соединении сигнификата текста со знанием о мире воспринимающим его реципиентом. Свои положения он иллюстрировал на материале анализа небольшого стихотворения венгерского поэта Шандора Веореса. В заключение Я. Петёфи подчеркнул, что адекватная теория текста может быть создана в результате совместных усилий представителей таких наук, как общая теория коммуникации, когнитивная психология, и исследователей в сфере искусственного интеллекта. В докладе Д. Таппина (США) на обширном материале реальных текстов разговорной речи доказывалось положение, в соответствии с которым некоторые тексты строятся с постоянным повтором конструкции, выбранной в качестве отправной. Это свидетельствует о существенности фактора имитации и повторения не только при усвоении языка, но и при его использовании. Таким образом, если мы хотим понять специфику языка, мы должны обратиться к изучению живой речи и даже речи индивидуума. Д. Фивегер (ГДР) обратился в докладе к вопросу об иллокутивных знаниях в интерпретации текста, подчеркнув, что в процессах порождения текста и его восприятия принимают участие следующие типы или системы знаний: знания языковые (о правилах грамматики, о распределении информации в тексте, о лексиконе), знания обыденные и энциклопедические, знания о речевой деятельности как иллокутивные знания (о целях общения и средствах их достижения, об условиях применения тех или иных языковых действий, о социальных последствиях таких речевых действий и т. п.) и, наконец, знания типов текстов и глобальных принципов их организации. Так же сложно строится и модель восприятия текста, для некоторых компонентов которой еще не дано адекватного описания. При анализе дискурса важно перейти от анализа отдельных предложений к исследованию правильно организованной цепочки высказываний.

В центре внимания на пленарном заседании по проблемам исторического языкознания находились проблемы объяснения исторических изменений. Т. В. Гамкрелдзе (СССР) в своем докладе сформулировал основные принципы сравнительно-исторической реконструкции, обеспечивающие адекватность истолкования причин языковых изменений, которые рассматриваются как отражение диахронической вариативности языков, проявляющейся на всех уровнях языковой структуры. Охарактеризовав важнейшие постулаты исторического языкознания (современное толкование принципа произвольности языкового знака, диалектику соотношения маркированных и немаркированных форм, типологическую верификацию устанавливаемых архетипов), докладчик обосновал необходимость пересмотра реконструкции праиндоевропейской фонологической системы и использования в этих целях всех изложенных выше принципов. В докладе Г. Хенгсвальда (США) языковые изменения рассматривались как замена одних явлений другими. Была предложена определенная систематика их объяснений на основе внутренних и внешних языковых факторов. Автор предложил разграничивать направление языковых изменений и механику, или способ, их осуществления и указал на те трудности, которыми сопровождается разработка каузальных объяснений семантических изменений. Ж. Перро (Франция) остановился на факторах исторической эволюции языков, подчеркивая взаимодействие трех факторов: культурно-исторических изменений, роли системы и особенностей человеческой психологии.

Доклады, прочитанные на пленарных заседаниях, неизменно вызвали оживленный обмен мнениями между участниками конгресса.

Интенсивная работа проводилась также в рамках заседаний секций

и круглых столов, и трудно сказать, что вызывало больший интерес присутствующих — традиционная проблематика большинства секций, посвященных проблемам фонетики и фонологии, морфологии и словообразования, синтаксису и семантике синтаксиса, языковым контактам и языковым изменениям и т. п., или же относительно более новая проблематика, предложенная организаторами круглых столов, где обсуждались проблемы структуры лексической информации, теории номинации и актуальных вопросов ономастологии, валентности, семантических падежей и «сценариев», вклад теорий структуры слова в исследование словообразования, понятие естественности при объяснении морфологических и синтаксических изменений, теоретические проблемы усвоения языка, проблемы интерлингвистики и т. п. Многие заседания секций и круглых столов собирали большое количество участников. Приятно отметить, что заседаниями секций руководили и советские лингвисты: Б. А. Абрамов вел одно из заседаний секции по синтаксису, А. В. Бондарко — по синтаксису и семантике, А. И. Домашнев и В. Н. Ярцева — по языковым изменениям, Ю. Н. Караулов — по усвоению языка, А. Д. Швейцер — по теории перевода и т. п. Наши лингвисты выступали также с докладами на секциях и принимали активное участие в обсуждении затронутых проблем. С интересом были прослушаны доклады Б. А. Серебрянникова, А. В. Десницкой, В. Н. Ярцевой, Ю. Н. Караулова, А. С. Мельничука, А. Я. Блинкены, Б. А. Абрамова, Н. Д. Андреева, С. Б. Бережана, А. В. Бондарко, В. П. Вомшерского, Н. З. Гаджиевой, А. И. Домашнева, И. Б. Долининой, М. А. Кумахова, И. С. Улуханова и других.

Содержательно проходили и заседания круглых столов, организованных В. Мотшем (ГДР), М. Бирвишем (ГДР), Д. Песецки (США), В. Флайшером (ГДР), Е. С. Кубряковой (СССР), С. Н. Кузнецовым (СССР), Д. Блаике (ГДР), Я. Петёфи (ФРГ), Д. Фивегером (ГДР), А. Ф. Тарасовым (СССР) и др. Состоялась оживленная дискуссия по докладам Р. Бирда (США), В. Г. Гака (СССР), Г. Фанселоу (ФРГ), а также по докладам руководителей круглых столов.

Из множества докладов зарубежных участников конгресса следует особо отметить доклады и сообщения В. Вурцеля, Э. Гюнтер, Р. Эккерта, И. Циммерман (ГДР), К. Бузапиовой, Я. Норецкого, В. Страковой, Р. Эрхарта (ЧССР), И. Дуриданова (НРБ), Р. Хайду (ВНР), Г. Голтона, А. Дайона, Э. Хэмп (США), Й. Бехерта, В. Винтера (ФРГ), Э. Кернера (Канада), Р. Барти, Г. Боой (Нидерланды).

Закрывая конгресс, Р. Х. Р о б и н с сказал:

Наш конгресс в Берлине уже почти закончился. Когда мы вернемся домой, нам потребуется время для спокойного размышления, прежде чем мы сможем полностью оценить все, чего мы достигли здесь вместе за эту неделю. Я уверен, что мы согласимся с тем, что это был самый успешный и приятный конгресс начиная с 1947 г. Он привлёк огромное количество участников с Востока и Запада, с Севера и Юга. Ряд проблем, связанных с транспортом, регистрацией, устройством в гостиницах, является неизбежным, если так много людей сходится в одном городе в одно и то же время; но эти проблемы преодолены, и мы будем вспоминать наше пребывание здесь с огромным удовольствием.

От имени всех, а также от имени иностранных гостей, таких, как я, мне бы хотелось занести в протокол выражение самой горячей благодарности проф. Банеру, его коллегам в Организационном комитете, Академии наук, властям города Берлина и правительству Германской Демократической Республики за их щедрую поддержку и покровительство. И мы не забудем помощь, полученную нами, индивидуально или коллективно, от членов Оргкомитета, которые работали ежедневно до позднего вечера в Бюро конгресса.

Как я сказал в своем вступительном обращении, одной из целей нашего приезда

в Берлин было побольше узнать о той важной работе, которую вели в последние годы наши коллеги в СССР и других социалистических странах; и я полагаю, что нам это удалось. Говоря шире, пленарные заседания дали нам возможность получить общую картину современного состояния предмета лингвистической науки. Заслуживает внимания тот факт, как различные аспекты лингвистики в различное время попадали в центр внимания. На этом конгрессе видное место заняли семантика, социолингвистика, психолингвистика, типология, историческая лингвистика и лингвистика текста. Кто бы мог подумать десять лет тому назад, что лингвистика текста завоеует себе место в качестве одной из самых важных отраслей наших исследований или что теория формального синтаксиса отступит на позиции секционных заседаний? Но именно так и произошло.

У нас была одна из самых насыщенных, если не самая насыщенная и уплотненная программа конгресса. Кроме пленарных заседаний, было совершенно невозможно посетить все заседания, и мы напряженно ждем печатных вариантов представленных здесь докладов. Но это не является, вероятно, главной целью собраний такого рода. На меньших по объему и более специальных конференциях участники могут прослушать значительно большее число докладов или даже все; это одна из конкретных целей таких более ограниченных по числу встреч. На наших конгрессах, проводимых один раз в пять лет, у нас есть другие, не менее важные дела: получить представление о современном состоянии лингвистики в целом, встретить друзей и коллег со всего мира (часть из них мы можем видеть только на таких конгрессах) и поддержать дух и практику международного сотрудничества в лингвистической науке. На секционных заседаниях наши младшие коллеги имели возможность привлечь внимание к своим исследованиям и представить свои идеи на суд более широкой аудитории. Особое удовольствие доставляет нам, представителям старшего поколения, видеть, несмотря на почти всеобщую нехватку денег, сколько было проявлено таланта и энтузиазма, сколько было подано надежд теми, кто продолжит наши исследования в XXI в., когда многих из нас уже не будет в живых. Давайте пожелаем нашим последователям добра, поскольку они будут стараться строить науку на том фундаменте, который мы смогли заложить.

Наш конгресс не был только работой. Некоторые из нас получили удовольствие от поездки в знаменитый и красивый город Дрезден; и все мы имели возможность видеть и восхищаться возрожденным из руин войны Берлином, в котором удачно сочетаются восстановленные старые здания с новой архитектурой. Для многих участников конгресса, вероятно, для большинства, этот визит является первым в Германскую Демократическую Республику, первым посещением этой страны и первой встречей с ее народом.

В наши дни лингвистика является обширной областью знаний. Она затрагивает все главное, что достигнуто в изучении человечества и в человеческом знании о самом себе. В общем языкознании мы пытаемся представить все это знание, и в этом высоком стремлении нашим главной безусловно является Вильгельм фон Гумбольдт. Для каждого присутствующего здесь должно было быть вдохновляющим встречаться в Университете им. Гумбольдта и каждый день проходить мимо его статуи, для на различные заседания. Гумбольдт верно видел лингвистическую науку как единое целое и в своих много численных сочинениях о языке коснулся всех основных вопросов языкознания. Для него, как и для нас, язык был сущностью человеческой природы и каждый язык бесценен: «Каждый язык является, так же, как и сам человек, постепенно развивающейся во времени бесконечностью».

Поскольку было бы преждевременным подводить итоги работы конгресса, хочется поделиться здесь лишь некоторыми общими впечатлениями. Конгресс со всей очевидностью показал, что наряду с существенно расширившейся проблематикой новых направлений исследования, сложившихся преимущественно на стыке языкознания и других наук, огромное место продолжает по-прежнему занимать разработка традиционной лингвистической проблематики. Взаимодействие обеих составляющих современной лингвистики создает все условия для всестороннего раскрытия «человеческого фактора» в языке. В докладах и выступлениях отчетливо ощущался возросший международный авторитет советской науки, укрепленный активным участием в работе конгресса большой группы видных советских лингвистов. Нельзя не отметить также увеличение удельного веса лингвистических исследований ученых социалистического содружества, прежде всего — ГДР и ЧССР. Работа всех под-

разделений конгресса характеризовалась духом глубокой заинтересованности в успешном развитии нашей науки. Здесь на практике были продемонстрированы широкие перспективы сотрудничества ученых Востока и Запада на путях взаимного обогащения достижениями.

В заключение необходимо отметить, что Академия наук и правительство ГДР приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить продуктивную работу конгресса. К его открытию были подготовлены предварительные публикации текстов пленарных докладов, а также тезисы секционных докладов. Работа различных подразделений конгресса проходила в большом зале Дворца съездов ГДР, в аудиториях Гумбольдтова университета, а также в других помещениях Академии. Была организована выставка-продажа последних лингвистических изданий, предусматривалась содержательная культурная программа.

Труды конгресса готовятся к публикации.

Климов Г. А., Кубрякова Е. С.
(Перевела выступления *Федосеева Н. Д.*)

РЕЦЕНЗИИ

Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка. Семантические проблемы лингвистики, философии, искусства. М.: Наука, 1985. 335 с.

Господствующее представление о языке, о том, какие его стороны и свойства наиболее важны для изучения, — все это характеризует парадигму лингвистики *his et tunc*, направляя деятельность лингвистов и навязывая им определенные образцы научной деятельности, осознаваемые в методологической рефлексии как «правильный метод». Как всегда в науке, представление о предмете несет в себе в законсервированной свернутой форме рекомендацию метода. Историк науки описывает происходившую смену парадигм, методолог — проектирует новую парадигму, призванную сменить устаревшую или исчерпавшую свои возможности. Ю. С. Степанов ставит перед собой не историческую и не методологическую (хотя в книге отражены и историко-научные, и методологические моменты), но философскую задачу: установить закономерность смены лингвистических парадигм, связанную с многоаспектностью (многомерностью) предмета лингвистики. Эта задача трудна и неблагоприятна. Вместо того, чтобы (как это сделал бы методолог) определить на карте лингвистики тропы, позволяющие углубиться в видимые трудности и преодолеть их, автор показывает как бы фотоснимок из космоса, на котором хорошо видно общее расположение предметов, пути, проложенные исследователями, но не различимы еще не пройденные в зарослях тропы, по которым следует отправиться в путь сейчас. Можно даже понять разочарование какой-то части читателей из-за того, что остались напрасными их ожидания узнать нечто конкретное о новых подходах в исследовании языка. Дело в том, что в лингвистике существует пресуппозиция: в книге, обсуждающей природу языковой деятельности, должны содержаться методы, при помощи которых сегодня, по мнению автора, следует изучать эту действительность, а также образцы применения этих методов. Рецензентам нарушение Ю. С. Степановым этой пресуппозиции представляется одним из свидетельств достоинств книги, оказавшейся не методологической, а философской — исследующей не сам язык,

но смену точек зрения на него, или, точнее, познавательных установок. Оказалось, что при всем различии этих установок, акцентирующих те или иные аспекты (или измерения) языка, в них обнаруживается глубинное единство, связанное в конечном счете с единством предмета изучения. На уровне «микропарадигм» или, точнее, последовательно провозглашаемых научных программ найти системное единство было бы затруднительно. Происходящее на этом уровне скорее напоминает смену мод: в области формализации, дистрибуции, трансформации и т. д. Единство обнаруживается с переходом на уровень лингвистического мировоззрения или, по словам автора, «философии языка». В смене семантической, синтаксической и прагматической парадигм усматривается последовательный переход от «философии имени» к «философии предиката» и, далее, к «философии эгоцентрических слов». Слово «философия» в кавычках примыкает метафорически, означая, скорее, онтологическую схему. Но изучение закономерностей смены этих «философий», их связи с представлением о том, что есть знание о языке и что есть процесс лингвистического познания, открытие их сверхпарадигмального единства и сделанный прогноз о предстоящем возвращении к новому витку спирали — все эти вопросы философские (уже без всяких кавычек).

По сути дела в книге ставится и определенным образом решается вопрос: как возможна лингвистика? Отсюда неслучайным оказывается постоянное обращение автора к истории философской мысли. Неслучайно и обращение к вопросам поэтики. Каждой лингвистической парадигме автор ставит в соответствие некоторые направления в поэтике. А

Выходя за пределы привычных междисциплинарных границ постижения языка в различных сферах человеческой духовной деятельности (науке, философии, искусстве), книга Степанова ставит своей задачей определить «некоторые типичные отношения к языку, образующие исторические периоды, „стили“, или „парадигм

мы", мышления в науке о языке, философии, искусстве слова от античности до наших дней» (с. 2), и установить закономерности их возникновения и развития. Сам автор относит круг рассматриваемых им проблем к особой междисциплинарной области, именуемой по-разному, — как «философские проблемы языкознания и семиотики», «языковые проблемы философии» или «философские проблемы языка» (с. 6—7). Эта область исследования, посвященная осмыслению сущности и предназначения языка, его онтологической природы, называется иногда также «философией языка» и понимается как раздел философии или науки в зависимости от избираемого ракурса рассмотрения тех или иных проблем и средств их разрешения. Ю. С. Степанов предпочитает, однако, использовать термин «философия языка» не в этом значении, а как синоним к термину «парадигма», под которой он понимает господствующий в конкретную историческую эпоху взгляд на язык и на общие принципы его устройства, тесно связанный с определенным философским течением и направлением в искусстве.

Основная методологическая сложность в решении поставленной Ю. С. Степановым грандиозной задачи построения типологии «философии языка» (с. 3) характерна для любой ситуации сопоставления концептуальных образований. Она касается проблемы соизмеримости. Ситуация в данном случае предельно усложняется в связи с тем, что речь идет не только о сопоставлении взглядов на язык, эксплицированных из разных теоретических систем в пределах одной дисциплины (например, лингвистики), но о сопоставлении различных пониманий языка из разных сфер человеческой деятельности — философии, науки (лингвистики, логики), искусства (поэтики). Автор достигает гомогенизации сопоставляемых взглядов на язык, избрав в качестве теоретической призмы для ретроспективного описания пониманий языка в этих сферах семиотическое представление языка в трех измерениях — семантики, синтактики и прагматики (дектики), в которых язык равномерно разворачивается в своем реальном бытии. «Семантика имеет дело с отношениями знаков к тому, что знаки обозначают, к объектам действительности и понятиям о них. Синтактика — с отношениями знаков друг к другу. Прагматика (дектика) — с отношениями знаков к человеку, который пользуется языком» (с. 3).

В первой главе книги рассматривается семантическая парадигма, по существу возникшая до конституирования лингвистики как научной дисциплины в связи с философским обсуждением природы языка. Автор справедливо подчеркивает ощущаемое самими представителями этой

парадигмы, длившейся более 1000 лет единства проблематики и общее чувство единства бытия, которым пронизаны все рассуждения в философии имени (с. 11). Три основные черты выделяет автор в этой парадигме: 1) понятие имени как исходная точка, 2) доминирование над всеми понятиями понятия сущности, 3) иерархическое строение создаваемых концепций и значимость понятия иерархии (с. 12). Отсюда уже видно, что многие концепции, считаемые в наши дни семантическими, к семантической парадигме отношения не имеют, ибо не обладают ни одной из указанных выше черт. Семантика в этих концепциях проявляется через средства, типичные для синтактики. Семантическая парадигма начинается с Платона и Аристотеля, проходит через всю схоластику и кончается в XVII в. В этой парадигме мир выглядит как совокупность устойчивых вещей, размеренных в чистом прострастве, а имя открывает путь к постижению сущности (с. 13). Обнаруженное противопоставление собственных и общих имен привело к идее сигнификации, открытой в схоластике как принцип «*Singularia nominantur, sed universalia significantur*» («Единичное именуется, а общее означивается»). Здесь можно усмотреть исток позднейших построений Г. Фреге и А. Черча (с. 16). Ю. С. Степанов показывает, что образование общих имен до сих пор составляет нерешенную проблему (с. 17). Подробно разбирается концепция языка Аристотеля, выражаемая у него как учение о сущности и других категориях. Показывается, как в системе Аристотеля возникает предикация и классификация предикатов на собственные признаки, определения, роды и приходящие (аксидентные) признаки. В средние века остро ставится проблема универсалий, которая породила философскую проблему общего и отдельного. Очень интересно рассмотрение взглядов на язык и значения Николая Кузанского, прежде всего идеи «некопирастных» (не выражимых через оппозицию) значений (с. 52—53). Интересно, что именно от Николая Кузанского идет и принцип определения значений через противопоставления, гипертрофированный впоследствии Ф. де Соссюром и структурализмом.

В рамках главы о «философии имени» уместно и интересно выглядит изложение взглядов А. Ф. Лосева, выраженных в его одноименной монографии. В частности, интересны и актуальны сегодня соображения А. Ф. Лосева о «логике эйдоса» или диалектике, в которой привычный для логики закон обратного отношения объема и содержания понятий меняется на противоположный.

Аналогом семантической парадигме ав-

тор считает символизм как поэтику имени. Как и в дальнейших аналогиях лингвистических парадигм и направлений в поэтике, здесь нам представляется более важной именно постановка вопроса и обоснование наличия аналогии, а не сама предлагаемая аналогия.

Вторая глава посвящена философским проблемам языка в XVII в., характеризуемому как межпарадигматический период. Автор имеет при этом в виду, что в данный период продолжала существовать философия имени, но наряду с ней возникли работы по искусственным формальным языкам (Декарт, затем Лейбниц), получившие свое естественное завершение в «философии предиката». Идея Декарта, выраженная в письме к аббату Мерсенну, состояла в том, что создание грамматики без исключений обеспечивает простое пользование языком с помощью словаря. К этому предлагается добавить способ образования исходных слов. Изобретением искусственного языка занимался и Ньютон. Ю. С. Степанов видит роль Б. Спинозы как первой крупной фигуры будущей парадигмы предикатов и, одновременно, как создателя гипотезы о языке в промежуточном мире, стоящем между действительностью и сознанием. При этом в некотором отношении Спиноза еще остается «философом имени». Однако, с другой стороны, Спиноза рассматривает атрибут как сущность субстанции. Здесь сущность уже понимается как «пучок атрибутов», как это будет общепринято в «философии предиката» (с. 107).

К межпарадигматическому периоду автор относит и период XVIII — первая половина XX в., рассматриваемый в третьей главе. Как доминирующие линии этого периода указываются: 1) выработка исторического взгляда на язык; 2) рассмотрение некоторых черт языка как логических констант содержания мышления. Здесь открывается противопоставление исторического и логического взглядов на язык, которым еще предстоит слиться в логико-философской парадигме середины XX в. (с. 114).

Четвертая глава посвящена синтаксической парадигме (которую автор начинает с изложения взглядов А. Бергсона), четко выразившей мысль о текучести, изменчивости тех объектов, которые ранее считались устойчивыми вариантами мира. Основой познания становится не сама вещь, а пучок ее свойств. Изменение свойств превращает вещь в нечто иное (с. 124). Уместно приводимое в этой связи сопоставление указанной парадигмы с физическими представлениями А. Эйнштейна (с. 125). Событие оказывается исходным фактом бытия; претерпевает изменение центральное понятие предыдущей парадигмы — сущность, к которому «филосо-

фы предиката» испытывают «непреодолимое отвращение» (с. 128). Сами «приписываемые денотатов и значений... путем установления абстрактного соответствия» (с. 128—129) исследуются теперь синтаксическим способом. Автор отмечает, что «...разработка синтактики... была связана с открытием в недрах семантики не вполне семантической категории — Предиката» (с. 129). Автор показывает роль Б. Рассела в формировании предикативной парадигмы и его близость к Э. Маху, от которого он, однако, вместе с другими сторонниками логического позитивизма решительно отмежевался. Любопытно обнаружение истоков «философии предиката» в категориях стоиков. Вообще «от концепции стоиков пролегает путь к номинализму... Оккама и, через его посредство, к англисаксонской „лингвистической философии“ нового времени...» (с. 142). Надо отметить неточность автора на с. 164: в предложениях типа «А считает, что р» подстановка не только выражений с общим экстенционалом, но и с общим интенционалом может изменить значение истинности. По крайней мере это обстоятельство удалось выяснить Р. Карвану. В пределах той же главы обсуждается тезис «значение есть употребление» (с. 174). Идея задавать значение через дистрибуции — типичная реализация этого тезиса. Автор отмечает, что «в последнее время некоторые философы языка снова стали склоняться к пониманию значения (интенционала) как „латентической сущности“ вроде числа» (с. 177), а не просто характеристики словоупотребления. В качестве «синтаксических поэтик» автор приводит кубофутуристов и имажинистов. Однако более интересным является разбор поэтики «человека без свойств», выросшей из идеи, что вещь есть лишь совокупность свойств.

В качестве еще одного парадигматического периода автор называет феноменологию Гуссерля и его последователей (см. гл. 5). Среди важнейших нововведений Гуссерля автор отмечает выдвижение понятий интерсубъективности и прозрачности знака. Последнее состоит в том, что, рассматривая вещь через знак, мы не видим самого знака и его свойств.

Наконец, шестая глава посвящена характеристике прагматической парадигмы, которая «поставила в центр внимания координату „Я“, рассматривая ее как необходимую основу для всего остального» (с. 217). Истоки этой парадигмы автор усматривает в литературе, где расслоились позиции рассказчика, автора и т. д. Примеры такого расслоения обнаруживаются у Ибсена, Достоевского, Кьеркегора, Пруста, Т. Манна, Ф. Кафки и др. Формальным выражением такого воззрения на язык явились так называемые

грамматики Р. Монтего. Автор отмечает, что даже собственное имя зависит от употребления, т. е. положения говорящего относительно слушающих. Разумеется, любые предложения о мнениях (вере, убежденности и т.п.) принципиально являются эгоцентрическими выражениями, т. е. связаны с координатой «Я». В этой парадигме язык соотносится с субъектом говорения, а все понятия релятивизируются относительно субъекта. В качестве примера коррелирующей с изучаемой парадигмой поэтики рассматриваются особенности повествования в романе Горького «Жизнь Клима Самгина».

В книге подчеркивается наличие инвариантов — «философских констант языка» (с. 7), присущих всем парадигмам во все времена. Такова идея правильности имен, спор о которой начал в «Кратиле» Платона. У Платона имя связано с сущностью вещи, ее эйдосом, и только поэтому способно именовать разные проявления этой сущности. Но ведь наследие этой идеи можно обнаружить и в семантических параметрах, и в семантических надеждах. Идея двух языков — правильного и окказионального (для сущностей и явлений), теория двух языков Пор-Рояля и т.д. — дожила в лингвистике вплоть до сегодняшних споров о формализуемости и окказиональности языка, объяснительной силе логических моделей. Надо подчеркнуть, что из книги Ю. С. Степанова отчетливо видна вся надуманность споров о взаимоотношении логики и лингвистики. Эти оппозиции мало принципиальны, поскольку при смене лингвистической парадигмы аналогичное изменение происходит и в сфере логических интересов. Так, переход к прагматической парадигме оказался неотъемлемым от появления в логике моделей Кришке с их набором возможных миров и рафинированных модальных, временных и прочих «неклассических исчислений» в логике. Подобно этому силлогизмы Аристотеля не используются в предикации, но основаны на соотношении родовых имен и видовых сущностей, т. е. деликом принадлежат семантической парадигме.

Развитое в книге представление о единстве всех трех подходов к языку резюмируется в последней главе как «Общая картина языка в свете этапов (парадигм) его познания». Автор последовательно строит три эскизные модели языка — язык, обладающий только семантикой, язык с семантикой и синтактикой и язык с семантикой, синтактикой и прагматикой. В связи с этими моделями иллюстрируются возможные поэтики. Из этих моделей видно, как происходит последовательный переход ко все более сложному и адекватному представлению о предмете лингвистики, по-разному раскрывающемуся в последовательных парадигмах и межапарадиг-

мальных состояниях лингвистики. В некотором смысле эти модели выражают взгляд автора на то, как должна развиваться лингвистика.

Сложную задачу в изучении генезиса концентуальных систем и их становления составляет определение причин появления их в определенную историческую эпоху и установление закономерностей их существования во времени. Всякий процесс познания, в том числе и процесс постижения языка, как известно, детерминирован двумя началами: объективным, идущим от особенностей строения объекта, и субъективным, определяющимся во многом уровнем развития общественного сознания конкретной исторической эпохи, когда осуществляется это познание. Сосредоточив свое внимание преимущественно на первой стороне, Ю. С. Степанов в своей книге только намечает вторую линию исследования, говоря о связи парадигм с определенными стилями мышления в науке и стилями в искусстве. Можно предположить, что закономерность появления определенных «философий языка» непосредственно связана со «стилеобразующим сознанием» исторической эпохи как целостности умонастроения и миропонимания, пронизывающей собой все сферы человеческой деятельности и налагающей свою печать на продукты культуры [4]. Объем книги не позволил автору остановиться на этой линии исследования подробно. Книга Ю. С. Степанова, в которой сквозь призму семиотики прослеживается история формирования взглядов на язык, глубоко исчерпав внутреннюю резервы семиотического подхода к языку, подводит читателя косвенным образом к вопросу о границах семнологической трактовки языковой онтологии. Тот факт, что при заключительной схематизации основных проблем изучения языка у автора не было необходимости упоминать проблематику «межапарадигмальных глав», свидетельствует не только, как справедливо отмечает автор, о более важной роли парадигм по сравнению со взглядами межапарадигмальных периодов (Декарт, Лейбниц, Кант, Гегель, Гуссерль), но и, возможно, наводит читателя на мысль об известной узости семнологической призма при ретроспективном изучении «философии языка».

Книга Ю. С. Степанова при всем богатстве своего содержания представляет огромный интерес и в методологическом плане. В ней нашли свое отражение две важные тенденции современного познания — тенденция к рефлексии (самопознанию) в науке (критический анализ форм и оснований той или иной науки) и тенденция к интеграции, формированию целостного взгляда на познаваемую действительность. Преодолевая узкие междисциплинарные барьеры при изучении

языка, она открывает новые пути постижения языка в его целостности.

Постовалова В. И., Шрейдер Ю. А.

1. *Гайденко П. П.* Эволюция понятия науки. М., 1980. С. 7.

Историческая типология славянских языков. Фонетика, словообразование, лексика и фразеология. /Под ред. Мельничука А. С. Киев: Наукова думка, 1986. 286 с.

Размах сопоставительных исследований самого разного типа, характерный для современной лингвистики, в значительной степени компенсировал былую диспропорцию между традиционным сравнительно-историческим методом и типологией. Вместе с тем такая компенсация шла по линии разработки прежде всего синхронического аспекта сопоставления. Единство синхронического и исторического подходов, характерное для лингвистической типологии начала XIX в. — времени ее зарождения, — к сожалению, дифференцировалось преимущественно в первом направлении. Конечно, отдельные работы по типологии близкородственных языков появлялись и прежде, однако лишь в последние два десятилетия начинают разрабатываться (причем в основном советскими языковедами) принципы исторической типологии, методологически отличные от принципов типологии синхронической.

Немало в этом направлении сделано украинскими учеными, особенно сотрудниками Института языковедения АН УССР, где ведется фронтальное сопоставление славянских и неславянских языков на самых различных уровнях, составляются многочисленные двуязычные словари и большой этимологический словарь украинского языка, вырабатываются теоретические концепции сопоставительных исследований. Не случайно поэтому, что первая попытка монографического обобщения принципов исторической типологии — рецензируемая книга — написана именно коллективом исследователей этого Института. Распределение труда при написании книги отражает научные интересы и многолетний опыт ее авторов: В. Т. Коломиец написана глава «Фонетика», раздел «Фонематика», часть раздела «Просодика»; разделы «Имя существительное» и «Имя прилагательное» в главе «Словообразование», Т. Г. Линник — глава «Лексика», Т. Б. Лукиной — раздел «Имя числительное». А. С. Мельничуком глава «Введение. Основные направления типологических исследований» и два подраздела «Словообразовательные типы глаголов, мотивированных именными частями речи» в разделе «Глагол», Г. П. Пивторак часть раздела «Глагол», В. Г. Склад-

ренко часть раздела «Просодика», посвященные ударению и интонации, В. А. Ткаченко раздел «Наречие», О. Б. Ткаченко глава «Фразеология».

Известно, что коллективные монографии нередко оказываются «полиграфиейми» из-за того, что каждый автор поневоле запечатлевает в ней свою научную индивидуальность. Этого не происходит лишь тогда, когда коллективное исследование с самого начала проводится на базе единой и цельной концепции, по единому и продуманному плану. Именно таким исследованием и является рецензируемая монография. Здесь во всем чувствуется провидательный взгляд и твердая рука ее редактора — А. С. Мельничука.

Во Введении А. С. Мельничук дает компактный обзор основных направлений типологических исследований, подчеркивая центральную позицию лингвистической типологии в общей системе языкознания. Концептуальный лейтмотив книги — мысль о противопоставленности историко-типологического сопоставления синхронно-типологическому, при акцентировке промежуточного положения первого. «Историческая типология близкородственных языков предлагаемого характера, — подчеркивает А. С. Мельничук, — представляет собой особое направление в изучении языка, промежуточное между общей типологией языков и сравнительно-историческим языкознанием. Развиваясь на стыке этих двух направлений лингвистического исследования, историческая типология родственных языков выступает как результат их методологической интеграции; от общей типологии она заимствует метод сопоставления структурно соответствующих фактов разных языков, от сравнительно-исторического языкознания — историко-генеетическое освещение сопоставляемых фактов» (с. 18). Такой подход позволяет соединить каждую конкретную типологическую характеристику с ее диахроническим толкованием и тем самым наполнить типологию родственных языков историческим содержанием, максимально освещающая исторические судьбы формирования того или иного типа родственных языков во всех его инвариантах или вариантах.

Понятно, что такой подход возможен

лишь при типологическом сопоставлении близкородственных языков. Именно такое сопоставление показывает, однако, что при всей их генетической близости типологические различия между ними оказываются весьма значительными. В славянских языках это касается особенно фонетики и словоизменения, в меньшей степени — лексики и фразеологии, еще меньше словообразовательных и синтаксических явлений. Этот, на первый взгляд противоречащий общепринятому положению о мобильности лексики вывод А. С. Мельшичук аргументирует объективным разграничением темпов или частоты изменений от понятия их типологических результатов (с. 10). В соответствующих главах книги предложенная концепция последовательно обосновывается.

Основным аргументом для авторов является обильный конкретный материал 11 славянских языков, исследуемых в сопоставительном спектре. Нередки апелляции к общеславянскому и индоевропейскому фону, весьма широко (особенно в лексической части) интерпретируются заимствования из неславянских языков. В отличие от сравнительно-исторических исследований в данной монографии широко представлен и самый современный материал: например, отмечается заметный рост средней длины слов в современных славянских литературных языках вследствие образования новых сложных слов и западноевропейских заимствований (с. 42) или приводятся лексемы типа русск. *супермодный*, укр. *суперсучасний*, серб.-хорв. *супермоћан* (с. 89). И в конкретно-материальной фактуре, следовательно, проявляется тот промежуточный характер новой типологической дисциплины, который манифестируется авторами.

В монографии впервые в славянском языкознании дано последовательно типологическое описание славянских литературных языков на фонетическом, словообразовательном и лексико-фразеологическом уровнях, причем с указанием исторического фона каждого типологического признака. Схема каждого раздела едина: вначале анализируются типологические признаки, общие для всех славянских языков, а затем приводятся типологические расхождения между различными подгруппами славянских языков и отдельными языками.

Особо удачным в работе кажется симбиоз типологического сопоставления с сопоставлением ареальным. Ареальная картина каждого явления практически никогда не выпускается из виду авторами, что позволяет показать исключительно пеструю географическую сетку схождения и расхождения славянских языков. Эта картина коренным образом отличается от привычного традиционного членения славян-

ского языкового мира на три группы — восточнославянскую, западнославянскую и южнославянскую. Это и понятно: диалектные скрещения, миграции, взаимодействия с иноязычными системами изначально размывали границы троичного деления Славии. Этимологи и диалектологи давно уже показывали его условность (Ф. Безлай, О. Н. Трубачев, Н. И. Толстой и др.), но столь глобальная типологическая демонстрация ареального многоветвия славянских языков, пожалуй, дана впервые.

Важно при этом, что несмотря на сложность и запутанность ареальных нитей различных языковых явлений, они не сплетаются в некий гордиев узел: многие из них указывают пути генетического или историко-политического развития славянских языков. Очень четко, например, прослеживается одна из мощных изоглосс — восточнославянско-польская, которую на лексическом материале еще в 1955 году нацупал И. Леков. Авторы же подтверждают ее интензивность фактами практически всех языковых уровней (ср. с. 29, 74, 94, 98, 136, 196, 207, 251). Любопытно, что здесь исконное, генетическое тяготение, подкрепленное общими историческими судьбами, «работает» в двух направлениях: известному воздействию польского языка на восточнославянские соответствует и обратная тенденция. Она видна, например, в факте заимствования польским языком этнетного выражения *бить челом* (с. 251—252). Любопытны и многие другие лингвогеографические пунктиры, вычерченные авторами: словено-западнославянские изоглоссы (с. 243), западнославянские-македонские (с. 44), украинско-белорусские (с. 75), или наблюдения о «необъединяемости» южнославянских языков в самостоятельную группу по словообразовательным изоглоссам (с. 98). Значение подобного рода выводов особо велико в свете одной из актуальных задач славистики — составления «Общеславянского лингвистического атласа».

Оправдана и осторожность при интерпретации столь противоречивых изоглоссных данных. Авторы не только не пытаются на их основе «подрубить под корень» традиционную классификацию славянских языков, осознавая, что это — не их задача, но и скрупулезно оговаривают даже случаи возможной «зафиксированности» того или иного явления (с. 137), которая могла бы скорректировать их наблюдения. Как кажется, от огульных интерпретаций (весьма соблазнительных при таком количестве конкретных фактов) исследователей уберегает последовательный историзм, внимание к хронологии и

диалектика сопряжения генетического и типологического подходов.

Помимо общих достоинств этого коллективного труда необходимо отметить ряд удачных разработок конкретных «уровневых» явлений. В главе «Фонетика» такой разработкой является количественная характеристика типологических различий между славянскими языками. Оказывается, в частности, что из всех славянских языков общее количество фонем одинаково лишь в русском и словацком (по 41) и в словенском, чешском и сербохорватском языках (по 35), а распределение этих языков по количеству фонем (в порядке их убывания) таково: украинский — 47, болгарский — 45, польский — 44, русский — 41, словацкий — 41, белорусский — 40, верхнедунайский — 39, чешский, сербохорватский и словенский — 35, македонский — 31 (с. 34—35).

Аналогичная статистика приводится и в самой объемистой главе «Словообразование» (с. 46—192). Так, к числу типологических показателей авторы относят и общее количество свойственных каждому отдельному языку словообразовательных признаков. В книге дана классификация с этой точки зрения славянских языков в порядке убывающего количества отсутствующих в них признаков словообразования имен существительных, в которой на первом месте оказывается македонский язык (19 отсутствующих признаков), а на последнем — русский (всего 3 признака) (с. 76).

Важно, что словообразовательный анализ семантичен (с. 52, 159 и др.), хотя далеко не везде в этой главе значение соответствующих аффиксов и лексем очерчено четко. Иногда авторы проявляют здесь и излишнее доверие к своим предшественникам. Таково объяснение (правда, достаточно осторожное) укр. и белорусск. наречия *дармо* и под. под влиянием чешских наречий на *-то* (с. 134), что сомнительно при анализе диалектных восточнославянских вариаций такого типа наречий¹ [1]; или переоценка греческого влияния на образование сложных имен существительных в восточнославянском и болгарском языках (с. 63); оно могло стимулироваться процессом конденсации и другими внутриязыковыми факторами [2].

Немало удачных наблюдений и в главе о лексическом составе славянских языков (с. 193—243). Автор здесь творчески применяет классификацию А. Е. Супруна, демонстрируя на общеславянском фоне степеня сходства и различия отдельных тематических групп лексики. Единство современных славянских языков в области лексики верно объясняется совокупностью объективных фак-

торов: устойчивостью общего праславянского фонда (наличие которой обосновывается статистически); использованием одинаковых морфологических средств; непрерывной традицией взаимовлияний литературных языков; наличием общих источников заимствований (с. 199). Внимателен автор этой главы и к такому важному словообразовательному моменту, как семантическая конденсация, ставшая в последние 20 лет инструментом измерения типологических сходств и различий славянских языков. В спектре конденсации анализируется такая группа лексики, как названия языков (с. 213 и сл.). Анализируются здесь и другие группы — наименования видов мяса, названия предприятий, обозначения размера в славянских языках. При этом автор не просто регистрирует семантическую тождественность или расхождение, но учитывает и экстралингвистические моменты (см., например, с. 238) и даже в случае необходимости показывает функционально-стилистическую дифференциацию одинаковых по форме и значению лексем (с. 226).

Общий недочет этой главы — в том, что акцент сделан лишь на оппозиции «однословный способ наименования — составное наименование», весьма важный для лексики, но не единственно возможный. Мало использована теория и практика идеографического анализа лексики, не затронута проблема экспрессивных потенций слова, а они — эти проблемы — сейчас активно обсуждаются лексикологами. Идеографический принцип классификации лексики положен, как известно, в основу многих систем ее типологического изучения — в частности, лингвистический атлас Европы целиком строится на ней, а в упомянутом уже общеславянском атласе она занимает внушительную часть вопросника. Недоучитываются в этой главе и образования по модели (с. 220), в отдельных местах — ступки однообразного, однородного материала (с. 234), избыточного для демонстрации авторской мысли.

Глава «Фразеология» невелика по объему (с. 244—270), но проблема по содержанию. Ее автор — О. Б. Ткаченко — продолжает в ней изыскания по анализу устойчивых формул славянских и неславянских языков [3]. Методика анализа весьма полезна особенно для описания интернационализма — не случайно объектом исследования являются этикетные формулы типа *будь здоров, с богом, день добрый*. Очерки о них написаны с привлечением большого конкретного материала индоевропейских и неиндоевропейских (особенно финно-угорских) языков. Такой подход пер-

спективен для определения контактных зон славянских языков и для установления фонда «евролеизмов».

К сожалению, однако, за рамками этой главы осталась идиоматика славянских языков, которая составляет «золотой фонд» собственно фразеологии. Поэтому ареалы, намеченные О. Б. Ткаченко, тяготеют к интернациональным и мало отражают собственно славянскую, тем более — внутриславянскую специфику устойчивых словосочетаний. Жаль также, что сам термин «фразеологизм» употребляется автором весьма расширенно — даже в отношении слов типа *пожалуйста* (с. 258), *благодарю* (с. 266) или *караул!* (с. 269), что вряд ли правомерно.

Можно отметить и общие спорные или проблематичные положения или места книги. Переоценивается, как кажется, роль субстрата в славянских языках — особенно в фонетических системах (с. 32, 39, 45, 40). Не всегда при анализе заимствований учитывается язык-посредник — например, немецкий для освоения галлицизмов в чешском (с. 58). Обилие материала, которое является, как уже подчеркивалось, достоинством монографии, оборачивается в некоторых ее частях подачей его списком, «навалом» (с. 49). При сопоставлении чаще всего подаются разные наборы лексем, хотя вполне возможны наборы почти тождественные — это бы сэкономило место (ср. с. 56, 57, 59, 62, 77, 138, 139, 150). Лишь в разделе о числительных видна четкая тематическая однородность сопоставляемого материала (с. 104). Неоднотипно обращаются авторы и с переводом приводимых славянских фактов — то дают его, то нет (ср. с. 55, 56, 57, 59, 68, 230). Не учтена и отдельная литература, прямо относящаяся к проблеме, — например, фундаментальная статья об именах существительных с суф. *-dl-(-l-)* [4] при рассмотрении его на с. 55 или новаторская работа Ш. В. Хайрова [5] при анализе славянских составных наименований (с. 213 и сл.). Можно, конечно, найти

и мелкие огрехи типа опечаток в чеш. *malo* вм. *málo* (с. 123) или *donest* вм. *donést* (с. 145). Ясно, однако, что это — мелкие придирки к крупной работе.

«Историческая типология славянских языков» — фундаментальный вклад в сопоставительную лингвистику. Несомненно, что этот труд значительно оживит славистические исследования в этом направлении, откроет новые перспективы в синкретичном рассмотрении языковых фактов как с синхронических, так и с диахронических позиций. Книгу прочтут не только научные работники и преподаватели вузов, но и студенты-слависты и студенты-русисты, в программу обучения которых входит курс сравнительной грамматики славянских языков. Остается только пожалеть, что тираж книги весьма невелик — всего 1800 экземпляров, и пожелать ее авторам не только завершить и опубликовать второй том этого нужного труда, но и переиздать том рецензируемый.

Мокиенко В. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. Черепанова О. А. Об одном непродуктивном типе наречий в русском языке // Исследования по грамматике русского языка. Вып. V. Л., 1973. С. 197—206.
2. Кошелев А. К. Одна синтаксическо-морфологическая модель в славянских языках // Годишник на Софийския университет. Филологически факултет. 1964. Т. 58. № 2.
3. Ткаченко О. Б. Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков. Киев, 1979.
4. Кондрашов Н. А. Имена существительные с суффиксом *-dl-(-l-)* в славянских языках // *Sborník pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Filologické studie*. 1975. VI.
5. Хайров Ш. В. Аналитические предикативные выражения в славянских языках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1985.

Теория грамматического значения и аспектологические исследования / Отв. ред. Бондарко А. В. Л.: Наука, 1984. 281 с.

Аспектологическая проблематика постоянно находится в центре внимания грамматистов. Конечно, особое внимание ей уделили слависты: в славянских языках вид является грамматической категорией, обязательной для глагола

в целом. Однако и исследователи тех языков, которые не обладают такой категорией, описывают аспектуальные значения и средства их выражения в этих языках. Рецензируемая монография построена преимущественно на не-

славянском материале. Из 11 глав работы лишь в первой и восьмой рассматриваются славянские языки, в остальных главах — немецкий, английский, французский, армянский, узбекский, албанский, чукотский и грузинский. Весь материал описывается с единых теоретических позиций — с позиций лингвистической аспектологической школы; при этом используется понятие функционально-семантического поля аспектуальности [1].

Монография, подготовленная в отделе теории грамматики и типологических исследований ЛО Института языкознания АН СССР, является существенным шагом вперед как в разработке теории общей и сопоставительной аспектологии, так и в исследовании видо-временных систем ряда языков. Хотя главы, посвященные отдельным языкам, не построены по единой схеме и весьма разнородны по содержанию, можно выделить (в соответствии с введением к монографии) ряд общих теоретических проблем, рассматриваемых в ней: 1) функционирование видо-временных форм глагола; 2) связь лексических значений глагола с их видо-временной семантикой; 3) семантическая структура поля аспектуальности.

1. В монографии получили дальнейшее развитие актуальные в настоящее время проблемы функциональной грамматики, и прежде всего проблема функционирования грамматических форм. В главе «Типология славянских видо-временных систем и функционирование форм претерита в „эпическом“ повествовании» (автор Ю. С. Маслов) дан четкий и содержательный анализ употребления форм прошедшего времени глаголов совершенного и несовершенного видов для выражения различных типов видо-временных ситуаций, представленных в художественном тексте. Исследуется употребление этих форм в русском, болгарском и сербохорватском языках, представляющих три главных типа организации славянских претеритальных систем. Эта глава намечает перспективные направления исследования аспектологических проблем с позиций лингвистики текста, способствует формированию «аспектологии текста», и в частности — «сопоставительной аспектологии текста».

Функционирование видо-временных форм английского глагола в плане «аспектологии текста» рассмотрено в главе, написанной Т. Г. Акимовой. Автор изучает возможности комбинаторики семантических признаков качественной аспектуальности в разных типах высказывания. Употребление французского имперфекта и претерита в речи иссле-

дует Е. А. Реферовская, функционирование видо-временных форм различных смысловых групп армянского глагола (глаголов физического воздействия и эмоционального отношения) — Н. А. Козинцева, контекстные условия реализации значений видо-временных форм албанского глагола — А. П. Сытов, употребление чукотских видо-временных форм — В. П. Недялков и его соавторы. В главе, написанной Ю. А. Пузыниным (единственной главе, полностью основанной на русском материале), описывается употребление глаголов страдательного залога в неограниченно-кратном (*ворота открывались ... раз в неделю*) и потенциально-качественном (*стеклянная посуда легко моется*) значениях несовершенного вида.

В связи с описанием употребления видо-временных форм в ряде глав поставлен теоретически важный вопрос о соотношении значения, в котором та или иная форма выступает в тексте (речи), с системным значением этой формы в языке. Так, в главе об аспектуальных значениях французского глагола Е. А. Реферовская выявляет системные и функциональные (речевые) значения форм претерита и имперфекта.

Особое внимание этой проблеме (и связанной с ней проблеме соотношения частных и общих значений) уделено в главе «Темпоральные и аспектуальные признаки в семантике „временных форм“ немецкого глагола и некоторые вопросы теории грамматического значения». В. М. Павлов — автор этой главы — отстаивает точку зрения, которая состоит в том, что «типичные частные значения грамматической формы, являющиеся продуктами ее взаимодействия с категориальными признаками лексических значений, которые „подводятся“ под эту форму, относятся к ее семантическому потенциалу не как варианты речевого уровня к инварианту языкового уровня, а образуют взаимосвязанные элементы системы потенциально реализуемых в речи значений формы» (с. 43), т. е. являются языковыми. Эта точка зрения представляется убедительной: действительно, вряд ли правомерно было бы ограничивать сферу языковой семантики только обобщениями частных значений, а последние считать только речевыми. В главе дан обстоятельный анализ «сопряженных» темпоральных и аспектуальных сем, образующих семантический потенциал глагольных форм немецкого языка. Этот анализ подтвердил возможность использования того понятия семантического потенциала, которого придерживается автор.

Однако вызывает возражение та негативная характеристика, которую по-

лучает в главе используемое во многих работах понятие общего инвариантного значения грамматических единиц. Завершая главу, автор пишет: «только отказ от жесткого оппозиционного подхода к изображению грамматической системы и ее подсистем с преимущественной опорой на „универсальные системные инварианты“ получаемые посредством „отбрасывания“ всех „временных“ признаков... открывает перспективу такого анализа грамматического строя, который соответствует задачам современной лингвистической науки» (с. 70). Надо полагать, что достаточно полно виды «устройства» грамматических значений могут быть описаны только в результате анализа разнообразных грамматических форм многих языков. Однако уже сейчас можно сказать, что многие из этих форм вряд ли могут быть описаны без помощи понятия общего инвариантного значения. Не повторяя многих примеров из области грамматической семантики, отметим, что без понятия общего инвариантного значения нельзя обойтись и в области словообразования. Значения многих словообразовательных аффиксов (-а-, -ова-, -нича-, -ник-, -щик/-чик, -тель, н-, -ов-, -ск- и др.) могут быть установлены только путем сведения к семантическому инварианту тех семантических компонентов, которые приходятся на их долю в конкретных словах (см. подробнее [2]). Этим способом определяется их семантический потенциал, очерчивающий круг возможных новообразований с помощью данных аффиксов. Вместе с тем в сфере словообразования можно отметить и такие единицы (например, префиксы), значение которых представляется собой, говоря словами В. М. Павлова, «разветвленный „пучок“ значений... не сводимый... к какому-либо инварианту» (с. 46). Отметим, кстати, что развитие значений славянских префиксов (прежде всего глагольных) — прекрасная иллюстрация того процесса возникновения разветвленных пучков значений грамматической единицы, о котором пишет В. М. Павлов: «В ходе развития языка грамматическая форма распространяется на новые разряды слов, категориальные семантические признаки которых отличают эти разряды от тех, на которых данная грамматическая форма первоначально определялась в своем содержании. В ее семантике появляются новые признаки...» (с. 46). Так, значение «обмана» у префикса *об-* (*обсчитать*, *обмерить* и т. п.) появилось, надо полагать, в результате сочетания этих префиксов с беспрефиксальными глаголами «обмана» (*обжурить*, *обкрасть* и т. п.) и было заимствовано префиксом у этих

глаголов. Это новое значение не сводится в единый инвариант совместно с другими значениями того же префикса.

Однако данный процесс развития значений грамматических форм не является единственно возможным (в частности, расширение сочетаемости формы, имеющей достаточно широкое значение, может не оказывать на это значение никакого влияния). Не является универсальным с нашей точки зрения и предложенный В. М. Павловым способ анализа грамматической семантики.

2. Одним из сложных вопросов аспектологии продолжает оставаться вопрос о связи лексического значения глагола с его аспектологическими характеристиками. Остается актуальной задача максимально полного выделения лексических разрядов, сочетающихся или не сочетающихся с компонентами видовой семантики. В монографии сделан существенный вклад в решение этой задачи. Во многих ее главах рассматриваются группировки глаголов, представляющие собой результат разной степени обобщения их лексических значений: 1) предельные / неопредельные глаголы; 2) способы действия; 3) обобщенные семантические группы: глаголы действия / состояния; динамичные / статичные; конкретные / абстрактные и т. п.; 4) более частные семантические подгруппы: глаголы созидания и разрушения; приобретения, передачи; звуковых проявлений; физического воздействия; эмоционального отношения и т. п. Описываются виды соотношений между многими группировками в разных языках (например, способы действия предельных глаголов: семантические подгруппы глаголов состояния и т. п.).

Особое внимание уделяется предельным/непредельным глаголам. На материале разных языков получена подтверждение важность этих семантических подклассов глаголов для образования и функционирования видо-временных форм (ср. особенно главы об аспектуальной семантике немецкого, английского, французского, армянского и узбекского глаголов). Показано, что особую роль эта категория играет в тех языках, которые не обладают грамматической категорией вида.

Материалы монографии демонстрируют чрезвычайную нестрону и разнообразие лексических значений, признанных аспектологически релевантными. Естественно возникает вопрос о построении их иерархии, об их систематизации и об уточнении границ самого поля аспектуальности. Далеко не всегда ясно, какие из описываемых значений следует включать в это поле. Определенно можно считать аспектуальными первые два из указанных выше групп значений — значе-

ния предельности / неопределенности и способов действия. Вместе с тем, как известно, категория способов действия в аспектологической литературе с достаточной четкостью не определена. Исследователи неодинаково очерчивают ее границы и предлагают разные семантические и формальные критерии ее выделения. Определения понятия «способы действия» нет ни в одной из глав монографии, хотя рассмотрены многие из них.

Неясно, следует ли вводить в поле аспектualityности третью и четвертую из указанных группы значений. Целесообразно, видимо, считать их не входящими в поле аспектualityности, но аспектологически релевантными.

3. С вопросом о границах поля аспектualityности тесно связан вопрос о его семантической структуре. В каждой из глав подробно описываются основные аспектологические значения, выраженные определенными средствами данного языка. Описание такого рода открывают перспективу широких обобщений в области сопоставительной аспектологии. (Ср. задачи сопоставительной аспектологии, намеченные в [1].)

Следующим шагом исследований может быть выявление универсальных аспектологических значений, свойственных всем изученным языкам или их большинству, и более специфических аспектологических значений. Необходимо, конечно, и выявление сходств и различий в средствах выражения аспектualityной семантики (этим средствам в рецензируемой монографии уделено, к сожалению, гораздо меньше внимания, чем значениям). Во многих главах монографии продемонстрировано, что в языках, не имеющих грамматической категории вида, важнейшим средством выражения видовых значений являются формы времени, «созначением» которых являются видовые значения.

В монографии уделено большое внимание взаимодействию поля аспектualityности с другими полями — прежде всего с полем темпоральности, а также с полем таксиса. Специальные главы (седьмая и восьмая) посвящены взаимодействующей аспектualityности и залоговости.

В краткой рецензии, конечно, невозможно остановиться на всех сторонах этой содержательной книги. Специального разбора заслуживали бы, например, тонкие и многообразные семантические

характеристики видо-временных форм изучаемых языков. Эти характеристики, несомненно, должны быть учтены в грамматических описаниях этих языков.

Монография объединена единством цели (описание полей аспектualityности разных языков, дальнейшая разработка теории грамматического значения) и общностью теоретической концепции — функциональная грамматика в ее «полемом» варианте. В книге, однако, есть не совпадающие точки зрения по ряду вопросов. На некоторые из них указано в книге (ср. полемику между А. В. Бондарко и В. М. Павловым по поводу «категориальных значений»), другие может обнаружить читатель. Так, по мнению В. М. Павлова, существуют глаголы, «нейтральные по отношению к признаку предельности / неопределенности» (с. 57), в то же время Е. А. Реферовская полагает, что «несомненно прав Г. Лафленс . . . настаивающий на том, что „для всякой глагольной лексемы предельность или неопределенность является обязательной врожденной чертой“» (с. 94). Может быть, во введении к монографии следовало дать определение некоторых понятий, используемых в дальнейшем большинством авторов. Это устранило бы немногочисленные повторения, имеющиеся в главах. Так, в четырех главах (ср. с. 50, 72, 93, 133) даются очень близкие друг к другу определения предельных / неопределенных глаголов.

В целом же монография представляет несомненный интерес для теории грамматики, для общей и сопоставительной аспектологии. Она совершенствует методику аспектологических исследований, расширяет их фактическую базу, намечает интересные перспективы дальнейшего изучения сложных проблем глагольного вида и связанных с ним грамматических и лексических явлений.

Улуханов И. С.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.
2. Улуханов И. С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. М., 1977. С. 87—96.

История изучения славяно-венгерских языковых контактов берет свое начало в классических трудах Ф. Миклошича [1] и Б. Мункачи [2], исследования которых до сегодняшнего дня служат ценными источниками для историко-этимологического анализа общностей в лексике языков карпато-балканского ареала и для наблюдений над славяно-венгерским языковым взаимодействием. Вместе с тем в современной карпатистике и балканистике все острее ощущается недостаток в фактических языковых данных и, что, быть может, еще важнее — приблизительность и поверхностность в историко-филологической, а следовательно, и этимологической проработке материала. Рецензируемая книга Л. Хадровича в значительной степени устраняет одну из таких лакун, давая в полном смысле слова современную характеристику лексики венгерского происхождения в сербохорватском языке.

Основная и по объему, и по значению часть монографии Л. Хадровича представляет собой историко-этимологический словарь венгерских заимствований в сербохорватский. Собственно словарной части предпослано несколько разделов вспомогательного характера (историко-культурный фон венгеро-сербохорватских контактов, лексикографические и иные источники, история вопроса, фонетические и словообразовательные особенности венгерских заимствований, отличительные черты иноязычных лексических элементов в венгерских передачах) и небольшие главы, посвященные венгерскому влиянию на сербохорватский язык за пределами собственно лексики — в словообразовании, синтаксисе и т. п. Во многих случаях автору удается убедительно аргументировать венгерское происхождение сербохорватских словообразовательных формантов (*-šag* < венг. *-ság*, *-ov* < венг. *-ő*), калек [hištivo «брак» ~ венг. *házaság* «то же», *polhódec* «посредник» ~ венг. (устар.) *közbejáró* «то же»], устойчивых сочетаний и специфических типов глагольного управления. Вместе с тем не все наблюдения этого рода в одинаковой степени доказательны: мы не можем без очень существенных оговорок согласиться с утверждением Л. Хадровича о венгерском происхождении сербохорватских суффиксов *-uš*, *-oš*, *-aš*, *-iš* — они, безусловно, имеют венгерский источник в лексических заимствованиях из венгерского (типа *čardaš* «танец чардаш», *gulaš* «пастух; гуляш»), но столь же неоспоримо их исконно славянское происхождение в производных от славянских основ. Так, считая унгаризмом (и при-

том, судя по библиографической ссылке, *haraš* «ом») хорв. *bjelaš* «солдат в белой форме», Л. Хадрович неправомечно оставляет за скобками такие фиксации, как *bjelaš* «лошадь светлой масти» [3], не говоря уже о других данных, допускающих надежную реконструкцию слав. **bēlašь* (наряду с **bēlošь*) [4]. Возражения вызывают и некоторые из предлагаемых автором историко-этимологических объяснений устойчивых словосочетаний, которые в венгерском языке сами являются кальками соответствующих немецких конструкций: доказательство их венгерского, а не немецкого происхождения в сербохорватском требует куда более тонкой и обстоятельной аргументации, чем та, что предлагается Л. Хадровичем.

Основная часть книги — историко-этимологический словарь — содержит тщательно выполненное автором описание сербохорватской лексики венгерского происхождения. Каждая словарная статья содержит заглавную (сербохорватское) слово во всех его графических вариантах, немецкий перевод и перечень наиболее существенных его фиксаций, включая наиболее ранние, с датировкой и указанием источников (редкие сербохорватские слова имеют печерливающую документацию, т. е. указания на все контексты, в которых автору встретилось то или иное слово). Затем предлагается этимология соответствующей лексемы, причем обоснование предлагаемого решения излагается с большой степенью подробности и с опорой на богатую этимологическую литературу.

Здесь уместно подчеркнуть, что реализованная в словаре структура историко-этимологических статей, исключительно подробных и прекрасно документированных, представляет собой едва ли не самую сильную сторону рецензируемой книги, которая в этом плане может быть признана образцовой. Нередко изучение ранних фиксаций сербохорватских лексем позволяет автору с беспорядностью продемонстрировать их ограниченное употребление в пространстве и во времени, принадлежность к слою локальных, окказиональных унгаризмов в хорватских говорах или в хорватской литературной норме определенного периода. Более позднее распространение этих слов в сербохорватском ареале, наблюдаемое не по письменным памятникам, а по словарным фиксациям, легко могло бы ввести в заблуждение исследователей: историко-ареальный подход к лексике, используемый Л. Хадровичем, во многих случаях позволяет с полной достоверно-

стью установить венгерское происхождение этимологически темных сербохорватских слов.

Лингвогеографические аргументы во многих случаях приобретают решающее значение. Так, например, с чисто фонетической точки зрения форма *gavaler* «рыцарь, дворянин, кавалер» может восходить и к венг. *gavállér*, и к бавар.-австр. *gáwalier* (литерат. нем. *Kavalier*), однако то обстоятельство, что она бытует преимущественно в кайкавских говорах и в сербских говорах Венгрии, позволяет автору видеть источник сербохорватского слова в венгерском. Сходным образом репается проблема происхождения слова и во многих других словарных статьях, например, в статье о лексеме *tulipan* «тюльпан», где обращение лишь к историко-фонетическим аргументам было бы недостаточным для выбора одной из трех возможных версий — венгерской, немецкой и итальянской.

Богатый лексико-этимологический материал, собранный Л. Хадровичем, содержит (частично в имплицитной форме) интересные сведения о характере венгерско-сербохорватских языковых и этнических контактов. В этом плане не лишена интереса семантическая классификация венгерских заимствований, данная в книге. Здесь мы хотели бы указать еще на одну особенность венгерской лексики в сербохорватском языке, которая, несомненно отражая своеобразие венгеро-сербохорватских связей, как будто не привлекла до настоящего времени должного внимания. Речь идет о вторичном заимствовании в сербохорватский венгерских слов славянского происхождения. Само это явление неоднократно отмечалось в научной и даже научно-популярной литературе, но, пожалуй, на правах уникального феномена, лингвистического курьеза. Между тем материалы рецензируемой книги показывают, что перед нами не курьез, а массовое явление. В эту своеобразную группу сербохорватских слов венгерского происхождения входят (хотя предлагаемый список и не претендует на исчерпывающую полноту): *akov* «ведро», *astal* «стол», *balvan* «идол», *bakpa* «золотая монетка», *bereg* «болото», *bolond* «сумасшедший», *cikla* «свекла», *čoka* «галка», *čorda* «стадо», *dagar* «кусок», *darovec* «драп», *doronga* «шест», *gazda* «хозяин», *henjati* «прекращать(ся)», *horvat* «хорват», *inaš* «оруженосец, слуга», *išpan* «начальник комитата, надзиратель», *kailan* «котел», *kočka* «игральная кость», *konec* «десть», *kormanj* «руль, кормило» и т. д. Всего подобных «обратных заимствований» (Rückentlehnungen) в словаре насчитывается более пяти десятков, и дело здесь не только в абсолютном их числе (хотя и оно немаловажно), но и в том,

что в сходных, казалось бы, ситуациях тесных языковых контактов (например, при изучении албано-южнославянских взаимодействий) не обнаруживается ничего похожего. Тем самым, напрашивается вывод, что описанное выше явление отражает какую-то пока недостаточно описанную и не проанализированную черту сербохорватско-венгерского и, шире, славяно-венгерского языкового взаимодействия, черту, имеющую, вероятно, прямое отношение к специфике славяно-венгерских этнических контактов, особенно на ранних их этапах.

В целом предлагаемые автором этимологические решения находятся на весьма высоком уровне. Вместе с тем этимологическая часть книги выиграла бы, если бы Л. Хадрович расширил языковую базу, на которой он строит свои этимологии, — ограничение венгерским и сербохорватским материалом (видимо, сознательное), на которое пошел автор, не только лишает этимологии Л. Хадровича необходимого карпато-балканского «фона», но и приводит подчас к неоправданному отрыву сербохорватских лексических данных от материала других славянских языков. Отсюда и прямые ошибки этимологического характера. Так, например, анализируя слово *bota* «дубин(к)а», автор истолковывает его как заимствование из венг. *bot* «палка, дубин(к)а», объясняя конечное *-a* сербохорватской формы как след венгерского притяжательного суффикса *-a*. Все это построение в целом не может вызвать доверия, поскольку данные других славянских языков (болг. *бум* «большой деревянный молот», словен. *bdi* «дубинка, колотушка», русск. диалектн. *бот* «ботало») дают достаточные основания для реконструкции праславянского **boto*, соотносительного с **botati* «толкать, бить» [5]; очевидно, что серб.-хорв. *bota* является морфологическим вариантом **botъ*. В свете сказанного венг. *bot* трудно рассматривать иначе, как заимствование из слав. **botъ*. Обращаясь к слову *galiba*, *galidba* «трудности, неприятности, шум, крик», Л. Хадрович правильно объясняет его как заимствование из венг. *galiba* «стеснение, бедственное положение, мучение». При этом исследователь опирается, как можно понять, преимущественно на соображения хронологического порядка (в то время как венгерское слово засвидетельствовано с середины XVI в., сербохорватское встречается лишь с 1755 г.). Между тем, если бы Л. Хадрович с большим вниманием отнесся к этимологии венг. *galiba*, он получил бы дополнительные доводы в пользу своей точки зрения. Действительно, венг. *galiba* — этимологически прозрачное заимствование из слав. **goliba*, соотносительного с глаго-

лом **goliti*, семантика которого включает и значения типа «грабить, обворовывать» (болг. *голя*). То обстоятельство, что в первом слове серб.-хорв. *galiba* представлено *-a*, а не *-o*-, недвусмысленно указывает в таком случае на «обратное заимствование» из венгерского.

Значение книги Л. Хадровича безусловно шире ее названия: богатый и интересный материал книги полезен не только тем, что автор предоставил в наше распоряжение значительное количество совершенно новых данных по венгеро-сербохорватским данным, но и тем, что отныне эти данные будут использоваться специалистами по славянской этимологии самых различных профилей. Ограничимся лишь одним примером: согласно принятому в этимологии мнению [6], русск. *фетюк*, *фитюк* «болван, лентяй», *фатюй* «вахлак» представляют собой образование от буквы *фита*. Это объяснение, которое мы находим уже в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя («фетюк слово обидное для мужчины, происходит от фиты, буквы, почитаемой некоторыми неприличной буквой»), конечно, по существу своему народно-этимологическое. Истинное же происхождение этого слова (бывшего, вероятно, сперва принадлежностью аргю) вытекает из приводимых Л. Хадровичем названий бастарда, незаконнорожденного — венг. *fattyú* и серб.-хорв. *fačuk* и т. п. К венгерскому слову через посредство различных «тайных» языков восходит как русск. *фетюк*, *фитюк* (вероятно, образованное с помощью венгерского суффикса мн. ч. *-k*, как *гайдук* от венг. *hajdú*), так и *фатюй*.

Наши замечания, как можно надеяться, лишь подчеркнут научное значение

и высокий методический уровень, характерный для рецензируемого труда. Во многих отношениях книга Л. Хадровича может послужить образцом историко-этимологического изучения языковых контактов. Если в ближайшее десятилетие карпатистика и балканистика могли бы обогатиться аналогичными исследованиями по парам контактирующих языков, выполненными столь же тщательно, стала бы возможной и постановка более объемной задачи: историко-этимологического изучения карпатской и балканской лексики как целостного лингвистического явления, возникшего в результате многовекового этнолингвистического взаимодействия. Не остается сомнений, что новая книга о венгеро-сербохорватских лексических связях будет с большим интересом принята и унгаристами, и славистами.

Орел В. Э.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Miklosich F.* Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen. Wien, 1867.
2. *Munkácsi B.* Magyar elemek a deli szlav nyelvekben // *Nyelvtudományi Közlemények.* 1882. XVII. P. 66—126.
3. *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika.* Knj. I. Zagreb, 1880. S. 380.
4. *Орел В. Э.* Балканские этимологии 14—28 // *Этимология.* 1983. М., 1986.
5. *Этимологический словарь славянских языков.* Праoslavянский лексический фонд. Вып. 2. М., 1975. С. 225—226.
6. *Фасмер М.* *Этимологический словарь русского языка.* Т. 4. М., 1973. С. 197.

Миронов С. А. История нидерландского литературного языка (IX—XVI вв.) М.: Наука, 1986. 199 с.

Фундаментальное исследование С. А. Миронова «История нидерландского литературного языка» вышущено в серии «История германских литературных языков», осуществляемой силами сотрудников сектора германских языков Института языкознания АН СССР. Эта серия, в которую, кроме книги С. А. Миронова, входят работы по истории английского и немецкого литературных языков [1—3], ставит своей задачей на новых основаниях, учитывая целый комплекс историко-культурных процессов и явлений, попытаться рассмотреть литературный язык не только в его внутреннем развитии, но и в его многообразных социальных и культурных функциях и связях. Эти

задачи ставятся и во многом успешно решаются и в рецензируемой работе по истории нидерландского литературного языка.

Значительный интерес представляет первая глава книги, озаглавленная «Ранний (древненидерландский) период». В ней С. А. Миронов сделал попытку реконструировать некоторые элементы языковой ситуации, на фоне которой развивался нидерландский язык древнейшего периода, когда последний еще не обрел автономности в рамках западногерманского ареала и когда в нем сложным образом взаимодействовали франкские и фризско-саксонские компоненты. Автор тщательно собрал, проанализировал и обобщил

данные, свидетельствующие об исторической, культурной и языковой специфике северо-западных районов, где в дальнейшем формируется нидерландская народность. Здесь и материал топонимики, и древнейших глоссариев, и отдельных сохранившихся письменных фрагментов и единичных памятников.

Рассматривается также дискуссионный вопрос о возможности существования в данном ареале устной эпической традиции и обсуждаются причины ее утраты. Специально выделен раздел, в котором рассматривается роль латыни в наиболее древний период существования нидерландского языка.

В результате анализа сохранившегося языкового материала С. А. Миронов реконструирует два ареальных варианта «древненидерландского» — ведущий западный вариант древнефранкского языка и периферийный по своему статусу восточный вариант, представленный языком «Вахтендонских псалмов», возникших в лимбургском районе. Позднейший средненидерландский язык в его основном фламандско-брабантском варианте является в известной мере продолжением тех структурных тенденций, которые были заложены в древнейшем западном варианте, — таков основной вывод автора. Автором приводятся также отдельные стилистические характеристики сохранившихся языковых элементов, согласно которым зафиксированный в письменных фрагментах тип языка носит сугубо книжный характер и, видимо, не отражает разговорно-бытовых форм речи.

Вторая глава книги посвящена детальному рассмотрению средненидерландского периода, т. е. XIII—XV столетий. Это эпоха развитого феодализма, формирования и упадка рыцарской и зарождения городской культуры, что было связано с интенсивным ростом городов, прежде всего — в Южных Нидерландах. После вводных разделов, характеризующих историческую и культурную ситуацию, подробно рассматривается языковая ситуация, сложившаяся в данный период. К элементам этой ситуации автор относит прежде всего систему форм существования языка, взаимоотношение ее основных компонентов — литературного языка и диалектов, а также характеристику региональных вариантов литературного нидерландского языка в его письменной форме. Дается также характеристика сфер применения латинского языка и определяется степень влияния французского языка на нидерландский. Большое внимание в данной главе уделяется процессам нивелировки диалектных признаков и выработке наддиалектных черт литературного языка. Наряду с этим

учитываются разные аспекты дифференциации языковых процессов.

В территориальном плане выделяются два ведущих ареала — фламандский и брабантский, игравшие в XIII—XV столетия важную роль. Пять других — голландский, утрехтский, зelandский, лимбургский и северо-восточный нидерландский — занимают в этот период периферийное положение. В историко-хронологическом плане в рамках «среднего» периода автор выделяет два основных этапа: эпоху расцвета феодальной рыцарской культуры и кургузлой литературы (XVI—XIV вв.) и период развития городской бюргерской культуры и дидактической литературы (XIV—XV вв.). При этом отмечается настоятельная необходимость учета жанровой специфики и функционально-стилистической дифференциации языка письменных памятников разных региональных вариантов, относящихся к отдельным этапам развития средненидерландского литературного языка. Это положение реализуется на основе детального рассмотрения различных литературных жанров. В поле зрения автора находятся основные виды письменности данного периода — художественная литература разных жанров и направлений (героический эпос, роман, лирика, драма), религиозная и дидактическая литература, хроники, деловая письменность. Героический эпос представлен «Карелом и Элегастом», рыцарский роман — «Валевейном» и «Ферхютом», различающимися своей ареальной спецификой, а также временем создания. К религиозной литературе относятся произведения мистиков — брабантской поэтессы Хадевих (XIII в.) и теолога Рюсбрука (XIV в.), автора известных теолого-философских трактатов. Стихотворные памфлеты крупнейшего поэта нидерландского средневековья Марланта являются образцами городской дидактической литературы. Таким образом, в работе С. А. Миронова рассматривается репрезентативный корпус литературных и религиозных текстов, дополненный памятниками деловой прозы.

Языковой анализ памятников осуществляется выборочно, но этот выборочный комплексный анализ сочетается с общей характеристикой основных структурных процессов, существенных для средненидерландского языка. Кроме фонетических и морфологических признаков, рассматриваются также словообразование, лексика и фразеология. В особый раздел выделена подробная характеристика средненидерландского синтаксиса. При этом учитываются как общие для всех типов памятников явления и процессы, так и их жанрово-стилистические дифференциации, что весьма существенно для проблем

исторического синтаксиса германских языков.

Последняя (третья) глава монографии С. А. Миронова содержит развернутую характеристику языковых отношений XVI столетия, периода, который автор считает переходным по отношению к процессам становления современной литературной нормы нидерландского языка. Эта характеристика, как и в предыдущих разделах, дается на широком культурно-историческом и социально-историческом фоне. Автор выделяет и подробно характеризует следующие ключевые моменты: 1) перенос центров языкового развития на север в Голландию при сохранении роли брабантской литературной традиции; 2) изменения в составе функциональной парадигмы нидерландского языка, связанные с формированием городских койне; 3) расширение функций литературной формы языка; 4) активные нормализационные и кодификационные процессы, обусловленные деятельностью языковых обществ («камер риторик»), а также отдельных нормализаторов (Спихель, Киллиан и др.).

Расширение функций нидерландского литературного языка происходит за счет его более активного и последовательного использования в сфере науки, права, деловой переписки. Художественная литература пополняется новыми прозаическими и поэтическими жанрами (комедии, моралите, народные книги — в прозе, сонет, ода — в поэзии). В различных видах письменности и в трудах нормализаторов С. А. Миронов прослеживает попытки объединения брабантской основы литературного языка с северными элементами. В конце века в словаре Киллиана наблюдается стирание ряда локальных характеристик у ранее территориально маркированных лексем. Большое внимание в главе уделяется также проблемам стиля, в частности, важнейшим процессам выработки «среднего», нейтрального стиля, формирование которого, бесспорно, тесно связано с начальными процессами становления литературных норм. Прослеживается также проникновение в отдельные литературные жанры, в частности в комедии, элементов сниженного стиля, чего ранее в таких широких масштабах не наблюдалось.

В Заключении С. А. Миронов намечает основные вехи на пути нидерландского языка к единой литературной норме. В центре внимания автора — дальнейшее расширение функций литературной формы языка и углубление ее жанрово-стилистической дифференциации за счет выделения различных типов расслоения литературного языка в соответствии со все увеличивающимися разнообразием его функций. В территориальном аспекте

прослеживается рост авторитета и фактического влияния голландского варианта литературного языка на всей территории Нидерландов. Весьма существенны и наблюдающиеся процессы формирования голландского городского просторечия (на основе языка Амстердама), своеобразного наддиалектного койне, послужившего базой обиходно-разговорного нидерландского языка. В результате двучленная функциональная парадигма (литературный язык — диалект) трансформируется в трехчленную. Обобщенно охарактеризованы в данном разделе и важнейшие процессы нормализации и кодификации литературных норм в XVII столетии, заключающие книгу.

Глубокие и обширные знания, отсутствие схематизма в понимании и представлении ведущих культурно-исторических и языковых процессов отличают С. А. Миронова как исследователя, что в полной мере нашло отражение в обсуждаемой монографии. Критикуя слишком прямолинейную схему неоднократной смены диалектной базы нидерландского литературного языка, представленную в зарубежной нидерландистике, С. А. Миронов набрасывает сложную картину эволюции нидерландского литературного языка. Им убедительно показано и доказано взаимодействие двух моментов: сохраняющей преемственность литературной традиции и смены диалектного субстрата. В разные исторические эпохи соотношение ведущих страт (диалекта и литературного языка) оказывается весьма различным, что в большой мере и определяет принципиальные расхождения в конкретных результатах их взаимодействия в процессе становления наддиалектной и нормализованной литературной формы языка. По-новому представлена и осмыслена в работе и вся линия стилистического развития нидерландского литературного языка, хотя состояние памятников отдельных периодов не позволило автору одинаково равномерно проследить соответствующие процессы. Своего рода продолжением рецензируемой работы является статья С. А. Миронова [4]. Приходится, однако, пожалеть, что отмеченные в данной статье тенденции почти не получили отражения в самой обсуждаемой работе.

В заключение следует подчеркнуть, что книга С. А. Миронова, содержащая богатейший материал по истории нидерландского литературного языка, должна рассматриваться как значительный вклад не только в нидерландистику, но и в общую теорию развития литературных языков, тематику, которая давно и успешно разрабатывается в отечественной лингвистике на материале самых разных языков. Можно надеяться, что рецензируемая мо-

нография будет с интересом и пользой прочитана как лингвистами, так и литературоведами.

Семенюк Н. Н.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гухман М. М., Семенюк Н. Н. История немецкого литературного языка IX—XV вв. М., 1983.

2. Гухман М. М., Семенюк Н. Н., Бабенко Н. С. История немецкого литературного языка. М., 1984.

3. Яруева В. Н. История английского литературного языка IX—XV вв. М., 1985.

4. Миронов С. А. Стилистическое расчленение в языке нидерландских писателей XVII в. // ВЯ. 1986. № 3.

Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. Около 145 000 слов. Т. I. 856 с.; Т. II. 888 с. М.: Русский язык, 1985.

Успехи, достигнутые в изучении синхронного русского словообразования за последние десятилетия, выразились в опубликовании ряда фундаментальных исследований по теории дериватологии и в полной мере нашли отражение в рецензируемом словаре. Ему предшествовал «Школьный словообразовательный словарь русского языка» того же автора (М., 1978, 727 с.)¹.

Рецензируемый словарь раскрывает словообразовательную структуру огромного массива производных слов русского языка. Он показывает, на базе какого производящего, каким способом и каким словообразовательным средством образовано каждое производное. При этом устанавливаются синхронные отношения в словообразовательной паре: производное и производящее выступают как сосуществующие единицы в словаре современного русского языка.

«Словообразовательный словарь русского языка» А. Н. Тихонова — первый большой гнездовой словообразовательный словарь русского языка. Основной единицей его является словообразовательное гнездо, которое автор словаря понимает как «совокупность однокоренных слов, имеющих в современном русском языке живые смысловые связи» (с. 3). Словарь показывает ступенчатый характер русского словообразования, роль и место каждого члена гнезда в порождении других единиц, таким образом, дает возможность выяснить словообразовательный потенциал практически каждого русского слова.

В структуру словаря, помимо словообразовательных гнезд и необходимого

в каждом словаре введения («Как пользоваться словарем»), входит раздел, содержащий основные теоретические положения словообразования, которые легли в основу словаря. Внесение этого раздела представляется важным и полезным в связи с тем, что в настоящее время многие вопросы дериватологии и морфемки не имеют однозначного решения. К таковым, в частности, относятся: признаки морфемы, принципы идентификации морфем, явления морфемного шва, интерфиксация, морфемный статус уникальных морфем, понятие субморфа, множественность мотивации, словообразовательная синонимия и синонимия, расхождение формальной и смысловой производности, словообразовательная парадигма и некот. др.

А. Н. Тихонов — автор многих работ по основным проблемам русского словообразования. При составлении словообразовательного словаря он учитывает многообразие существующих решений спорных вопросов и обычно обоснованно выбирает одно из них. Так, вполне целесообразным представляется помещение в состав гнезд мотивированных слов с уникальными аффиксами (ср. *попадья*, *почтамт* и др.). Выведение их за пределы соответствующих гнезд, на наш взгляд, исказило бы общую картину взаимоотношений однокоренных слов.

Введение понятия интерфикса во многих случаях дает возможность наиболее логично объяснить словообразовательную структуру слова (ср. *шоссе-й/-н-ый*, *кинош/-ник* и др.).

Учет множественности мотивации показывает объективный и сложный характер словообразовательных отношений в системе языка (например, невозможность отнести только к одному словообразовательному типу производные глаголы *обесцветить*, *обессилить* и под.: они с равными основаниями мотивируются и существительными *цвет*, *сила*,

¹ Ранее опубликованные словари, носящие названия словообразовательных, представляют собой словари морфемные: в них содержится расчлененные на морфемы слова, но не устанавливаются отношения производности (см. [1, 2]).

и прилагательными *бесцветный, бессильный*. Как показали исследования последних лет, производные, характеризующиеся множественностью мотивации, в русском языке не единичны, они составляют значительную часть производных глаголов, имен и наречий. Все они отражены в словаре А. Н. Тихонова с учетом многообразия их связей с мотивирующими.

В словаре дается количество производных слов (126 690), количество гнезд (12 621), количество одиночных слов (5 497). Отмечается, что наибольшее богатство производными характерно для первой ступени образования, приводится краткое описание исходных слов словообразовательных гнезд (их статус как частей речи), отмечается различный словообразовательный потенциал у разных частей речи и т. д.

Словарь А. Н. Тихонова открывает широкие возможности для изучения всех комплексных единиц словообразовательной системы русского языка: словообразовательной цепи, словообразовательной парадигмы, словообразовательного гнезда.

Анализируя и сопоставляя гнезда, исследователь может установить важные закономерности: какие части речи регулярно бывают последним звеном словообразовательной цепи, какова максимальная протяженность словообразовательной цепи при разных исходных словах, какие части речи могут повторяться в составе цепи при исходном имени, глаголе и т. д., какова наиболее типичная структура словообразовательной цепи и словообразовательного гнезда при разных исходных частях речи и т. д.

Сравнивая, например, словообразовательные цепи с исходным глаголом и с исходным именем, можно отметить, что первые при трех или даже четырех деривационных шагах могут состоять из одних глаголов, в то время как сплошь субстантивные или сплошь адъективные цепи такой длины для русского языка не характерны.

Исследователи, изучающие словообразовательную парадигму (совокупность всех производных одного и того же производящего, находящихся на одной ступени образования), получают в руки большой материал, подтверждающий ряд выявленных закономерностей, например, снижение словообразовательного потенциала производных по мере усложнения их словообразовательной структуры, общность типовой словообразовательной парадигмы слов одной и той же семантической группы и некот. др.

Материалы словаря наводят на мысль о роли словообразовательного супплетив-

изма в проявлении словообразовательных потенций слова (ср. *поросячий, жеребячий* при отсутствии *гусячий, воронячий*).

Рецензируемый словарь несомненно будет способствовать дальнейшей работе по созданию полной типологии гнезд² на основе изучения иерархической организации их компонентов³.

Для дополнения сведений о словообразовательном потенциале разных лексических единиц в русском языке очень важным и полезным представляется нам последний раздел словаря «Одиночные слова» (т. II, с. 870—886). Это расположенный в алфавитном порядке список из 5497 слов, у которых в настоящее время не зафиксированы производные. Как отмечает составитель словаря, одиночность слов не обязательно является их стабильным признаком, но зафиксированность их в «состоянии одиночества» в определенное время представляет большой интерес для истории развития лексики и словообразования. Сконцентрированные в одном месте, в конце словаря, одиночные слова дают возможность отчетливо представить — какая категория лексики русского языка (с точки зрения происхождения, стилистической окраски, активности и сферы употребления) обладает в настоящее время нулевым словообразовательным потенциалом.

Анализ колоссального материала позволяет увидеть и некоторые уязвимые места теории современного словообразования.

Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время не найдется двух лингвистов одинаковой квалификации, которые однозначно решили бы вопросы морфемного и словообразовательного анализа всех слов, содержащихся в словаре А. Н. Тихонова. Поэтому целесообразно предлагать в рецензии свое понимание конкретных явлений словообразования. Выскажу лишь некоторые замечания, касающиеся подачи и расположения в словаре отдельных типов слов.

Все глаголы со связанными корнями (*-верг-/вергж-, -бав-/бавл'-* и др.) в словаре даны как исходные слова разных

² См. исследования в этой области П. А. Соболевой, Е. Л. Гинзбурга, И. В. Альтман, С. С. Белокрыницкой, Г. А. Смирновой и др.

³ Е. Л. Гинзбург отмечает тут ряд зависимостей. Он пишет: «Производный глагол категориальный, дифференцирующий компонент словообразовательного гнезда. Идентифицирующие, „презумптивные“ компоненты словообразовательного гнезда, производные существительные, прилагательные и наречия, иерархически организованы» [3].

гнезд. Для составителя гнездового словообразовательного словаря в этом есть несомненная логика: это слова непроизводные, хотя выделяемые в них аффиксы всеми признаются словообразующими. Однако у этих однокорневых слов несомненно есть живые смысловые связи. Ср.: *свергнуть, подвергнуть, низвергнуть, отвергнуть, извергнуть; отбавить, добавить, прибавить* и др. Объединение их в словаре, разумеется, возможно лишь при условии выделения гнезд, не имеющих исходного слова. Но, думается, такое решение вполне возможно. Другое возможное решение вопроса — дать в качестве исходного слова условное, иначе — сам вычленимый связанный корень, например: *-верг-, жереб-* (*жеребенок, жеребец* и т. д.)⁴. О наличии в словаре гнезд, не имеющих исходного слова или имеющих условное исходное, можно было бы сообщить читателю в пояснительной статье, предварающей словарь.

Объединение слов со связанной основой позволило бы читателю представить все многообразие их аффиксальных производственных, сравнить их словообразовательные возможности, уяснить их место в системе синхронного словообразования.

Автор словаря признает нулевую суффиксацию. Но в словаре нулевые суффиксы выделены только в префиксально-суффиксальных образованиях типа *бесхвостый* (см.: *бес-хвост-Ø-ый*). Думается, что более последовательным было бы выделение их в словах типа *приход* и *силь*: отсутствие суффиксов в словах этого типа так же словообразовательно значимо, как присутствие их в словах типа *хождение* и *синева*⁵.

Некоторые решения, предложенные А. Н. Тихоновым, требуют, на мой взгляд, уточнений. Так, включение окончания *-а* в производящую основу у слов типа *алгебра-ист, проза-изм* (такое решение вопроса встречается, хотя возможно истолкование *-а-* и как интерфикса — этим повятем А. Н. Тихонов пользуется) предполагает установление морфемного статуса элемента *-а-* и соответствующего графического обозначения его. Подача слов этого типа в словаре оставляет у читателя вопрос относительно членения на морфемы частей *алгебра — проза* и *под*.

Не все, очевидно, найдут отношения прямой производности между *поводить*

и *поводок, поплавать* и *поплавок* (в существительных совсем не «работают» ограничительные значения глагольных приставок, что уже отмечалось исследователями). Объяснения, предлагаемые в этих случаях [(*но* — субморф) и др.], имеют определенные основания, но, очевидно, не помогают составителю словообразовательного словаря. На наш взгляд, целесообразнее было бы представить такие образования как суффиксально-префиксальные. Роль приставки при этом можно объяснить как отражение глагольного управления: *плавать по поверхности воды — поплавок* и т. п. [5].

В словаре отчетливы отражаются вечные расхождения между лингвистами: членишь слова по максимуму (как в словаре Д. Ворта и др.) или по минимуму, считать слова еще однокорневыми или уже словами различных корней. Так, возможно, не все согласятся с тем, что *овца* и *овчарка* сейчас слова однокоренные, а *беспечный* и *печься* («заботиться») — разошлись по значению.

Словник словообразовательного словаря в целом опирается на словники современных толковых и других словарей. Но в него включены также материалы картотеки автора (выборка из произведений художественной литературы, периодической печати и научно-технической литературы). Это, по мнению автора, позволило восполнить недостающие словообразовательные звенья (например, *балдеть* в гнезде *баба* — *балдеть* — *обалдеть* — *обалдевать*).

Принимая в целом эту позицию автора словаря, хотелось бы видеть несколько иную подачу слов, извлеченных из художественных произведений и не зафиксированных толковыми и другими словарями. Так, помещенные в качестве исходного слова гнезда глагола *злостью* создает впечатление, что оно так же соотносится со словом *злостью*, как *учить* с *учитель*. Однако вряд слово *злостью* можно истолковать как «тот, кто злостью (или злостью?)». Думается, что для слов такого рода в словаре желательно иметь особые пометы.

Выход в свет «Словообразовательного словаря русского языка» — большое научное событие. Он дает в руки исследователей и преподавателей огромный материал, многоаспектно и последовательно систематизированный, что несомненно послужит серьезной опорой для теоретических работ, требующих анализа обширного языкового материала. Словарь может также быть образцом для составления гнездовых словообразовательных словарей славянских и неславянских языков и тем самым будет способствовать разработке проблем сопоставительного словообразования.

Ермакова О. П.

⁴ Так это сделано в словаре Д. С. Ворта, А. С. Козака и Д. Б. Джонсона [2, с. 71, 72, 194 и др.].

⁵ О нулевых суффиксах у некоторых типов отглагольных существительных со значением действия писал еще Ш. Балли [4].

1. *Потиха З. А.* Школьный словообразовательный словарь. М., 1964.
2. Russian derivational dictionary / Ed. by Worth D. S., Kozak A. S., Yohnson D. B. New York — London — Amsterdam, 1970.
3. *Гинзбург Е. Л.* Типология гнезд и со-

- отношения категорий производных // Лингвистика и поэтика. М., 1979. С. 25.
4. *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955. С. 196, 337.
 5. *Лопатин В. В.* Русская словообразовательная морфемика. М., 1977. С. 62—63.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

2—4 апреля 1986 г. в Ленинграде в рамках программы XVI областной научно-технической конференции по узловым проблемам радиотехники, электроники и связи, посвященной Дню радио, проходил симпозиум по лингвистическим проблемам искусственного интеллекта. Симпозиум был организован Секцией инженерной лингвистики Ленинградского областного правления научно-технического общества радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова совместно с Общесоюзной группой «Статистика речи» и Лабораторией инженерной лингвистики ЛГШ им. А. И. Герцена. В работе симпозиума приняли участие около ста языковедов, инженеров-программистов, математиков, психологов и кибернетиков из Ленинграда, Москвы, Киева, Минска, Кишинева, Тбилиси, Новосибирска и др. городов, представляющих учреждения АН СССР и республиканских академий, вузы, отраслевые НИИ, предприятия и организации. На симпозиуме прослушано и обсуждено более 30 докладов и сообщений. Работа симпозиума проходила на 7 заседаниях в следующих трех секциях: 1) компьютеризация обучения языку; 2) семиотические проблемы искусственного интеллекта; 3) базы данных систем искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизированных обучающих систем (АПТ).

Работу симпозиума открыл председатель оргкомитета П. М. Алексеев (Ленинград). На пленарном заседании с докладом «Семиотические аспекты моделирования смысловых образов в системах ИИ» выступила Е. А. Шингарева (Ленинград). Она отметила необходимость в условиях создания прагматически ориентированных (рефлексивных) систем учета прагматики при описании семантической информации. В связи с этим рассматривались вопросы се-

миотической природы текста, семантики текста и ее связи с прагматикой. Р. Г. Плотровский (Ленинград) в докладе «Методологические основы построения прагматических систем автоматической переработки текста» (АПТ), поддерживая идею создания прагматически ориентированных систем АПТ и ИИ, рассказал о развитии гносеологических аспектов теории ценности начиная с конца XIX в. и о ее приложении к теории и задачам автоматической переработки текстов. Противоположная точка зрения по вопросам построения систем понимания ЕЯ была представлена в докладе О. Н. Гримбаума, И. П. Панкова, С. Я. Фитилова (Ленинград) «Представление и ввод знаний в системах понимания естественного языка в связи с задачей денотативного отождествления». В докладе П. М. Алексеева «Лингвистические распределения» рассматривались ряды распределения длин лингвистических единиц по частоте в текстовом и словарном аспектах. Живой интерес у участников симпозиума вызвал доклад А. Н. Лебедева (Москва) «Прогноз объема словаря по объему художественного текста», в котором развивалась гипотеза, постулирующая существование циклических нейронных кодов памяти человека.

На заседаниях первой секции «Компьютеризация обучения языку» в центре внимания была проблема диалогового применения малых и микроЭВМ в целях оптимизации преподавания иностранных языков [сообщения Е. Ю. Дашко (Харьков), Ю. А. Янсе и И. И. Панкратовой (Ленинград)]. Вопрос методологического обеспечения автоматизированных обучающих систем (АОС) является одним из важных в деле компьютеризации обучения языку. О своем подходе к решению этого вопроса рассказали С. И. Радивилова и К. Р. Пи-

отровская (Ленинград), которые делают попытку объединить АОС с базой информационно-лингвистических данных. В докладе Т. А. Аполлонской (Ленинград) «Распознавание структур предложения» рассматривались вопросы построения однозначной классификации минимальных структур предложения на основе выделения подклассов групп и подгрупп глаголов и использования данной классификации в методических целях.

В выступлениях были затронуты и психолого-педагогические аспекты применения ЭВМ при обучении ЕЯ. Так, на проблеме учета человеческого фактора в компьютеризированном обучении и необходимости адаптивной корреляции между личностными качествами обучаемых и структурой обучающей программы остановился А. С. Михеев (Ленинград). И. М. Алексеев и В. Н. Бычков (Ленинград) сообщили об опыте работы ФПК по специальности «Основы информатики и вычислительной техники для лингвистов и филологов».

На второй секции обсуждались семиотические аспекты моделирования смысла и прагматики текста в системе ИЛ. В докладе В. П. Белянина (Москва) рассматривались вопросы семиотического анализа художественного текста в свете формального выделения психологических операторов, определяющих уровень внимания текста. О своих исследованиях структуры глагольного знака рассказала С. П. Грицай (Ленинград). Была предложена семиотическая модель глагольного знака и способ описания его семантики.

Работа третьей секции была посвящена проблемам реализации лингвистических гипотез различных семиотических уровней в виде действующих воспроизводящих моделей, которые осуществляют автоматическую переработку текста на естественном языке (ЕЯ). На заседаниях секции обсуждались также вопросы организации текста в целом и его квантитативного описания, психолингвистические задачи в системах автоматической обработки.

Особое внимание было обращено на принципы распознавания значения терминов [Л. Н. Беляева (Ленинград)], рассмотрены вопросы автоматического выделения терминов из неформализованных текстов на ЕЯ в процессе индексирования документов [А. Н. Попескул, Л. М. Карча (Бишкек)], была описана структура и программное обеспечение тезауруса, предназначенного для использования в документально-фактографических ИПС с высоким уровнем автоматизации основных процедур [В. Ш. Ру-

башкин, Н. Г. Сорокин, Б. Ю. Чуприн (Ленинград)].

Ряд сообщений касался методов программирования лингвистических задач искусственного интеллекта. Вопросам программного обеспечения ведения адаптивной лингвистической базы данных для системы автоматической обработки текстов был посвящен доклад Ю. Г. Балашовой, Л. А. Разжигаевой, А. А. Серебрякова, С. В. Соколовой, Е. Ш. Чацкой (Ленинград). В докладе А. К. Бобкова (Минск) рассмотрено построение таблиц решений в качестве аппарата формализации лингвистических задач.

Особо обсуждались вопросы построения математических моделей языка и речи. Так, вопросам теоретического и эмпирического распределения лексических единиц были посвящены доклады Т. Г. Кокочавили, Т. П. Цицосапи (Тбилиси) и Н. С. Манасян (Ереван). Выдвигается критерий логнормального распределения в качестве типологического инструмента при описании длины словоупотребления в тексте. Представлены результаты сравнения эмпирических законов распределений лексических единиц с пятью теоретическими законами. В докладе М. М. Лесохина и Г. С. Толстовой (Ленинград) описана методика подсчета коэффициентов транзитивности, рефлексивности и симметричности нечетких бинарных отношений, характерных для ЕЯ. Классификации терминов было уделено основное внимание и в докладе В. Е. Остапенко (Куйбышев). А. А. Воронко (Новосибирск) и А. В. Манцивода (Иркутск) исследовали логико-математические аспекты возможности использования ЕЯ в системах автоматического доказательства теорем.

Обсуждение представленных на симпозиуме проблем и путей их решения позволило оценить современное состояние работ по лингвистическому обеспечению систем искусственного интеллекта, отметить положительные результаты применения методов инженерной лингвистики (ИЛ) при разработке АСО и управления учебным процессом в вузе при построении и апробировании систем ИЛ в ходе их массовой эксплуатации. Вместе с тем было отмечено недостаточное использование методов ИЛ в создании АОС, недостаточная разработанность процедур автоматического синтаксического анализа, в частности анализа связного текста.

Игнатова М. Г., Шульгина Ю. Н.
(Ленинград)

СПИСОК ПУБЛИКУЕТСЯ ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ПОСТУПИВШИХ
КНИГ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ».
ПРИСЛАННЫЕ КНИГИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
КНИГА ОСТАЕТСЯ У РЕЦЕНЗЕНТА.

Мухин А. М. Системные отношения переходных глагольных лексем (На материале английского и русского языков). Л., 1987. 292 с.

Joseph J. E. Eloquence and power. The rise of language standards and standard languages. London. 1987. 199 p.

Lamprecht A. Praslovanština. Brno. 1987. 197 s.

Reader in Czech sociolinguistics / Ed. by Chloupek J., Nekvapil J. Praha. 1986. 344 p.

Yokoyama O. T. Discourse and word order. Amsterdam — Philadelphia. 1986. 361 p.

Технический редактор *Т. И. Радина*

Сдано в набор 29.12.87.

Подписано к печати 02.03.88

Формат бумаги 70×1000^{1/16}

Высокая печать

Усл. печ. л. 13,0

Усл. кр.-отт. 77,1 тыс.

Уч.-изд. л. 15,2

Бум. л. 5,0

Тираж 5857 экз. Зак. 1186

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6